НОВЫЙ МИР

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:
СЕРГЕЙ СПАССКИЙ
ЛЕВ НИТОБУРГ
АЛ. ТОЛСТОЙ
П. СЛЕТОВ

СТИХИ:
ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
МАРК ТАРЛОВСКИЙ
ИВАН ПРИБЛУДНЫЙ
СЕМЕН ОЛЕНДЕР

НАУКА И ЖИЗНЬ:
В. Д. НИКОЛЬСКИЙ

ЛЮДИ И ФАКТЫ:
БОРИС КУШНЕР
ВАСИЛИЙ РЯХОВСКИЙ
Н. А. БАЙКОВ
А. СМИРНОВ-КУТАЧЕСКИЙ

ЗА РУБЕЖОМ:
С. ГАЛЬПЕРИН
ВЛАД. АВАРИН
ВЛ. БРАУДЕ

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:
ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ
А. ЛЕЖНЕВ
А. ВИНОГРАДОВ
Р. РОШ
А. БАКУШИНСКИЙ
П. МАРКОВ

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:
С. ГАЛЬПЕРИН, Н. ЗАМОШКИН, С. ПАКЕНТРЕЙГЕР, БОРИС ГРОССМАН, Я. ФРИД.

МОСКВА
1 • 9 • 2 • 9

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1930 год

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НОВЫЙ МИР

(6-й год издания).

под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, А. Г. МАЛЫШКИНА, Вяч. ПОЛОНСКОГО и В. И. СОЛОВЬЕВА.

В 1930 году в журнале „НОВЫЙ МИР" будут напечатаны:

I Романы и повести:

Л. ЛЕОНОВ.—Соть (роман).
М. ШАГИНЯН. — Гидроцентраль (роман)
А. МАЛЫШКИН. — Севастополь (повесть).
Артем ВЕСЕЛЫЙ.—Главы из романа **«Россия, кровью умытая».**
Алексей ТОЛСТОЙ — Петр I (повесть).
К. ФЕДИН — Христофор с собачьей головой (повесть).

II. Рассказы:

Н. АСЕЕВА, А. АРОСЕВА, И. БАБЕЛЯ, С. БУДАНЦЕВА, В. ВЕРЕСАЕВА, Еф. ВИХРЕВА, Ф. ГЛАДКОВА, Б. ГУБЕРА, Л. ЗАВАДОВСКОГО, А. КАРАВАЕВОЙ, В. КАТАЕВА, Ив. КАТАЕВА, Л. КОПЫЛОВОЙ, С. КЛЫЧКОВА, Л. ЛЕОНОВА, Н. ЛЯШКО, Вл. ЛИДИНА, А. МАЛЫШКИНА, С. МАРКОВА, А. МАКАРОВА, П. НИЗОВОГО, Н. НИКАНДРОВА, Л. НИТОБУРГА, Г. НИКИФОРОВА, А. НОВИКОВА-ПРИБОЯ, Н. ОГНЕВА, Ю. ОЛЕШИ, П. ПАВЛЕНКО, Бор. ПИЛЬНЯКА, М. ПРИШВИНА, Андр. ПЛАТОНОВА, Ал. ПЛАТОНОВА, П. РОМАНОВА, С. СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО, Л. СЕЙФУЛЛИНОЙ, И. СОКОЛОВА-МИКИТОВА, П. СЛЕТОВА, М. СЛОНИМСКОГО, Г. СЕРЕБРЯКОВОЙ, Нины СМИРНОВОЙ, Н. ТИХОНОВА, Д. УРИНА, П. ШИРЯЕВА, , Вяч. ШИШКОВА, А. ЧАПЫГИНА, А. ЯКОВЛЕВА и др.

III. Стихи и поэмы:

АДАЛИС, Н. АСЕЕВА, А. БЕЗЫМЕНСКОГО, Э. БАГРИЦКОГО, М. ГЕРАСИМОВА, М. ГОЛОДНОГО, М. ДАНИЛИНА, Н. ДЕМЕНТЬЕВА, П. ДРУЖИНИНА, А. ЖАРОВА, Я. ЗАБОЛОЦКОГО, Ник. ЗАРУДИНА, М. ЗЕНКЕВИЧА, В. ИНБЕР, М. ИСАКОВСКОГО, С. КЛЫЧКОВА, В. ЛУГОВСКОГО, П. ОРЕШИНА, Бор. ПАСТЕРНАКА, И. ПРИБЛУДНОГО, Вс. РОЖДЕСТВЕНСКОГО, В. САЯНОВА, И. САДОФЬЕВА, М. СВЕТЛОВА, И. СЕЛЬВИНСКОГО, Вл. СОЛОВЬЕВА, М. ТАРЛОВСКОГО, Н. ТИХОНОВА, Н. УШАКОВА, Е. ЭРКИНА и др.

IV. Очерки современной литературы:

Вяч. ПОЛОНСКОГО.

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
журнал

КНИГА
ОДИННАДЦАТАЯ
НОЯБРЬ

МОСКВА
1 • 9 • 2 • 9

Москва. Главлит А 51×35 СТАТ — формат Б/5

Типография им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Изв. ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Сергей СПАССКИЙ. — Повесть о старшем брате 5
2. Лев НИТОБУРГ. — Простодушие Турсуна Фузайлова, *сентиментальная проза* 43
3. Всеволод РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. — Вассо охотник, *стихотворение* 71
4. Марк ТАРЛОВСКИЙ. — За окном, *стихотворение* 72
5. Ал. ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, *повесть,* продолжение . . . 73
6. П. СЛЕТОВ. — Перевозчик, *рассказ* 93
7. Иван ПРИБЛУДНЫЙ. — Моей учительнице, *стихотворение* . 106
8. Семен ОЛЕНДЕР. — Из поэмы «Часовщик» 107

НАУКА И ЖИЗНЬ

9. Инж. В. Д. НИКОЛЬСКИЙ. — Мировая энергетика 108

ЛЮДИ И ФАКТЫ

10. Борис КУШНЕР. — Новый сев, *из книги «Южное сияние»* . . 124
11. Василий РЯХОВСКИЙ. — Земля бродит, *очерк* 132
12. Н. А. БАЙКОВ. — Поиски жень-шеня, *очерк* 143
13. А. СМИРНОВ-КУТАЧЕСКИЙ. — На Вареговом болоте, *из студенческой краеведческой экскурсии* 148

ЗА РУБЕЖОМ

14. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету, *очерки международной политики* 153
15. Влад. АВАРИН. — Харбин революционный 165
16. Вл. БРАУДЕ. — Япония на перепутье 172

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

17. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Заметки о критике 178
18. А. ЛЕЖНЕВ. — Разговор в сердцах 188
19. А. ВИНОГРАДОВ. — Социальная тематика «Отверженных» В. Гюго 206
20. Р. РОШ. — Из новой литературы о Гофмане 221
21. А. БАКУШИНСКИЙ. — А. И. Кравченко, с иллюстрациями . 226
22. П. МАРКОВ. — Очерки современного театра. О «Командарме» Сельвинского у Мейерхольда 245

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С. ГАЛЬПЕРИН. — «Советский Союз в борьбе за мир» 252
Н. ЗАМОШКИН. — Мариэтта Шагинян «Кик» 253
С.ПАКЕНТРЕЙГЕР. — А. Кочин «Девки» 253
Борис ГРОССМАН. — Николай Москвин «Жена» 254
Я. ФРИД. — Лу Синь «Правдивая история А-Кея» 255

Повесть о старшем брате

СЕРГЕЙ СПАССКИЙ

1. „Бразды пушистые взрывая"

Вечером в столовой зажгли лампу, пузатую, на выдвижной металлической подставке. Желтоватый круг света резко выделил скатерть, вышитую квадратиками, коричневые половицы и сиденья гнутых деревянных стульев, прислоненных к стене. Спинки их затерялись в тени от абажура. И совсем размытые тенью едва наметились на обоях чинные рамочки фотографий.

Дети играли в гостиной. Прислуга внесла самовар и хлопнула о поднос медными ножками. От лампы и самовара словно сгустилось ровное тепло, какое бывает в комнатах только в России и только глубокой зимой. Отец вышел в столовую. Он выспался после службы. Щурясь на свет, он поправил длинные зачесанные назад волосы, зевнул, помолчал и потом крикнул, приоткрывая в гостиную дверь:

— Чай пить пора.

Там не расслышали. Там не было лампы и стояли поздние сумерки. В сумерках бесформенно барахтались маленькие фигурки. Детские голоса то примолкали, то вспыхивали одновременно. Дробно сыпался топ каблуков и стук сваленных стульев. Нельзя различить, сколько возится рук, ног и голов. Даже мать узнавала ребят наощупь, а не глазами.

— Я буду лошадкой. — Девочка подскакивала на одной ножке и с разбегу тыкалась головкой в теплое платье матери. — Лошадкой! — восклицала она с упоением. И тогда Боря, грохавший об пол стулом и наслаждавшийся яростным треском дерева о дерево, вскинулся и, толкая сестру, заколотил каблучками:

— Нет, я!

Он стукнулся плечиком о стол. Ему стало обидно. Он вцепился в сестру, зная, что сейчас заревет. Мягкие кудряшки залепляли ему лицо. — Лоша-а-дкой! — вытянул он, сотрясаясь всем тельцем. Ему уже безразлично, о чем он кричит. Осталось одно протяжное «а», полное отчаянья. Но навстречу горестному возгласу из-за черных очер-

таний рояля, из-за продолговатого лакированного острова, косо нависавшего сбоку, раздался убежденный ответ: — Лошадками будут стулья.

Боря задохнулся и замер с открытым ртом. Растопыренными глазами он уставился за рояль, откуда выезжало кресло, тяжело поскрипывая колесиками. За отогнутой назад спинкой он не видел фигуры брата. Кресло, ерзая, выкатилось на ковер. Митя упирался в спинку вытянутыми руками. Не отнимая ладоней от кресла и опустив голову между руками, Митя неторопливо ронял слова, глубоко забирая между ними воздух: — Стулья — положить — сюда.

Девочки сразу поймали намерение брата и, самоотверженно взвизгивая, ринулись в пушистое море ковра. Три стула легли перед креслом — три лошади, неподатливые, норовистые — еще разнесут. За креслом под тихое понуканье Мити встали в ряд еще стулья, но уже не кони, а розвальни — широкие, низкие, заваленные щекочущим сеном. Превращение совершалось мгновенно. Предметы в руках меняли формы и обрастали иным веществом.

Боря не оборачивал стулья в сани. Споткнувшись о Митины слова, он не ощущал себя больше лошадью. Митя знает, что к чему, и то, что сказал он, — правильно. Чувствуя мягкую руку матери на своей бойкой головке, Боря пристально вглядывался в возникновение тройки. Девочки клали стулья криво. Он готов был вмешаться. Но внезапные представления нахлынули на него, вызванные креслом приземистым и таким темным, словно оно впитало в свой плюш окружающие сумерки. Ему открылось назначение этого мягкого массива, он скакнул на пружиняще покатое возвышение и, зарываясь лицом в обивку, чуть пахнущую пылью и временем, забормотал:

— Я кучер. Это мое место.

— Ты сядешь со мной, Боренька. Пусть правит Митя.

Мать сказала серьезно, будто путешествие предстояло длинное и она боялась, как бы Боря не простудился.

Боря попытался ответить, но, подхваченный поперек туловища, колыхнулся в воздухе. Кресло ушло вниз. Мать весело подняла мальчика, и через секунду он завозился на ее коленях, путаясь в шерстяных складках платья и попадая ладонью в ее подбородок.

— Тсс, — сказала она, наклоняясь к нему так близко, что теплое дыхание прошло по его лицу. — Сейчас поедем.

И в тон ее словам спереди, с кресла послышалось негромкое Митино:—Тпру!

Все стало особенным, жутковатым, любопытным. Девочки примолкли и прижались к матери. Митя заворочался и откинулся на облучке. Он натягивал вожжи, он наверное брал кнут.

— Н-но, — сказал он.

И в этот момент зазвякал, зателенькал колокольчик. Верно там за изукрашенным морозною коркой, сумеречно-голубым окном и впрямь, «бразды пушистые взрывая», летели сани на крепких скри-

пучих полозьях. Верно там и впрямь ямщик, поигрывая вожжами, подхлестывал пристяжных, а из-под дуги коренника сыпались металлические брызги, веселя седока, укутанного в доху. Верно там ныряла в сугробах легкая тройка, но сидящим в гостиной показалось, что тронулись в путь они. Стало совсем темно. Смутный свет с улицы остановился на стеклах и уже не мог перелиться в комнату. Только по крышке рояля жидко расплывался неизвестно откуда взявшийся лиловый отсвет. Дремучие тени владели пространством. Тройка погружалась в них. Пол скользил в обратную сторону. Дети сидели около, под руками матери, близкие, словно продолжение ее тела. Только Митя слегка отделился. Как серьезно он правит!

— Мама, расскажи дорогу, — зашелестела у локтя девочка.

Мать встрепенулась. Обрывки картин, пятна воспоминаний заколыхались перед глазами. Виденное когда-то, запавшее в подсознание, может быть, читанное или слыханное, а может, сейчас создаваемое воображением. Вот — косогор. Шероховатая группа елок. Иглистые лапы загружены увесистым снегом. Сани в'езжают в лес. Елки медленно поворачивают навстречу свои островерхие туловища. А вот полукругом — полянка. Низенькие пеньки. На пеньках тоже снег пушистыми, пышными шапками.

— Там — волк, — срывающимся голосом вторит Боря.

— Волка нет, деточка.

Однако, лесу пора бы и кончиться. Становится страшновато. Да кстати вот оно — поле, белое-белое, гладкое-гладкое, впрочем, есть и овражки. Луна в морозном пару, как серебряная денежка. Голубая светлынь. У овражка снег исчерчен следками. Это зайчиха вела зайченят на прогулку.

Зайчихины дети в седеньких шубках радуют девочек.

А там впереди угольками огни деревеньки.

— Держитесь, сейчас гоню под уклон! — откликается Митя.

Дети сжались в комочки. Каждому кажется разное. Митя глядит в темноту напряженный и худенький.

Мать закрыла глаза. Она еще видит рассказанное ею поле. Но тройка исчезла. В неподвижном ртутном сияньи луны, увязая в сугробах, уходит Митя. Коротенькая тень мальчика послушно скользит по его следам. Он оглядывается и машет матери книжкой. Воротник шубки, очевидно, трет ему шею. Митя пытается расстегнуть его, нетерпеливо подергивая головой.

— Ну, что, жена? Чай захолонет.

Скрипнула дверь, и полоса желтого света рассекла комнату. После сумрака открывшаяся столовая показалась яркой и праздничной. Самовар важно бил в потолок клубчатым паром.

— Приехали, приехали! — девочки метнулись к отцу.

Боря вскачь мчался вокруг стола. Сейчас он и лошадь и кучер — все вместе.

— Вот мы и дома. Теперь мы согреемся. — Мать извлекла из буфета весело звякающую посуду. — Митенька, где же ты?

Митя один, с усилием вытянув руки, деловито толкал отслужившее кресло на место.

2. Дорога теней

Цельная, ладная семья. Несколько замкнутый быт строился осмотрительно, прочно, как строится дом для себя разумным хозяином. Фундамент уложен туго, балки устойчивы и не загниют, стропила не гнутся, крыша обита надежным железом и в меру промазана краской.

Скудость средств изгоняет излишества, но все необходимое есть.

Дети растут скачками, сразу. Скачками сменяется время. Кажется, остановилось оно, мелки стежечки дней, стежечек, еще стежечек, забота и снова забота. Вечером штопаются чулки, читаются книжки, утром застегиваются гимназические мундирчики, старшие ходят в классы, младшие хворают корью, зима отражает зиму, лето смыкается с летом.

И вдруг, оглянешься, — день жарок и ясен, сад обмяк от зноя, шмели басят в траве, и на раскаленное небо белым куском алебастра легло крупное облако. Узенькие листочки вишневых деревьев бессильно журчат, когда их коснется разленившийся ветер. И вдруг в такой день, стоя у круглой жаровни, придавленной сверху меднобоким массивным тазом, в котором шипят розовые пузырьки и варится темная рыхлая вишня, — мать выпрямится, оттянет со лба выпавшие из-под чепчика волосы, оглянется на деревянный оседающий в зелень домик, на плоские доски забора, огородившие сад, и ни с того ни с сего внезапно почувствует, что Митя взрослеет, дети кончают гимназию и что сама она поседела и жизнь ее почти прожита. В общем, все это известно давно, но, наклоняясь снова к бегущим и брызгающим пузырькам и погружая липкую ложку в тягучий пунцовый сироп, она ощущает себя другим человеком. Время резко скакнуло сейчас, как на вокзальных часах скачет острая стрелка.

Она переводит глаза за кромку жестких листьев сирени. Ей хочется видеть Митю. Но кусты, узловато распавшиеся на группы, встопорщенными ветвями заслоняют забеленный известью флигелек, бывшую кухню, в которой укрылся сын. Тогда она ставит тарелку с клейкими хлопьями пенок на стул и, огибая клумбы и грядки, быстро идет по дорожке.

Кухонька темновата. Митя уселся на табуретке, чуть выпятив пухлые сжатые губы. На чугунной плите перед ним низенькая спиртовка. Синеватый венчик огня беззвучно и трепетно шевелится, иногда вспыхивает лепестками и гладит выпуклое дно колбы. Колба, висящая над огнем, похожа на мыльный пузырь. На окне раскинута книга. Ветер заполз под страницу, коробит ее и силится перевернуть.

Под потолком, хлопаясь в стену, жужжит и вьется оса. Вдоль проструганных досок стола, будто клинок рапиры, вытянут тонкий луч.

В кухне лаборатория. На полках склянки, трубки и баночки. Митя сам вытирает пыль, и лощеные стенки сосудов блестят прохладно и чисто. Он сам расставил коробки коллекций. Черные жучки на булавках будто вырезаны из антрацита. Лоскутками пестрого ситца распластаны бабочки. Птичьи яйца уткнулись в подстилку из ваты, то серенькие с крапинками, то в сахарно-белых скорлупках.

Кухней владеет естествознание, тревога нового века.

Великое любопытство, жадное зрение поколений.

Галилей стоит перед лампадой. Это просто кусок стекла. Может быть, он похож на граненый цветок, может, отлит в виде чаши с отогнутыми краями. Огонек плавает в масле. Лампада раскачивается. Чуть поскрипывают серебряные цепи. Полная до краев теплым сиянием стеклянная форма медленно делит пространство. Ее движение гремит в душе Галилея как мощная музыка. Законы небесной механики царственно входят в сознание.

И разгорается утро. Солнце пробило дымку легенд, тверды очертанья предметов. Пытливый Фома осязает тело земли, испытует ее покровы. Колесо вселенной вращается перед глазами Фомы. Он следит за мельканием спиц и по старой привычке готов славословить творца. Однако, творца не видно ни на ободе, ни на оси. В чьи тут раны вложишь персты? Нет творца, понимает Фома. Я сам изобрел его в детстве.

— Митя будет профессором, — думает мать у окна. Это слова не ее. За чайным столом сидели она, отец и знакомый. Она мыла стаканы, оттирала их сыроватым сурового полотна полотенцем. Стаканы сами собой ловко поворачивались в ее мокрых пальцах и еще теплые становились в ряд на поднос донышками вверх. Знакомый печалился о молодежи, где найдет она применение? Вот, например, ваш старший, кем ему быть, разве что просто учителем.

— Ну, зачем же учителем. — Отец отодвинул стакан, пожевал губами, отчего задергалась его пегая борода. — Может, будет профессором.

Алебастр облака потемнел. Бронзовым сплавом оно завалило полнеба.

Боря с удочкой на реке. Сестренка пылает в саду над стихами.

Митей владеет мирная химия. Дорога его пряма.

И однако, год назад в отдаленном городе произошел чрезвычайный случай.

Такие же химики вышли утром на улицу.

Небо серело, укутанное в уютные облака. Бессолнечный день освещался снегом. От этого город казался легким, почти приподнятым над землей. Люди прошли вдоль канала и каждый занял свое место. Ветер пах оттепелью. Чугунный узор ограды канала был черен и влажен.

В барашковой шапочке пирожком круглолицая женщина перешла через мостик. Ей было трудно итти. Нестерпимая тишина окружала ее. Мысли остались там, по ту сторону мостика. Женщина остановилась у заплетенной низкой ограды. Здания, товарищи на углах, вся та сторона канала казалась далекой, но четкой, словно она разглядывала ее в перевернутый бинокль.

И вдруг из-за угла загарцовали лошади. Несколько всадников в ловких военных шинелях. Гладко обточенным кубом — карета. Лошади быстро перебирают сухими ногами. Их белые крупы, выпуклый кузов саней, припаянный к козлам крепыш-кучер — все представилось женщине ненастоящим, игрушечным, вырезанным на гравюре. И только когда из-за играющей поступи лошади выполз лохматый ствол дыма и тишина развалилась на части от взрыва, — инстинктивно вцепившись руками в виски, женщина понимает, что перед ней явь, и в эту явь она включена. Та сторона канала издали словно подкатывается к ее лицу и застревает на расстоянии двух саженей. Мечущиеся люди приобретают надлежащие пропорции, и настоящий военный, пошатываясь, путаясь в полах николаевского покроя шинели с огромным бобровым воротником, с кивером, с'ехавшим на затылок, говорит, с трудом подтягивая челюсть к челюсти, другому военному:

— Слава богу, я уцелел!

Еще неизвестно, слава ли богу.

Человек от угла механически прямолинейно подступает вплотную. Деревянным движением он заносит руку над головой и, размахнувшись, хлопает сверток между собой и военным о мостовую.

Женщина вбежала на мостик и уже на мостике сбоку накрыл ее с головой сотрясенный вал воздуха. Она захлебнулась и остановилась. Грохот откатывался от стен, мелким дребезгом отзывались продавленные стекла окон. Шинель царя намокает темными пятнами. Растопырив руки, он сидит спиною к ограде. Кивера нет, ветер треплет седые волосы. Ладони вжаты в мокрый снег.

Естествознание есть метод. Общество есть о'бект приложения метода. В законах материи — железная необходимость. Она вырывает детей из семей. Дети проходят железным путем, подтапливают своими телами костер революции. Правдивые, умные мальчики, выносливые девушки, еще живые, — они уже тени. И Митя, еще сам не зная, вступил на дорогу теней. Не прозреватель Галилей, не трудолюб Фома стоят за его спиной в маленькой кухоньке, скорее женщина в черной барашковой шапочке, сосредоточенно-сдержанный, выжидающий и неспокойный облик.

Но мать не видит теней. Всякая мать озабочена настоящим. Нужно, чтоб мальчик сейчас был здоров, во-время ел и в меру учился. Нет времени думать о будущем. Дети тревожат сегодняшней жизнью и побуждают к зоркому бдению.

— Митя, — она заглядывает в окошко, — ты верно проголодался?

Митя вскакивает насупленный. Ему помешали. Лицо его крупно и смугло, руки длинны не по туловищу.

— Нет, мама. Я занят. — Он отвечает отрывисто, но вдруг улыбается, сам сконфуженный своей резкостью. — Я сыт.

— Ты б молока выпил до обеда.

— Нет, нет. — Ишь, туча нашла. Опираясь локтем о подоконник, Митя глядит на небо. — Ты, мама, иди. Будет дождь.

И действительно синева отодвинута вбок. Утратив прежнюю цельность, туча распалась широкими мятыми хлопьями.

— Хорошо, — отзывается мать,—я тебе пришлю молока.

Она тихо идет от окошка и думает. — Значит, правда, — Митя большой.

Пойдет ли она за ним по новым его дорогам или ей суждено отстать, проститься на крыльце дома и, защитив ладонью глаза, следить за от'ездом сына?

Первые тяжкие капли шлепаются на кусты.

— Надо убрать варенье, — вспоминает она и бежит к треногой жаровне, увенчанной желтым тазом.

3. Ноябрь

Небо над Петербургом покрыто ржавчиной. Дома — будто каменные сундуки.

В сундуках копошится разношерстное население, выползает наружу через замочные скважины под'ездов, снует по асфальтам, выполняет житейские функции.

В те года город спрятал свою красоту. Где округлые колоннады, разворачивающие упорные полудужья? Они выглядели приземистыми и давящими. Где площади, радующие нас правильной шириной? Угрюмым пустырем казалась такая площадь, и оголтело шныряли по ней ветра. А Нева? А каналы? Черна, как деготь, вода каналов, холодным свинцом обита Нева.

Утром Невский запружен чиновниками в шинелях с блестящими пуговицами. Влекомые клячами, подрагивают вагончики конок. Пузатые замки сняты с дверей магазинов. За темными стеклами, там — свертки сукна и радуги скользких шелков, там — драгоценности на бархатных подставках и в кожаных раскрытых футлярах, там — выбор снеди, розоватые семги, янтарные балыки, коробки с черной икрой и рубчатые ананасы. Благополучна коммерция города, тучнеет промышленность, множатся предприятия. За стеклянными перегородками в банках у окошечек шелестят ассигнациями кассиры. В конторах, уставленных дубовой мебелью, на креслах с высокими спинками дельцы-иностранцы толкуют с дельцами-русскими. Бородки у всех подстрижены и благоуханно-расчесаны. Тут возникают фабрики, проектируются железные дороги. Потом в ресторане скрепляется сделка поджаристыми кулебяками и щиплющим языки шампанским.

А по улицам уже катятся гладкие ящики карет, покачиваясь на рессорах. Тучные кучера в ливреях закидывают длинные бичи над откормленными конями. Это, надев обшитые галунами треуголки, едут чины империи с докладами в министерства. Сами министры, умудренные государственным опытом, влекутся на высочайшие аудиенции к лепному подъезду императорского дворца. И широкогрудые городовые, яростно распрямляя плечи, делают проезжающим под козырек.

Желтолицый денек входит в свои права. Осень. Ноябрь свойственен Петербургу. Мелкая дождевая пыль напитала воздух. Будто черным графитом на сером картоне плоско вычерчен город.

Уже дамы подкатывали к Гостиному, уже в длинных норах магазинов, где пахло тканями, духами, мехами и сыростью, приказчики, сгибаясь над прилавками, подсюсюкивали: «чего изволите?» Уже длинноногие гвардейцы, лихо изгибая перетянутые талии, хлопали по лужам тренькающими шпорами, уже сыщики в пальтишках мышиного цвета привычно принюхивались к проходящим, и, охраняемая дворниками, шпиками, полицией и высшей администрацией северная столица благонамеренно копошилась, торговала, прожектировала, чинопочитала, ремесленничала и кое-где пьянствовала, — когда на поперечную Невскому улицу выползло неупорядоченное людское скопище.

На Невском трудно представить, что есть иные районы. Торцовое русло проспекта ограждено массивами зданий. Весь Петербург — это Невский. Да набережная. Да с той стороны Невы относим к Петербургу кованый профиль Петропавловской крепости. С другой стороны за Невским — дебри гнилостных улиц. Происходящее там не интересует самоуверенный Невский. Там нет Петербурга. Там — болото. Не разрешат же ему просочиться на чинную гладь проспекта. Скопище подразделено на ряды и хранило известную стройность. Шли студенты. Форменные шинели всяких оттенков, сплюснутые фуражки на длинных волосах, клетчатые пледы, кое-кто в высоких сапогах, с нарочито неприбранным обликом, девушки в коротких вытертых кофточках, попадались стриженые и угловатые в темных очках, но большинство просто крепкие русские девушки разных окрестных провинций, еще не вовсе из'еденные осклизлой питерской сыростью.

Шествие было вполне разношерстным. Оно не шумело, не протестовало, не выбрасывало знамен, не пело смутительных песен. Оно просто шло. Но прохожденье по улицам в неурочное время, в количестве, превосходящем обычные нормы, следовало пресечь. И градоначальник в военной шинели, холеный и быстрый, изящно подскакивая на рыжей лошадке, вылетел самолично навстречу. Он глубоко презирал взмокшую, заляпанную грязью толпу и от брезгливости был очень храбр.

Еще со вчера его донимали донесениями о том, что на утро студенты решили чтить память какого-то недозволенного литератора и скопятся возле могилы. Еще со вчера приказал он замкнуть ворота кладбища. А нынче, поди ж ты, несмотря на дурную погоду, сполз-

лись, сгрудились в нелепое стадо с венками, цветами и лентами. Что ж? Им разрешили избрать делегатов, и делегатов пустили к могиле. Ну, кончили, ну, возложили, ну, отговорили. Нет, не расходятся! Неумело построенной массой идут напрямик.

— Господа! — Голос градоначальника сладок и ласков. — В солдаты бы всех! — с отвращением думает градоначальник. — Я б их выравнял.

— Нельзя же так, господа! — Он растягивает слова, прикладывая к груди руку в лайковой белой перчатке. — Шли бы по-хорошему. По одиночке. — Митя смотрит снизу на крутую шею лошади, на умную узкую морду ее с неровным светлым пятном на лбу. Животное играет своим мускулистым телом. Оно упруго отталкивается от земли серыми стаканами копыт. Мостовая пощелкивает от их прикосновений. Митя поднимает голову, и над острыми тревожными ушами лошади видит пушистые бакены, приклеенные к щекам, выбритый подбородок, выпяченные глаза и перчатку, прижатую к сердцу. Митю охватывает раздражение на выхоленного человека, лгущего всей своей вкрадчивой повадкой. Митя делает шаг и чувствует, — вся толпа колыхнулась вперед. Градоначальник одернул лошадь, и она, припадая на круп, затрещала копытами, выровнялась и пронеслась за угол. Скопище вновь, шевелясь, поползло. И тогда навстречу от Невского разом возник темный строй лошадиных голов и казачьих папах. Плотно сомкнутая стена качнулась и замерла на мостовой, Тускло разрезав воздух, блеснули обнаженные шашки.

— Куда же итти? — сказал кто-то рядом.

— Итти прямо. — Митя идет, втянув голову в плечи.

— Ловушка, ловушка! — послышались возгласы.

Сзади, спереди, на тротуарах, отделяясь от домов, внезапно выросли всадники. Итти действительно некуда. Казаки отжимали толпу к решетке канала.

Ноябрьский денек беспощадно короток. На Невском зажглись фонари. Здания казались изваянными из сумрака. Небо выглядело гранитным. Во мгле образовались светящиеся ямы витрин. Чиновники спешили домой. Корпуса карет уносились мутным течением вечера.

Складчатые шторы укрыли высокие окна. Колонны из розоватого мрамора упираются в сводчатый потолок. У человека в военном мундире красные руки с короткими пальцами. Кресло поскрипывало, когда он поворачивал одутловатое тело. В лепном камине трещали дрова, рассыпаясь червонными горками угля. Человек навис над столом рыхлым лицом с рыжеватой бородкой. К нему обращался другой, сухонький, как насекомое. Этот — весь из углов. Уголками торчат коленки. Остренькие локотки, казалось, прорвут рукава. Сидя, он перпендикулярен к креслу. Встав, образовал прямой угол с наборным паркетом. Только крохотная головка была совершенно кругла. И кругло блестели очки над жидко голубыми глазами. Царь приподнял тучное тело и вышел из-за стола, прижимая ковер ши-

рокими сапогами. Маленький задребезжал тенорком об общем покое, о боге и воле его. Царь раскрыл руки, и складной человечек затрепетал у него на груди, ткнул головкой в пахнущий табаком сюртук и как-то снизу закрестил царя быстрыми крестиками. Они обнялись. Пружинно выбрасывая ножки, Победоносцев унесся по залам. Он поправлял съехавшие очки. Светы люстр скользили по глянцевитому черепу.

Аудиенция кончилась. Министры, приняв доклады и доложив сами, возвратились в особняки. На распластанных скатертях их ждали обеденные приборы. Молочно-белые углубления тарелок, тяжелое серебро ножей и вилок, вина, запаянные в вытянутые бутылки, продолговатые соусники и фарфоровые супники. Министры вкушают от яств, а рядом в квартирах вкушают дельцы, адвокаты, купцы и чиновники на скатертях, соответственных рангам и положениям, и даже просто на вылинявших клеенках.

Впрочем, все довольны досугом. Все знают, сейчас не время великих задач. В России царит спокойствие.

Студентов отцеживали поодиночке. Между колоннами всадников оставался тесный проход. Фигуры ныряли под лошадиные морды и, разбрызгивая лужи, выкарабкивались из засады. Городовые и сыщики скучно оглядывали выходящих. Иных задерживали и препровождали в участок.

Мите казалось, что вязкие сумерки длятся года. Он подошел к решетке канала. Черная гладь воды стояла недвижно. Дома и казаки были заодно. И те и другие безразлично отделяли от мира. В груди угрюмое возмущение против города, вечера, дождя, государства.

4. Разговор состоится

Прошлое лежит в стране необходимости. Нет власти, которая могла бы изменить уже совершившиеся события. Все случившееся будто окаменело. Мы можем вызвать когда-то живших людей. Они гостями придут в нашу комнату. Мы можем рассматривать их с такой отчетливостью, словно они стоят во плоти перед нашими глазами. Но нельзя заставить их действовать иначе, чем поступили они когда-то. В указанное число, в соответственный год они войдут именно в данное помещение и произнесут именно те, а не иные слова. Они лишены свободы, сами того не зная.

Митя ходит по прошлому, в прошлом городе, в прошлое время. Сам он существует только в прошедшем и потому хочет он или не хочет, а разговор с Шевелевым состоится.

Сейчас он приближается к вечеринке. Сорок лет отделяет меня от этой вечеринки. Люди, бывшие там, частью умерли, частью состарились. Тот вечер к ним не вернется. Не вернутся две комнаты в пестрых обоях, стол, накрытый простенькой скатертью, тарелки с горками бутербродов, бутылки с крепкой и теплой водкой, другой

столик у стенки, где лоснится самовар с продавленным мутным боком, диванчик в рябеньком ситце, базарные стулья с вогнутыми сиденьями, не вернется и свет от лампы, воздвигнутой на этажерке, а главное, люди, тогдашние люди с тогдашнею молодостью.

Сейчас они живы, шумят, пьют, спорят, хохочут.

Их комнаты пересеклись с моей, с моим письменным столом и с моими мыслями. Они проходят сквозь мое тело. Я, еще не родившийся, за моей, еще не существующей, работой — для них прозрачнее воздуха. Сорок лет висит между нами.

Митя вступает в табачный дым, в голоса, ударяющие о стенки.

Он сегодня много работал. Он привык заполнять свое время полностью, не оставляя просветов. Так опытный путешественник укладывает в чемодан предметы тесно, без промежутков, чтобы они не ездили и не толклись друг о друга. Матери трудно содержать в Петербурге детей. Отец только-что умер. Никакого разгильдяйства. Жаль, больше шестнадцати часов в сутки работать нельзя.

Мите знакомы все. Тут члены нелегальных кружков, противозаконных землячеств и преступных касс взаимопомощи. Легален один полицейский, комодообразный, седой, с усами, торчащими в стороны. Эта неудобная мебель обязательна для собраний. Впрочем, собраний в природе не существует, а существуют семейные праздники. Посему и нынче — фиктивное обручение, дозволенное начальством, не возражающим против таинства брака. Но полицейский — принадлежность всякого таинства. Подобно статуе командора, является он, тяжко ступающий, в урочное время, бдит, хранит и обнаруживает пристрастие к водке.

— Так женитесь? Н-да. На ком же вы женитесь? — похрипывает командор.

Жених, угощая, юлит и сует командору селедку.

— Да вот на этой...

— А как же фамилия вашей невесты?

— Фамилия? Экая глупость. — Жених покрывается каплями пота.

— Что ж вы? забыли фамилию?

Брови на деревянном лице подымаются вверх. Блюститель устоев обижен как семьянин.

— Ну, женихи, ну, молодежь!

Жених дрожащей рукой наполняет стаканы. И кстати, становится шумно. Один добрый молодец в тужурке, накинутой без рукавов на косоворотку, берет под локоть гитару. Обняв деревянные бедра ее, тронул струны. Другая рука заскользила по шейке. Гитара прижалась к груди своим изогнутым телом и заговорила гортанными бурными звуками.

— Петь, петь! Запевайте! Хором! — заволновались вокруг.

Плавно начали тенора, звонко взлетели сопрано, и басы укрепили стройное здание песни чугунным гулким фундаментом.

— Ну-с, голубчик, так как же? Так что же?

Шевелев, впалогрудый, поеживался, втягивал в плечи худое лицо с жиденькой золотистой бородкой и шаркал ногами. Тело его было собрано наспех из непригнанных друг к другу частей. При движениях части могли распасться.

Митя молчал. Шевелев казался ему суетливой машиной. В чем ее назначение? Шевелев кружил вокруг Мити и покалывал его взглядами из-под очков. Так портной на примерке обхаживает заказчика, коротит, распускает материю и втыкает всюду булавки.

— Ну-с, так что же?

— Вы о чем? — Наперекор Шевелеву Митя хранит неподвижность. Ему свойственна прямая линия так же, как Шевелеву — спираль. Песня рядом в комнате крепнет. Она пробивается сквозь стену, вваливается через полуоткрытую дверь и словно раскачивает нехитрые предметы перед глазами Мити. Нехитрая кровать у стены занята Поварухиным. Он развалил ленивое пространное тело и монументально поставил на пол два своих сапога. С простецкой усмешкой он оглядывает Шевелева. Шевелев спотыкается о сапоги, но Поварухину лень сдвинуть ноги.

— Поют, — морщится Шевелев. Он не в силах сдержать свои пальцы. Пальцы подскакивают, поправляют очки и цепляют книжки на столике.

— Это хорошо, что поют. — Митя изучает Шевелева, как сегодня в лаборатории изучал водяных жуков.

— Очень, очень. — Голосок Шевелева с трудом прорезает звуковые пласты хора. — Попоют, попротестуют, отведут душу, напьются под надзором полиции. И смирнехонько разошлись.

— А ты что ж не пьешь? — не поворачивая головы, протянул Поварухин.

Пальцы Шевелева запрыгали в пуговицах тужурки, отстегивая и вновь прогоняя их в петли.

— Мне нельзя. Я больной. — И вдруг, отмахнувшись от Поварухина, он перескочил через его сапоги и с разбегу сел боком на стульчик около Мити.

— Я говорю, что же дальше? Ведь этак и вправду запьешь. Ну, кружочки, ну, рефератики. Вы вот ведете кружок. — Лицо его прыгало над самым плечом Мити. Морщинки сбирались и вдруг исчезали. — А может, теперь и не ведете? Нельзя и сунуться на окраины. А ежели даже и сунешься к рабочим, то не сегодня, так завтра сцапают. Ведь сцапают же наверно. А?

— Должно быть, сцапают. — Митя хотел отодвинуться, но голова Шевелева качнулась за ним. Он дышал Мите в ухо.

— Ага. — Пальцы его завладели Митиным локтем.

— А ведь агитация дело си-сте-ма-тическое, — высвистнул он. — Дело десятилетий. Конечно, рабочий класс победит, но это когда? А может, и не победит, ежели мы сложим ручки. Ведь вытопчут все.

Ничего не останется. Да и потом хорошо дожидаться тому, кто уверен. А я, — он закашлялся, тело его затряслось, очки сдвинулись. Он снял их, и очки закрутились в пальцах, — я-то, может, и не дождусь.

Мите странно слышать свои скрытые полумысли, полупереживания, неожиданно воспроизведенные чужим голосом. Так на истертой граммофонной пластинке певец с трудом узнает напетую им же арию.

Повернувшись вдруг к Шевелеву, Митя смотрит в его лицо. Морщинки сгладились, черты на миг неподвижны. От неподвижности и от снятых очков лицо незнакомо и странно беспомощно. Глаза запали, зрачки близоруко расширены. В них настойчивая, маниакально застывшая мысль.

Митя давит волнение, отворачивается и, не глядя на Шевелева, вынимает слова из самой глубины. Он раскладывает их, как кирпичи, веские, остывшие и четырехугольные.

— Я удивляюсь, охота вам тратить энергию на мелочи. Ну, там кассы, кухмистерские... С вашим организационным талантом можно устроить что-нибудь поосновательнее.

Это не ответ на возгласы Шевелева, но это больше ответа. Шевелев пойман врасплох. Очки, повернувшись, вскакивают на переносицу.

— А что, например?

— Да, например, покушение. — Митя не меняет тона. Слова равны друг другу и отформованы одинаково. — Хороший террорист из вас бы вышел.

Песня вдруг оборвалась. Стало тихо. Шевелев метнулся, как подожженный. За стеной спотыкались восклицания.

— Ай да здорово!

— Ну, еще!

— Колбасу всю слопали, черти!

Тугие гитарные переборы. Звон стекла словно взблескивал в воздухе. Зашагали, застукали стульями.

Шевелев, скосившись на бок, ухмылялся, хитрил морщинками и разбрасывал руки.

— Нет, уж где мне, куда мне. Я удовольствуюсь кухмистерской. Без меня разве бы кухмистерская сорганизовалась? Кто помог? Я помог. Вот умру, а вы будете кушать дешевые обеды. Кухмистерская явно полезная вещь. Человек должен делать полезные вещи. Постепенно да помаленьку из полезных вещей новый мир построится.

Митя был оскорблен. Он поднялся как после удара. Комната стала тесной и душной. Только бы выйти отсюда! Хор снова загородил путь звуками. И тогда Шевелев поперхнулся собственным голосом, испугался, что Митя уйдет. Снизу, глядя на Митю, почти привстав на цыпочки, он спросил:

— Вы серьезно или шутите? У вас, может, есть дело?

— Дела нету покуда, — сказал Поварухин. — Мы так говорим покуда. На всякий случай.

Шевелев стоял неподвижно. Только пальцы его слепо ползли по столику. Вот споткнулись о корешок книжки, вот дотронулись до стакана и скачком охватили липкую колонку стекла. Шевелев решался на что-то. Ему казалось, он уже поднял ногу, чтобы шагнуть через пропасть. Он балансирует перед прыжком, набирает в легкие воздуха. Здесь он — путанник, неудачник, изобретатель электрических приборов, инициатор дешевых столовых, хлопотун, не знающий, куда приткнуть свою торопливость, а там, на том берегу — бестрепетный заговорщик, историческое лицо, лучший сын революции. Прыжок совершился. Шевелев будто вырос с поднятым стаканом в руке.

— Ну, так я вас спрошу, согласны ли вы заняться террористическим делом? Нужны помощники.

Шевелев победил. Кровать под Поварухиным скрипнула. Он переместил свои руки и ноги.

— Что ж, пожалуй, — раздалось с кровати.

— Я желаю, — ответил Митя.

Через полчаса вышли в общую комнату. Там все колобродило, громыхало, разбивалось на группы. У открытой форточки, откуда, не смешиваясь с духотой, выползал морозный столб воздуха, надсадно спорила кучка студентов. Там было единоборство фраз и сшибались цитаты.

Добрый молодец стал на колено перед девушкой на диванчике. От его бойких слов девушка заносила назад головку, и смех ключом звенел в ее горле. Острая ограда зубов весело обнажалась. Туго связанные волосы светились мягко и матово.

Городовой пропрел, как бифштекс. Почти обнимая щупленького жениха, он стучал по столу ребром ладони:

— Мы ведь ваши отцы. Мы для вашей же пользы оберегаем.

— Понимаю, — блаженно вторил жених. — Я все понимаю.

Митя оделся и украдкой спустился на улицу. Выпал снег. Белым холстом обметало крыши и выстлало безлюдную, чуть выпуклую прямизну мостовой. Тротуар казался изваянным из мрамора. Дождливые хлопоты осени разрешились в строгий покой.

Митя бодро нес свое тело сквозь прохладную сероватую среду ночи. Чистые пласты воздуха разделялись у его груди и смыкались за спиной. Было хорошо преодолевать свеже выбеленное пространство после чадной и сжатой комнаты. Громко похрустывал снег. Просторные мысли возникали в такт шагам.

— Пусть организации нет и Шевелев все придумал... Хорошо, что настала зима... Все создадим заново... Люди найдутся.

И перед ним оловянной подковой раскрылась зимняя площадь.

5. Сестра опасно больна

Сестра беспокоилась. Встречи с Митей стали редки, и во встречах выступила отчужденность.

Сестра ревниво опиралась о Митю. Его присутствие в городе насыщало ее спокойствием. Город огромен и безразличен. И ему все равно, что в каменных норах его гостят именно эти два человека. Отгостят свое и уедут. А не уедут, город разверстает на их долю туманы, сырости и морозы, снабдит их заботами и болезнями. Мало ли кто обживал, освещал, отеплял грузные здания?

Бывало, Митя хаживал к сестре в праздники. Сестра выхлопатывала самоварчик. В прибранной комнатке становилось семейственно. Извлекались письма из дому, прибывшие за неделю, перечитывались и сопоставлялись. Домашние впечатления заселяли комнату. Даже политика, сдобренная чаем с баранками, оценивалась родственными, особыми, другим непонятными фразами.

Да и что было политикой? Толчея вечеринок или умный неловкий кружок. Присядут, примолкнут, сдерживая приветствия и пряча улыбки. Сдвинут стулья, прилепятся к подоконникам, надышат, нагреют помещение крепкими телами. Один, робея и оттого выглядя суровым, разложит под лампой тетрадки и листики. Он сухо делится цифрами, из коих следуют выводы. На выводах голос крепнет, рука отсекает такт. Наконец, произносится слово, похожее на ракету. Оно светится в душах наперекор данной комнате, наперекор вечеру, городу и зиме. В нем коренятся неоткрытые физиками законы. И, кажется, в день, означаемый словом, даже дома изменят окраску, а в людях обнаружатся новые свойства, ну хотя бы способность к полету.

Слово это — революция.

Едва ощутимая белесоватость востока, когда темнота чуть разбавлена и частицы ее слегка разжижаются глубоко скрытыми под землей лучами, — предрассветные признаки настороженно воспринимаются сидящими здесь. Им кажется, что доли рассвета заключены в них самих. И слово революция, как предутренний ветер, пробегает по комнате.

История совершается странно. В массивах дворцов, в апартаментах министерств вращаются колеса правительственного механизма. Деятели в мундирчиках трогают рычажки. Они уверены, что от них зависит повысить давление атмосфер в котлах и усилить скорости передач.

На старинных часах, когда боем отмечается полдень, вдруг в лакированном чреве раскрываются дверцы. На проволоках важно выдвигаются куколки в пестрых костюмчиках. Иногда выкатится король в зубчатой короне или дама в блеклых шелках, неся бумажную розу в восковой отогнутой ручке, иногда лысый монах в сутане из коленкора, а иногда матерчатая кукушка. Застыв на карнизе резного ящика, они господствуют и кичатся независимо от того, следит ли кто-ни-

будь за их механическим выходом. Двенадцать ударов, словно двенадцать медных колонн, обрамляют их пышное существование. Фигурки осуществляют некую манерную миссию не словами, не жестами, но горделивой неподвижностью своих поз. И, однако, с последним ударом звякает проволока, и они, колыхнувшись, уползают в предназначенные им отверстия. Вероятно, захлопнутые в деревянных своих жилищах и лоскутный король, и линялая дама, и даже кукушка в крашеных перышках полагают, что это они толкают металлические минуты часов, и, не выйди они из дверец, не шагнуло б двенадцать раз и полдень не состоялся б.

История совершается странно.

Может быть, будущее заготовляется здесь, в этой комнате, будто в закупоренной колбе. Может, оно нагревается в воображении отдельных людей и вспыхивает в случайных беседах. Его надо выдумать, вымечтать, увидеть во сне. И загаданное в мечтаниях, выношенное в предчувствиях, оно выкарабкается в явь болезненными толчками. И как распаренное, крикливое тельце новорожденного кажется ничем не связанным с ночью и счастьем зачатия, проявленное будущее может ничем не напомнить свой мыслительный образ. Но тем не менее напряжение мыслей должно быть столь же сильно, как напряжение пола, чтоб впоследствии новая жизнь оделась бы в горячую и грубую плоть.

Кроме мыслей, нужны поступки. Как человек после сидения с книгой хочет встать и расправить мускулы, так и коллектив застаивается в бездействии. И некий член коллектива, как рука, выбрасывается вперед, сокращается, разжимается и, собранный в кулак, ударяет в жизнь, как в закрытую дверь.

Митя не показывался у сестры и отсутствовал на собраниях. Его жизнь стала рядом поступков, вытягивающихся в стремительный жест. Сестра видела отдельные точки событий, но не знала, что они образуют линию, и не угадывала ее направления.

Забежишь к Мите и все невпопад. Если и дома, то не один. Хозяйничают знакомые. Маячат чужие. Разговор замнется и отхлынет в соседнюю комнату. Митя выдвинется навстречу, поздоровается. Иногда присядет рядом с сестрой на диванчик, боком, в полоборота, глядя прямо перед собой.

— Митя, я получила письмо... Мама пишет...

Сестра хочет добраться до Мити умышленно оживленными фразами. Но Митина сдержанность делается еще тверже. Слова сестры стукаются об нее и отскакивают обратно. Она растерянно замолкает и готова расплакаться. И тогда Митя поворачивает к ней сосредоточенное лицо.

— Ничего, ничего, — говорит он тихо и неожиданно, будто отвечая на ее мысли. — Я буду писать маме.

Он вглядывается в сестру и, кажется, вот-вот одарит ее словами внятными и об'ясняющими. Словно положит ей в руку ключ от замкнутой комнаты. Она настораживается. Она пойдет за ним, куда

угодно. А в передней хлопают двери. Возня, шаги, будто вбежало несколько человек. Но это пришел один. Шевелев, протирая очки платком, вносится в комнату близорукий и гордый. Митя отстраняется от сестры и встает навстречу. — У вас, конечно, все готово, — выкрикивает Шевелев. Он рассержен и ему некогда. Митя делает короткое движение плечом в сторону сестры. Шевелев оборачивается. Он, глядя мимо, сует ей сырую, холодную ладонь. Сестра уходит. Митя провожает ее в переднюю. Им трудно смотреть друг на друга.

А ночью пришла телеграмма. Как-то Митя предупредил сестру, что ему может быть известие на ее адрес. Но когда застучали в сон, в ночную глушь квартиры и через дверь передней сестра услышала, спрашивая, ответ — телеграмма такой-то — ей стало не по себе. Сперва показалось, что обыск. И обыск, нестрашный в дневных представлениях, обязательный для революционера, почти отличие, сейчас застал врасплох ее сознание, еще заполненное и расслабленное сновидениями. С чувством острого одиночества она повернула ключ, но дверь не рванули, а в открывшееся отверстие просунулся свернутый бланк и книжка для подписи. Расписываясь, еще спросонок, она чувствовала, как предположения сталкиваются в ее голове, все одинаково тревожные и сбивчивые. После смерти отца она опасалась нежданных вестей.

— Мать захворала... Боря... Она вбежала в комнату и, уже готовая к самому худшему, прочла, поднеся листок к пугливому язычку свечки: «Сестра опасно больна. Петров».

В комнате удивительно тихо. Желтый с темной сердцевиной огонек свечи вытягивался и стлался, подчиняясь неслышным токам воздуха. Стук собственного сердца казался ей слишком громким. Слова, нанесенные на бланк размашистым почерком, были ей вполне непонятны. И, однако, от них словно испарялось беспокойство. Они вломились в ночь непрошенные и неотвязные и требовали внимания к себе. — Опасно больна... Да это же Митя! — вдруг будто толкнуло ее, это — то самое. Но и «то самое» все же необ'яснимо. До сих пор она убеждала себя, что Митя слишком занят или просто отошел от нее. Линеванная четвертушка бумаги, упавшая из окружающей тьмы к ней на стол под свечу, материализовала кусок жизни, отрезок действий, связанных с братом. И значит действия существуют. Нет, лучше бы обыск, чем это вторжение навязчивой фразы. Часы за стеной заскрипели пружинами и, прошипев, звякнули два. Она загасила свечу. Сумрак сомкнулся вокруг. — Сестра опасно больна.—Засыпающей казалось, что телеграмма говорит о ней.

6. «Калоши сыщика блестят»

К Шевелеву подкрадывалась боязнь. Безотчетная, похожая на детский страх темноты. Он не переносил зиму. С осени крепился, впадал в суетливость и, зажмурив глаза, старался в спешке не замечать времени.

После Нового года оказывалось сил мало, а дни, — будто огромные стеклянные валы. Воздух словно насыщен мельчайшими колючими кристалликами. От них на губах металлический вкус мороза. Даже рассеянный свет бледно-сизого неба веет нерастворимым холодом. А по залам надо итти. Каждая следующая все длиннее и глубже. Дни увеличиваются к весне. Но мороз упрям. Его слишком много, пространства, им занятые, слишком широки для маленького шевелевского тела. Выйдешь на улицу, и холод вольется в поры кожи, зациркулирует в организме. Его не выдохнуть из груди. И Шевелеву болезненно начинали мерещиться какие-то фантастически-яркие весны. В глазах загорались воспаленно-синие куски неба. И в небе струящаяся зеленью верхушка пальм. Он знал, что пальмы никогда не увидит. Глянцевая яркость картины его раздражала. Было что-то оскорбительное в назойливом ее возникновении. Чем звонче она пылала в мыслях, тем сильней донимала его болезнь.

Туберкулез тлеет медленно. Шевелев привык к ежевечерним повышениям температуры. Откуда-то снизу расползалась по телу вялая приторная теплота. И странно. Она не пересиливала ощущение мороза вокруг. Тепло и холод, не соединяясь, вместе владели грудью, спиной, руками. Шевелева знобило, а губы сохли, на лбу проступала испарина. И тогда-то аляповатая зелень пальмы, резко отделенная от скользко-синего фона, особенно густо выступала из книги, которую читал Шевелев, перегораживала улицу или наклеивалась на лицо собеседника. И тогда-то Шевелев взмахивал руками и фразами, бегал, доказывал, сам себе напоминая муху, силящуюся оторваться от липкой бумаги.

Эта зима была для него значительной. Кашель стал цепким, глубоким. После першащих задыханий у Шевелева крепла брезгливость сначала к себе, а потом ко всем остальным. Отделенный от других своей болезнью, он наблюдал всех с едким пристрастием. Жесты, словечки, улыбки отпечатывались в его оголенной одиночеством душе и сжимали горло отвращением:

— Болтуны, хвастунишки, мелют... А предложишь им дело...

Шевелев не знал, способен ли он сам на дело. Но в тот вечер ему было очень худо, и он накинулся на Лукьянова. Лукьянов выглядел слишком благовоспитанным. Сдержанность его вызывала недоумение. Шевелев наскочил на Митю, стремясь вывести его из равновесия, восторжествовать и убедиться, что Лукьянов просто педант.

Встречное предложение было ударом рапиры, резко сбивающим с ног. Шевелев парировал его словом — заговор. Рапиры с треском скрестились. Противники подали друг другу руки. Заговора же на самом деле не было.

То-есть, кто тогда не вынашивал угрюмые планы? Еще не рассеялись хлопья первомартовских дымов. Казалось, дворец пошатнулся. Еще толчок динамита, и фасад его треснет. Не верилось в тишь, простертую над страной. Трудно было стать подземной водой, подмывающей кряжи истории.

Хватит ли жизни на подведение верных подкопов?

Шевелев знал, что его-то жизни не хватит.

Он солгал тогда не вполне. Заговора не было, но мечта о нем опаляла состав Шевелева.

Предложение Мити—будто хворост в огонь. Все стало простым. Несколько разговоров. Нити свяжутся узелками. Дело дней. А главное, не врываться кротами в землю, а бежать по поверхности, прямо навстречу чугунному всаднику. Этот всадник, квадратный, плечистый, раздавивший громадным задом коротконогую сонную лошадь, после въедет на площадь. Но массивная поступь копыт где-то жмет уже мостовую. Еще невидимый, он проезжает под аркою штаба на Невский, чтоб промерить его до конца и вскарабкаться на постамент, опустив лудовые вожжи.

Шевелев помчался по дням. Зима каруселью скользила мимо. Брезгливость сменилась любовью к себе и отсюда к другим. Избранничество болезни стало избранничеством истории. Но Лукьянов остановил ему время.

Митя испытывал Шевелева. Пьют чай. Митя внесет самовар. Засыпет сухую щепотку пахнущих листьев. Разольет крутой кипяток по стаканам. Шевелев следит, как рыхлеет сахар в красноватом столбике жидкости. Шевелева охватывает непривычное чувство семейственности. Он распускает напряженные мышцы в руках и в ногах, опирается локтями о стол, подняв к лампе бледное лицо с острыми скулами, тонкокожее лицо фанатика и аскета.

И, глядя в стакан, иногда проводя ладонью по лбу, выступающему из темных волос, Митя негромко, словно делясь сам с собой, выговаривает итоги работы.

Малочисленность привлеченных его не пугает. Только не за чем набирать неустойчивых. И особенно нашептывать о якобы мощной и тайной сети ячеек.

— Слышите, Шевелев?

— Ну, это оставьте. Ведь иначе не войдут.

— Не надо.

— Нет, надо! Ждать, пока отыщутся рыцари? А ежели таковых не найдется?

— Справимся сами.

— Канитель. Самим не управиться. А теперь мы слишком завязли. Нужно скорее кончать.

Шевелев закашлял. Лицо искривилось морщинами.

— Или вы уже на попятную?

Митя молча пожал плечами и, поднявшись, прошелся к окну. За стеклом спрессованная из черных кирпичей стена. По ней намерз блесткими пятнами иней. Шевелев глядел в сутулые Митины плечи. Ему стало стыдно, но заглаживать сказанное не хотелось.

Рассматривая стену, Митя ответил:

— Мы недавно начали. И еще не готов динамит.

Если б мог Шевелев вытрясти из карманов сейчас же, тут же на стол этот динамит. Завтра же запаковать в коробки. Послезавтра на улицу...

Он прощался, запахиваясь в пальтецо.

— Да, конечно, вы правы, вы правы, — подтвердил он, облизывая тонкие губы сухим языком. И, напустив на себя деловитость, вышел на улицу.

Лукьянов останавливал ему время. Этот вечер тянулся долго. Карусель зимы замедлялась. Весна оказывалась неимоверно далекой.

Шевелев вглядывался в длинный белесый проспект, словно желая уловить на горизонте удаленный берег весны. Но мороз владел ночью. Огромные звезды низко набиты над крышами. Шевелев пошел и не столько увидел, сколько почувствовал — от под'езда соседнего дома мягко отделилась фигура. Отслоившись от темноты, она захрустела шажками. Шевелеву был противен грызущий, хрупающий звук снежной скорлупы под ногами. Сейчас звук удваивался, чуть запаздывая, идущим за его спиной.

Навстречу по накрахмаленной мостовой мчался лихач. Бронзовый круп лошади, словно отлитый на миг из гулкого мрака, выпукло мелькнул в глазах Шевелева. Широко раскинутые копыта мгновенно и сильно меняли свои положения. Едва касаясь затверделой белизны проспекта, с почти невещественной легкостью метнулся кузов саней. Он выглядел плоским и сплюснутым от быстроты. Два пепельных очертания — военный в расплывчатой николаевской шинели обнимал меховую тень женщины. Они увязали друг в друге и увязали в санях, образуя общую, нерасчлененную массу. Режущий скрип полозьев, визжащий, позванивающий, сопровождал их тревожный полет.

Дикая сила рысака будто отодвинула Шевелева в сторону. Он задержался, уступая дорогу идущему сзади. Сани пропали, как выдернутые из глаз. Улица показалась более пустой, чем раньше. Шевелев стоял, как покинутый. С ним поступили несправедливо. В подобную мысль он мог бы сжать свои смутные ощущения.

Человек обогнал Шевелева. После бури копыт и полозьев шаги прохожего потрескивали робко и вкрадчиво. Скоро они замолкли. Шевелев посмотрел вперед. Человек зябко замер у фонаря. Лицо его было упразднено низко сдвинутым котелочком. Вниз торчало подобие слабенькой бородки. Новенькие калоши стояли рядышком на снегу, вымазанном в масляно-желтый фонарный свет. Они блестели, будто изготовленные из черного бутылочного стекла. Шевелев дернул плечом и пошел обратно. Калоши отлепились от тротуара и, обгоняя одна другую, задвигались ему вслед.

7. Тишина

Туго свинченный микроскоп отсвечивал ясным блеском. В его выдвижных трубках было спокойствие и благородство. Логика и точность человеческой мысли нашли свое выражение в округлом изя-

ществе медных частей. Гладкое, укрепленное на винте зеркальце направляло конический луч в стеклышко препарата. Прижимая глаз к прохладному окуляру, Митя заглядывал внутрь тёмной шахты. Внизу на пластинке света висели странные образования. Узловатые, коленчатые, подобные стволам невиданных деревьев, они словно вмерзли в застылую световую окружность. Это были тонко выделенные сочленения водяного жучка.

Митя вглядывался в граненую неподвижность коричневых форм. Стены лаборатории, Петербург, он сам — все оставалось за пределами прозрачного мира, запаянного в столбик микроскопа. Иногда он отрывался, чувствуя, как тяжелеет от напряжения его глаз, и делал заметки в тетради. В лаборатории плавал рассеянный день. Студенты торжественно горбились над приборами.

Здесь царило исследование, господствовала наука.

Митя любил эту осторожную тишину, в которой иногда скользили шелесты листаемых страниц, иногда хрустел карандаш. Даже чьи-нибудь редкие шаги не могли раскачать устойчивый воздух. Звуки задерживались где-то по краям залы и бессильно вязли в толще молчания.

Последние дни Митя работал регулярно. Однажды, устав от обсуждений, он забрел в университет, разделся и поднялся в лабораторию.

Заговор уже оформлялся. Отбирались нужные люди, имелись металльщики, вырабатывался динамит.

Мысль, глухо проросшая в сознании Мити, оказалась не его собственной мыслью. Ею были больны и высокий чернявый студент из казацких станиц, и приземистый сибиряк с татарскими скулами, и разговорчивый светлоглазый кубанец. Казак разглядывал эту мысль в приступах нападавшей апатии, вылеживал ее на костлявой хозяйской койке в бельмистые петербургские дни. Сибиряк словно усаживал ее рядом с собой на стул и, отрываясь от книг, ходил вокруг нее, оценивал ее со всех боков и убеждался, что мысль присутствует в комнате крепко, не уходит, и что она для него гораздо предметнее окружающей мебели. Кубанец вопросительно нырял по кружкам, оттаскивал собеседников в угол и беспокойно выспрашивал:

— Хорошо. Хорошо. А когда же вы будете что-нибудь делать?

Эта мысль была настолько обща для нескольких человек, что со стороны могла показаться самостоятельным организмом. Она, как магнит, действовала из пространства. Люди, в природе которых дремали частицы железа, подтягивались к ней и так находили друг друга. Шевелев юлил повсюду подобно маленькому магнитному вихрю, и ускорял процесс собирания элементов. Поварухин, крупный, надежный, сводил людей и будто склепывал в одно отдельные части заговора.

У Мити было безотчетное намерение проститься с лабораторией, в которой так усердно он высиживал прежде. Но когда его коснулась светлая, немного больничная тишина залы, тишина, хранившая в себе

отпечатки его дум, рабочая тишина, в создании которой он будто сам принимал участие, он задержался и, втянутый нагретым спокойствием воздуха, не думая, прошел к препаратам. Мускулы его тела работали за него. Руки сами дотронулись до чуть звякнувших щипчиков, протерли нужные стекла, ввинтили в фокус трубку микроскопа. Митя, затаив дыхание, заглянул в желтую колонку прибора. Он перелил все свое внимание во внутрь круглой, перегороженной стеклами меди, словно продолжил свой организм этими полированными стволами, и почувствовал, что он счастлив. Бескорыстное исследование — ведь не ему пользоваться результатами медленного разглядывания,— исследование бесполезное — ведь неизвестно, успеет ли он притти к выводам, — захватило его, как захватывает поэта слепое ощупыванье словесных обломков, ему самому непонятное вслушиванье в ритмические толчки.

Митины дни разделились. В одной части каждого дня поместилось все относящееся к заговору. Там разговоры расшатывали комнату, воздух был воспаленным и взрывчатым, будто в нем рассеялись частицы приготовляемого динамита. Там спорили о мелочах и сходились в главном, там, пошучивая и замалчивая опасность, обрекали себя на смерть. Но из этой рябоватой и взволнованной водной половины дня выступала твердыми очертаниями другая, минеральная и незыблемая. Митя выбирался на остров, каким казалась ему лаборатория, обсыхал, укреплялся, чтобы по истечении положенных часов снова пуститься вплавь. Обычно обе половины не смешивались и не проникали друг в друга. Но вот сегодня...

Сегодня в Митином спокойствии присутствовало нечто постороннее. Оно колыхалось в глубине груди, будто кусочек льда, и царапало стенки сердца. Митя угадывал, что режущим неудобным осколком было переживание от'езда Поварухина, и отводил мысли в сторону.

Поварухин выехал сразу. Еще за несколько дней ничего не угадывалось. Поварухин уверенно перемещал свое крупное тело вдоль Митиной комнаты, высмеивал мнительность Шевелева, которому всюду чудились сыщики, запевал вполголоса тягучие хохлацкие песни. Поварухин испарял крепкий запах быта. Он был забронирован шутливыми словечками, небыстрыми жестами, широкой своей походкой. В его присутствии все дело выглядело простым. Будто участвующие кипятили картошку или варили кашу, которая обещает быть горячей и вкусной. И вдруг он забрел к Мите подвечер, утвердил прочные локти на клеенке стола, удобно вставив в ладони голову и с обычной ухмылкой заявил:

— Так-то, друже. Хочу уезжать.

Митя не понял и оглядел собеседника. Тот не прятал улыбки с кругловатого выпяченного из ладоней лица. Но глаза рассматривали Митю пристально, словно прицеплялись к его чертам. Потом переползли на костюм и потрогали каждую складочку.

— Куда уезжать? — спросил поперхнувшись Митя.

— Думаю пока что в Германию. Надо же людей посмотреть.

Поварухин говорил серьезно. И от'езд его за границу показался простым и естественным обстоятельством. Будто вынул человек из кармана трубку, набил табачком и курит. Почему ему не курить?

Поварухин действительно вынул трубку.

— Добрый табак, — сказал он, выплюнув изо рта ленивые сизые хлопья.

И оттого, что Поварухин курил с таким довольным усердием, так просторно отвел к спинке стула свои раскрытые плечи, так убежденно пробарабанил по столу сильными пальцами, и вообще оттого, что вся его раскинутая фигура была налита обычной устойчивостью, у Мити внутри что-то захлопнулось и он не задал ни одного вопроса. Разговор перешел к адресам и к способам добыть паспорт. Мите стало стыдно смотреть в лицо Поварухину. Он боролся с этим беспредметным стыдом. Главное, чтоб Поварухин ничего не заметил. Но тот улыбался почти снисходительно, как взрослый улыбается, поощряя застенчивого ребенка. И Митя чувствовал, что щеки его вспыхивают досадным румянцем, будто сам он пойман на опрометчивой шалости, будто сам он и есть дезертир, и паспорт нужен ему. Только перед уходом Поварухин, так и не дождавшись вопросов, потянулся, позевывая, и нехотя бросил:

— Так-то. Ведь ничего не выйдет.

Этим он словно отрезал себя от Мити. Неужели же об'яснять Поварухину, что дело не в том, выйдет или не выйдет. Разве был здесь расчет на выйдет? А даже, ежели «выйдет», то не все ли равно им лично, ведь для них-то конец одинаков.

Митя ответил:

— Значит паспорт купите в Вильно. Завтра выдам деньги и адрес.

И тут-то улыбка смахнулась с лица Поварухина. Что-то жесткое, злобное, ожесточенное растопырило его черты, сделало их угловатыми. Он сунул руку в карман, словно не зная, следует ли ему протягивать ее Мите и вышел, грузно стуча ногами.

Вчера он уехал. Митя его провожал.

Митя ему об'яснял, с кем нужно связаться на Западе. Они расхаживали по перрону, вполголоса переговариваясь. Митя будто внушал Поварухину, что от'езд его необходим и все решено сообща. Поварухин повторял Митины слова, оглядывался по сторонам, почему-то дергал головой, словно ему жал воротник. Казалось, поезд никогда не уйдет. Брякнуло три звонка. Поварухин рванулся и неуклюже полез на площадку. Лицо его было искривлено и так несчастно, что Мите стало жалко этого прочного, когда-то веселого человека. С недоумением Митя двинулся к выходу. Перрон поплыл мимо вытянутых вагонов. Митя услышал свое имя и обернулся. Размахивая рукой и свешиваясь с ускоряющих ход ступенек, Поварухин что-то кричал ему. Слов не было слышно. Митя нажал тугую вокзальную дверь.

Поварухин же быстро прошел внутрь вагона и сел на скамейку. Ему показалось, соседи смотрят на него удивленно. В окне косо пролетали, разворачивая фасады, корпуса петербургских зданий. Фабричные трубы меняли места и обходили друг друга. Даже небо медленно вращалось, обтекая вагон. Поварухин почувствовал, что он спасен. Проклятый город отвалился от окон. За стеклами, то обвисая, то натягиваясь, штриховались телеграфные провода.

Сестра вызвала Митю из лаборатории. Она ждала на лестнице у раздевалок. Форменные шинели с зимними воротниками висели, тепло и тесно прижавшись одна к другой. Их одинаковое чинное обилие, обрамленное ореховым деревом вешалок, вбирало в себя звуки.

Митя появился на лестнице. Свет падал на него сзади, сверху, и лицо в тенях показалось сестре похудевшим.

— А, это ты, — негромко воскликнул Митя и взял ее за руку.

— Да, вот, сегодня ночью, — заторопилась она, запнулась и молча подала лоскуток телеграммы.

Митя расправил листок, повернулся к свету и медленно, почти шевеля губами, прочел короткую фразу. Три знакомые слова вновь осязаемо вырезались в памяти сестры. Она будто заново произнесла их про себя вместе с братом. Будто это совместное прочитывание вводило ее в мысли брата. Будто им одновременно открывалось общее содержание текста.

Митя аккуратно согнул бумажку и вложил ее во внутренний карман. Так и смысл написанного, перегнутый, сложенный, спрятанный, исчез из глаз сестры и стал нераздельной Митиной принадлежностью.

— Что это значит? Это что-нибудь очень плохое, Митя?

— Нет.

— Я сразу же с утра понесла ее к тебе. Хорошо я сделала или нет?

— Да. Спасибо.

Он осторожно пожал ей руку, словно уговаривал ни о чем не спрашивать. Прежде чем она успела что-нибудь сказать, его фигура заслонила собранный наверху лестницы свет. Он свернул в коридор. И, притушенные рядами шинелей, тихо стукали удаляющиеся шаги.

8. Вагон и двор

Сухие искры снежинок мелко взблескивали в лучах фонарей. Облачное небо густо накрыло город. И город и небо наполнены непроницаемым вечером.

Митя и Шевелев вошли в ящик конки. У каждого по чемоданчику. Конка дернулась и зазвенела непрозрачными от мороза стеклами. Лошади, вдавливая в упряжь изможденные тела, покатили конуру на колесах от вокзала к центру. Внутри конуры было темно. Чадя, мигала жалкая лампочка. Лед крепко намерз на окнах и, казалось, намерз на скользком полу, намерз на деревянной обшивке стен. Ста-

рушка в стеганом ватном салопе сидела с узлом в руках. Впалый рот ее шевелился. Она разжевывала неслышные слова. Митя и Шевелев сели против рослого мужика. Из овчины торчала шерсть бороды. Еще имелись снизу огромные валенки, сверху мохнатая шапка. Других пассажиров не оказалось. Зажав иззябшими пальцами ручку чемоданчика, а чемоданчик поставив себе на колени, Шевелев мотнулся вправо и влево и замер. Впрочем, мотнулись и остальные. Вагон наступил на скрещенье путей. Неподвижным остался мужик. В чемоданчиках крылись несложные вещества для выделки динамита. Их привез товарищ из Вильно. Условная телеграмма уведомила Митю о выезде посланного. На вокзале запас был вручен Мите и Шевелеву. Ящик конки стучал колесами в рельсы, провозя редкий груз коридорами улиц.

Шевелев сжимался, пытаясь согреться. Бессильные блики от лампочки ездили по его фигуре. Казалось, он то удлиняется, то сокращается. В чемоданчике двигалось запакованное содержимое. Это беспокоило Шевелева. Однако, сообщать что-либо Мите он не решался. Все четверо в вагоне молчали.

Очевидно, маршрут пролегал заглохшими улицами. Никто не входил и не выходил. Ящик чуть застревал на остановках и снова — окрик вожатого, бряцанье о камень подков, дробный треск стекла и железа.

Странно изолированным был вагончик. В удлиненном пространстве улицы трудно катилось другое, полое, обшитое деревом, крытое низенькой крышей пространство. Впрочем, неизвестно, какое из двух пространств продвигалось, какое стояло на месте. Может, улица, пошатываясь, текла по бокам. А полая коробка, пошатываясь, только изображала движение. И лошади, часто перебирая ногами, только делали вид, что бегут.

Шевелев, заключенный в малом пространстве, не видел за обличованными льдом стеклами прохождение улицы. А не видя, не мог и определить направления вагончика. Он не участвовал ни в одном из возможных движений. Он участвовал в трясе и откликался на грохот надрывистым кашлем.

Было затяжное уныние в подрагивании маленького, законопаченного, захолоделого мира, в котором молчали пассажиры. Впрочем, Митя не замечал ни бурых планок стены, ни коптящей лампочки. Толчки механически воспринимались его телом. Он подсчитывал дни. Прибытие чемоданчиков ускоряло работу. Он сам приналяжет на изготовление взрывчатого материала. И значит, первого марта.

— Теперь мы успеем, — пробормотал он Шевелеву.

Тот кивнул и полез за платком. В груди его скрипели пружины, выталкивая наружу ступенчатый кашель.

Первое марта. Несколько дней. Скорей бы доехать. Доехать бы и согреться. Вагончик похож на жизнь Шевелева. Она тоже трясется на месте. Даже едет в обратную сторону. Расстояние до весны неправдоподобно увеличивается. А вокруг юлят соглядатаи.

Выслеживание приняло несоответственно большие размеры. Шевелев наблюдался с научной точностью. Его восхождение на горизонт дневной жизни было астрономически вычислено. Так казалось ему. И казалось, петли путей его по улицам отовсюду наблюдаются зоркими телескопами. Из подворотен, из окон домов Шевелев ощущал нацеленные на него взгляды. Он был рассмотрен, изучен и вымерен. Началось это встречей у фонаря. Шевелев хитрил и скрывался в квартиры товарищей. Но, высовываясь на улицу, обнаруживал поджидающих.

В числе их были мужчины и женщины, чиновники и гимназисты, военные и купцы. Иногда выбегал котелочек с бородкой. Он выглядел добрым знакомым. С ним тянуло раскланяться.

Конка отряхнулась и покатилась быстрее. Ящик затрепетал, обнаруживая почти юную прыть. И мужик и старушка — вне подозрений. Новые не входили. Шевелев почувствовал успокоение. Ему, очевидно, дана передышка.

Да и почему именно нужен он? Он замешан не больше других. В чем же собственно он замешан? В посягательстве на жизнь высочайшей особы? Он повинен также в ином. В чаяньи тепла для себя. Может, и это подлежит слежке? Что за дичь!

— Где мы едем? — спросил Шевелев, выдувая дыханьем кружочек в стекле. Он сунул глаз в оттаявшее отверстие. Непонятно. Мимо колыхались неопределимые белые формы, не то сугробы, не то заборы.

В это время от'ехала дверца. В вагончик проник человек. Шевелев оглянулся, и кашель застрял у него в груди. Шевелев отметил калоши, потом раз'езжавшиеся полы пальто, черные диски пуговиц. Бородка казалась мокрой. Куполок котелка облепили снежинки. Человек зажимал под мышкой белый сверток покупки. Не замечая Шевелева, он присел на скамейку, вынул сложенный чистый платок, аккуратно высморкался и деловито повел по вагону глазами. Все движенья его уместны и скромны. Покупка, увязанная ленточкой, сообщала ему домовитость. — Что там, булки? — подумал вдруг Шевелев. — Да, булки, к чаю детишкам, — казалось, подтвердил обыватель, опуская сверток рядом с собой на скамью.

В первый раз Шевелев мог рассмотреть его подробно, вплотную. Неприметное, в тонких морщинках лицо выражало неомраченную честность. Трудолюбие не за страх, а за совесть. «Учитель латыни» — пришло в голову Шевелеву. Сама справедливость. Как он говорит? Верно веско, вежливо, дельно. На таких держится все. Они укрепляют устои, хранят благочиние. Охранители, охранная армия мира. Почему же этот охранник на меня и не смотрит? Потому что он знает, я все равно не уйду. Он просто сопутствует мне, бережет от преждевременного бегства. Я еще не созрел. А вот скоро дозрею... И Шевелеву представилось, что обыватель берет его ручкой за локоть... Кровь стучала в висках Шевелева от ненависти и бессилия.

— Чемоданчик уроните, — суховато сказал тенорком незнакомец.

Шевелев вскочил, как подколотый. Митя обернулся и взял чемодан Шевелева к себе. Шевелев бросился к выходу. Старушка жевала губами. Мужик выкатил остеклянелые глаза. Он был вдребезги пьян. Вслед себе Шевелев услышал жирное — «сволочь». Он выпрыгнул из вагона и стоял на мосту.

Перед ним тускло лежал неявственный сероватый простор. Более пониженный уровень смутной белизны отмечал застывшее русло Невы. Берега темнели сплывшимися очертаниями зданий. Кое-где неестественно высоко висели в воздухе желтенькие прорезы окон. Шевелев шел по едва ощутимому под'ему моста. Металлическими стружками потрескивали и мерцали снежинки. Он понимал, что сходит с ума, что жить ему страшно, и пытался выправить себя, шагая торопливо и отчетливо. Фонари выгибались по сторонам моста двумя дымчато-золотыми цепями. У берега обозначилась черная угловатая глыба впаянного в лед парохода.

Что-то непонятно-мягкое ткнулось сзади в ногу Шевелева. Он повернулся, чувствуя, как сердце стучит у самого горла. Ему показалось, что он закричал, но звук задержался в легких.

Перед ним стояла собака.

Обыкновенная, с темной свалявшейся шерстью, уткнув лапы в снег, выжидательно приподняв морду в кудлатом войлоке, свесив подкрученный хвост, собака прислушивалась. Шевелев, пораженный, запопал ногами. Животное плавно отпрыгнуло шага на два и остановилось, словно привязанное к Шевелеву.

— Что со мной делается, — сказал Шевелев. — Надо держаться.

Он пошел умышленно медленно, и собака двинулась тоже. Беззвучно переставляя шерстяные лапы, она не отставала от Шевелева. Двухаршинное расстояние между ними было постоянной величиной. Украдкой оглядываясь, Шевелев видел войлочное черное тело, трусившее за его шагами. Мост давно кончился. Навстречу выходили низкорослые голые деревья, воткнутые вдоль тротуара. Потом сразу образовались дома. Выделялись и пропадали прохожие. Собака присутствовала сзади, словно тень, отбрасываемая Шевелевым. Он влек ее за собой, полный тупой усталости. В этой слежке, в науськиваньи на него собак, в подобной травле была презрительная издевка. Значит не удалось, если смеют так мерзко преследовать и столь явными способами. Подвижничество террориста, систематическое бунтарство — кованые доспехи, слишком тяжкие для него.

Он метнулся в ворота, нажал железную дверцу, и та, дребезжа, поддалась. Шевелев прыгнул внутрь подворотни и с отвращеньем заслонил себя дверцой от улицы. В незнакомом дворе глухо и мглисто. С улицы слышалось жалобное повизгиванье. Когти заскребли металлическую обшивку ворот. Шевелев шел по дну каменной шахты. Стены уходили вверх, изрытые неосвещенными окнами. Кое-где внизу вруб лены двери. Полукруглые отверстия вели во внутренние дворы. Протаскиваясь сквозь тоннели, выбираясь на одинаковые асфальтовые

площадки, Шевелев заблудился. Он ощущал себя заглотанным, погруженным в каменное чрево какого-то чудовища. Водосточные трубы сползали с углов, как железные пищеводы. Шевелев оперся о кладку дров, обросшую снегом.

— Теперь хорошо, — почему-то подумал он. Снежинки щекотали лицо.

Время не двигалось.

. . . . . .

На другой день он спешно выехал в Ялту.

9. В поисках звука

Когда в двенадцать пушка качнула воздух, Митя вздрогнул. Звук, не спеша, ударил в стены домов на набережной и углубился в улицы. Над приземистым бастионом выпорхнул розовато-белый дымок. Он тихо пополз по синему небу. Митя остановился. Звук не был искомым, ожидаемым нынче сотрясением атмосферы, земли, истории. Его вытолкнул обычный питерский полдень. Он спокойно и веско вкладывался в круговорот городских шумов, не нарушая равновесия дня. Обыватели извлекали карманные часики и выверяли время. Шпиц Петропавловской крепости отливал граненым золотом. Митя бродил по городу. Его действия были закончены. Он мог праздно вглядываться в неожиданно яркий, высокий и синий день, чуть скрепленный морозцем. В играющем блеске солнца — близость весны.

На Невском среди прочих предметов, несомых людьми, имелись книга и два жестяных цилиндра. Книга толстая, в переплете с обрезами. Митя был автором этой книги. Он зарядил ее воспламеняющимся составом.

Митя чувствовал себя легким и незаполненным. Содержимое его головы было спрессовано в цилиндрах и книге. Кубанец, казак и сибиряк, кто прижимая к груди, кто поддерживая локтем, берегли это содержимое от толчков.

Толпа запрудила тротуары. Со стороны могло показаться, будто шероховатые волны людей колеблются взад и вперед на месте. Так одинаково был насыщен прохожими Невский. Заменяя одни фигурки другими, толпа оставалась все той же. Шевелящимися рядами она омывала разноцветные выступы зданий.

День праздничный. Невский облицован солнцем. Обычно неяркие, графически серые его берега сегодня словно проснулись. Каждый дом вобрал в себя силу лучей и выделился из общего ряда своей особенной краской. Солнце вызвало в камнях лучшие свойства и качества. И удивленным глазам петербуржца открылись — тут красные, будто сложенные из отверделой зари, массивы, там голубые плиточные фронтоны, а здесь яично-желтые колоннады. Даже в суровые крылья Казанского собора были врезаны тонкие пластинки света. И купол горел червонными ребрами.

Кубанец, казак и сибиряк не растворялись в толпе. Их относило теченьем к Публичной библиотеке. Затем они снова выбивались в сторону штаба. Каждый ходил в одиночку. То ускоряли шаги, то застаивались у витрин. Они напоминали камешки, перекатываемые ручьем. Они были тяжелее толпы. Волны переталкивали их с места на место, но не смывали с Невского.

Отдать жизнь — это просто. Швырнуть ее разом об камень вместе с гремучим цилиндром. Чтоб взмылась она столбом дыма и грома! Но ждать... Не придуманы способы рационального ожидания смерти.

Когда ждешь, начинаешь раздумывать. Становится холодно. Просыпается голод. Рука затекает от настороженного поддерживанья предмета под мышкой. Можно еще раз дойти до Публичной, посмотреть на часы, на термометр с двумя синими струйками ртути. Потом повернуть и считать, сколько шагов до Думы.

Иногда они встречали друг друга. Или кто-нибудь наблюдал другого на той стороне. Каждый отмечал неторопливое продвижение товарища, видел, как нет-нет и вытянет шею товарищ, стараясь высмотреть что-то за головами прохожих, и поправит увязанный сверток. Каждый повторял жесты другого, так же топтался, оглядывался и выжидал. Разность обликов и осанок не имела значения. Они будто отражали друг друга.

К порталу Казанского стягивались войска. Накоплялись шинели полиции. Широкозадые кареты высшего духовенства задерживались у вырубленных из гранита ступеней. Поддерживаемые под руку черными служками, с одышкой карабкались под колоннаду дородные рясы. Плавно колебались твердые клобуки, погружаясь в черный провал главного входа. Панихида по убиенном монархе должна быть торжественной. Государь приедет сейчас.

Митя подходил к Дворцовой набережной. Гранитное зарево Зимнего раздавалось перед ним вширь. Зеркальные окна салютовали звонкими отблесками. На крыше парили черные статуи, завернутые в небесную синеву. Лимонная ткань штандарта вздувалась легкими складками.

Митя пытался представить себе того человека. Странная мысль— человек. Удивительно, но человек. Одутловатый, с желтым припухлым лицом, с отеками под глазами. Тяжелый, лысеющий лоб, пегие, щеткой отдавленные назад волосы, рыжеватая борода. Митя до сих пор и не думал, что он намерен убить человека. Он увидел того с поражающей ясностью. Казалось, стены дворца стали прозрачными. Нет окон, статуй, штандарта. Нет расстояния между ними. Каких-нибудь два шага. Митя видит мятую кожу щек, мешковатый мундир, наполненный рыхлым телом, дряблые морщинки, расходящиеся от глаз.

— Вот он какой, — с удивлением думает Митя.

— Я должен убить тебя, — говорит он негромко и медленно.

Маленькие голубоватые глаза вдруг проясняются от страха. Человек растерянно шарит по столу толстыми пальцами. Митя боится,

что тот не дослышит, и пытается изложить свои мысли возможно короче.

— Я ничего не имею против тебя. Я вижу тебя в первый раз. Я не знаю, счастлив ты или несчастлив, каковы твои чувства, мне неизвестны твои привычки. Да... охота, — вдруг вспоминается Мите. — Вот, вот, это я слышал, ты любишь охотиться.

Человек успокоился. Он даже кивнул головой.

— А я никогда не охотился. У меня... Нет, нет, это глупо. Зачем говорить о себе, — одергивает сам себя Митя. И тут же понимает, что договариваться нелепо. Человек в кресле, стол, кусок кабинета стремительно от'езжают назад.

— И вот я убью тебя. Или... может быть, ты... меня.

Последние слова Митя кричит в пространство, неожиданно выросшее между ними. И между ними непроницаемая, лепная громада дворца. Между ними невидимые, но непреклонные законы действительности, поставившие их на разных концах вселенной, но друг против друга.

— Бесполезно, — шепчет сам себе Митя. — Когда ж он поедет в собор?

И тотчас упруго доносятся звуки оркестра.

Трое с трех точек следят проходящий оркестр. И со всех точек оркестр ослепителен.

Серебрянные ряды кругло изогнутых труб мерно вздрагивают в такт шагам. Их расширяющиеся прохладные шеи гордо прижаты к телам музыкантов. Люди обрамлены витыми звучащими овалами. Передние победно прижали к губам прямые стволы корнет-а-пистонов. Натертые бока барабана пружинят под ударами гулких палок. Стенки инструментов вибрируют от напряжения. И толпа замедляет движения, задержанная пересыщенным медью воздухом. Звуки застаиваются в под'ездах и отбрасываются назад витринами. Витрины с опозданием вторят мелодии. На еще нерассеявшуюся звуковую гряду набегает вторая. И темп марша меняется от слияния аккордов, рожденных в разное время.

Сибиряк едва протиснулся сквозь медные лавы снова к собору.

Протяженные колебания корнет-а-пистонов задержались в колоннаде. Не сами звуки, но их отражение от колонн проникли в полые сумерки храма. Отскакивая от стены к стене, они вылетели на центральную площадку. Уже невесомые, очищенные от меди, почти человеческие возгласы достигли купола и в его углубленной впадине перешли в неуловимые для слуха дрожания.

И в соборе снова остались сухие шелесты платьев, потрескиванье свечей, дыхания обширной толпы, ожидающей начала службы.

Там тоже ждали давно, покашливали, сдержанно посверкивали орденами и позументами. Негнущиеся мундиры, продолговатые футляры треуголок, муары скрипучих лент на груди. Пышная знать, облеченная всеми регалиями.

Верхние иерархии России.

Этот день вызывал неприятные привкусы. Слишком свежа память о злодеянии. В бозе почившего знали многие из предстоящих у алтаря. Чувства надежности не было даже здесь под надежными сводами высокомерного храма. И чем более оттягивалось прибытие монарха, тем беспокойнее шевелились мундиры в звездах и бантах, тем чаще клонились друг к другу седые и лысые головы, вопрошающе шевелились губы и в ответ едва пожимались плечи, отягощенные эполетами. Отделяясь от серого камня, там и сям свисали стеклянные светы лампад. В драгоценных окладах молчали неразличимые лики.

И уже сквознячок тревоги, неизвестно где зародившись, будоражил ряды, и уже ядовитый слушок о готовящемся покушении, кажется, предупрежденном, но, может быть, и не вполне, о бомбах, циркулирующих по проспекту, имеющих силу сдвинуть с фундамента весь этот мощный шатер православия, — юркий слушок обегал группу за группой, вызывая сжатия сердца и покалыванья груди, — когда массивное золото царских врат разделилось на две половинки и обернутый в азатскую роскошь литых сверкающих риз, увенчанный чеканною митрой, вышел маленький старичок, вскинул беленькие ладони и неразборчиво произнес первые древние слова обряда.

Руки всех дружно отчеркнули в воздухе крестное знаменье. Свеча зажигалась о свечу. Казалось, тягучие непрозрачные язычки перепархивают сами с места на место. И скоро все переходы собора беззвучно озарились летучими огоньками. Служба началась. Государь не приехал.

Сибиряка взяли сразу, как по команде, цепко, с обоих боков. Рванувшись, он увидел близко нависшие над его плечами лица. Военная шинель и гражданская шуба зажали его тесно и жарко.

— Стой! — негромко сказал военный, обнажая необыкновенно чистые зубы.

Произошло замешательство. Толпа разделилась и отхлынула, оставляя вокруг утоптанное пространство.

— Книга, книга! — мелькнуло у схваченного.

Поскользнувшись, он стиснул ее локтем. — Может, еще пригодится.

Все совершилось мгновенно. В глазах раздавшихся в стороны прохожих — любопытство и боязнь за себя. Сани ждали у тротуара. Он попробовал упереться, но его почти бросили на сиденье. И в тот же момент сани снялись с места и легко, будто под уклон, понеслись вдоль проспекта.

Все совершилось мгновенно. Еще взмывались издали нарядные звуки оркестра и отдельно от них глухо шагал барабан. Сани ныряли, прильнув к мостовой. От их быстрого лёта хотелось дышать глубоко. Но сидевшему не дышалось. Мимо. Напротив Гостиного сбился народ. Над головами мелькнули чьи-то руки, кого-то тащили. И не по внешним признакам, а по такому же, уже знакомому замешательству людей, окруживших происходящее на тротуаре событие, проезжавший отчетливо догадался — там, так же, как и его самого, схватили товарищей.

10. Иное развитие темы

Митя не знал, что случилось на Невском, но знал, что не случается самого главного, не происходит даже подобия взрыва. Отсутствие катастрофы, такой обязательной для этого дня, что о ней, как уже о имевшей место, возвещали спрятанные в кармане, им самим заготовленные листовки, отсутствие предусмотренного и вычисленного удара создавало вокруг него угрожающую пустоту. Солнце, подымавшееся столь медленно и осторожно, достигло верхней точки пути и, не удержавшись на ней, начало падать, заваливаться за крыши, словно были вынуты поддерживавшие его подпорки. Никакие усилия не могли удлинить его следования. Вечер состоится в урочное время. Митя, его друзья, их жестяные цилиндры и картонная книга, весь реквизит намеченного спектакля и сами его участники вытесняются из пределов этого дня навсегда. Для их действий не оказалось места в сегодняшнем городе. Напрасно Митя еще притворяется ожидающим выхода на авансцену. Динамит не подает своевременной реплики. Мите нельзя вступить, сцена пуста.

Нет, представление началось. Только разыгрывается иная пьеса и Мите неизвестно ее содержание. В пьесе участвуют и наступающий вечер, и людные улицы, и шелковая пена штандарта, розовая от позднего солнца. Сцена то расширяется до размеров города, неба и вечера, то суживается и превращается, например, в замызганную комнату с широким столом и с расшатанными перильцами поперек. Стол, изрезанный, исчерченный, с присохшими пятнами чернил, хмурый казенный стол, на котором шершавые папки и замшелая от пыли чернильница. О, какие безликие вещи вокруг, какая подлая висячая лампа с жирным коричневым светом! А шкаф? Какой лишенный воображения столяр, какой гробовщик смастерил подобную саженную несдвигаемую посуду? Околоточные, хмелея и жмурясь от волнения, допрашивают сибиряка. На столе между пакетов, искусанных ручек, оплывших кусков сургуча лежит бессильная книга. Напрасно выронил ее сибиряк, входя в мозглявую комнату. В книге что-то хрустнуло, задребезжало и только. Такой звук не мог добраться до Мити. Нужно было раньше дернуть веревку, открылся бы клапан, — пусто припомнил пойманный. Но как было дернуть, ежели схватили за руки.

И все же книга взорвалась с беззвучною силой. Невидимая воронка разрыва выплеснула из жизни несколько человек и расшвыряла многих за тысячи верст. Неслышный толчок докатился до матери. Вот она схватилась за сердце, вот спешно мчит ее поезд, вот, оступаясь, как слепая, она пробирается к воротам крепости. Но это потом, потом.

Вот Боря. Он входит с газетой в столовую. Газета шуршит в его пальцах.

— А ведь Мите придется плохо,—говорит он, не зная, куда сунуть руки.

Он ощущает непонятную неловкость. Ему хочется не то засвистать, не то заплакать. Что-то обрывается в напряженной душе и уходит вглубь навсегда, ложится где-то на дне неудобным свинцовым грузом. Вернувшись к себе, он прохаживается по комнате, спотыкаясь от волнения. Уроки не начаты. Тетрадь с недописанным сочинением белеет линеванными страницами.

— Плохо, — произносит Боря. Голос осекся. В горле странная спазма.

А, вот, наконец, Шевелев. И до него докатились незримые волны. Он не избег. А ему-то казалось — избег. Он бродил над иными волнами, видимыми и звучащими. В развалку накатывалась на мокрые лбистые камни жидкая синева. Шевелев подходил к ней опасливо, тыкая кизиловой палочкой водные бугорки, прозрачно встающие у его ботинок. Шевелев робел с непривычки, становясь на краешке моря. Море было невразумительно. Непонятно начинало сиять в той стороне глянцевой зеленью, там засереет оловом и вдруг все становится снова синим куском, резко вставленным в горизонт. Непонятна ткань легчайшего неба с отливами цвета сирени, непонятны отвесные горы, выглаженные ветрами. Заброшенная в эту ярко выкрашенную вселенную фигурка Шевелева казалась соринкой, попавшей на пламенный холст живописца.

Он не пытался связать себя с прошлым. Ослепнув от мерцаний воды и блеска воздуха, Шевелев притуливался на камнях. Солнце проницало его гладящими лучами. Дрема растворяла его существо и, думалось, он, Шевелев, сидит здесь длинную вечность. Щебечущее шелестенье прибоя казалось шорохом собственной крови.

Все началось на приеме у доктора. Довольный и полный улыбок доктор вдруг заявил:

— А в газете это нынче читали? Такое там делается.

Шевелев запихивал рубашку в брюки. Он стеснялся своего обнаженного тела.

— Нет, не читал.

— Как же, — лоснился доктор, — в Петербурге аресты. Студенты опять заварили. Чуть было первое марта не повторили. Вторичное первое марта.

Доктор рад поострить. Шевелев побледнел. Пуговицы не застегивались.

— Ну и что же?

— Поймали, конечно. Жалко ребят. Учились бы мирно. — И влажные губы доктора сочно распухли в улыбку.

Шевелев запрыгал по набережной, будто камни жгли ему ноги. Прибежав к себе, он начал запихивать в чемодан белье, одежду и книги. Потом устал и присел на кровать. Чемодан раскрытый застыл на полу Цепкий луч переломился на его кожаном ребре и коснулся лежащей сверху подушки. Уезжать собственно некуда. Туда — все равно опоздал. А за границу? Нет ни денег, ни связей.

На набережной перед гостиницей расставили пальмы. Они были в кадках, но все же не наши вокзальные, словно из пыльной резины. Эти выглядели живыми. Их длинно разрезанные листы развертывались, пропуская играющий ветер. Чистый рост, устремленная тяга к солнцу находили свое выражение в стройных мохнатых стволах. Небо просвечивало сквозь лакированные лезвия листьев, и глубоко погруженные в небо верхушки только здесь, в свете и воздухе, были естественны и рельефны.

Шевелев приближался к ряду спокойных деревьев, украсивших утро своим пышным присутствием. Последние дни он жил, как больной, ожидающий операции. Он лежал у себя и обдумывал, что он прочтет, чем займется и что ему следует сделать в дальнейшем. Впрочем, все состоится в том единственном случае, если операция совершится благополучно. В противном же случае...

Шевелев приближался к пальмам.

Он рассеянно зачерпнул очками известковую терассу набережной, уставленную кадками, размашистые складки прибоя, белый кузов парохода у пристани, вколотые в небо деревянные булавки мачт — всю изнеженно-вогнутую бухту праздного беззаботного города и, наконец, поднял лицо к зубчатым пластинкам, к лапчатым листьям пальм, трепетавшим в солнце, как призыв к дальнему странствию.

Шевелев не любил дальних странствий, но нелепейшее волнение затопило всю его грудь. Он узнал с несомненной отчетливостью навязчивый образ, глупейший свой бред, тщетно дразнивший по зимам его воображение.

— Вот так штука, — сказал Шевелев и направился к образу. Не красота золотисто-зеленых листов потрясла Шевелева. Он был мало восприимчив к природе и давно пренебрег красотой. Но здесь словно кусок его болезненных представлений выделился из мозга и занял место в пространстве.

— Вот так штука, — пробормотал Шевелев, невольно омытый музыкальным впечатлением дерева, раздвигающего летучей вершиной податливо-ясное небо, и почти застенчиво двинулся к пальмам. На песок поставлены столики. Посетители пили кофе. Один, разглядев Шевелева, торопливо позвал лакея. Лакей побежал в гостиницу и выскочил с управляющим. Их догонял военный, поддерживая рукой шашку. И тогда сидевший за столиком шагнул из-под пальмы, вежливо приподнял шляпу и спросил:

— Виноват. Не вы ли будете г-н Шевелев?

Шевелев оглянулся. К нему подбегали с боков. Фигуры бегущих отшвыривали от себя ногами на гравий быстрые тени. Шевелев не успел ответить шпику. Лакей схватил его за руки.

Митя не знает о том, что случилось на Невском. Конечно, ему неизвестны и будущие события. Мы забежали вперед, а вокруг Мити только образовывается вечер, тот самый вечер первого марта. Разыгрывается нечто иное, вопреки его замыслам. Однако, и это иное развитие темы двинуто именно им. Замысел был негативом, при от-

печатывании на бумаге проступает другая картина. Черное выявляется белым, а просветы становятся черными. Содержание сохранится, но в обратных соотношениях. И смерть коснется не тех, кого наметили авторы.

Вокруг Мити слагается вечер. Митя еще свободен. Но странно. Он не радуется остаткам свободы и не ощущает ее. Отчасти он ощущает голод. Есть ощущение усталости. Но главное — огромное ощущение неудачи и невозвратимости этого уже окончательно утраченного дня.

Митя бредет к товарищу. Надо все выяснить. В квартирах зажигаются лампы. Отдельные окна уютно желтеют. Люди приходят друг к другу в гости. Из винных лавок доносятся песни и ругань.

Кому важны, кому необходимо нужны усилия нескольких человек, решивших сдвинуть с фундамента общество? Зачем эти жертвы, кто окажет поддержку? Есть ли друзья за светлыми окнами, в вытопленных квартирах, вокруг клокочущих самоваров? Уполномочил ли кто-нибудь Митю на неравносильную битву, передоверил ли ему свои желания? Не ошибка ли весь сегодняшний день, не напрасен ли безотрадный вечерний путь по смеркнувшим улицам?

И в памяти Мити встают геометрические корпуса заводов, логова мерзлых рабочих бараков, темные деревеньки, ползущие по полям и оврагам, люди, из'еденные кромешным трудом — вся дремучая жуть, все проклятье российской жизни. Нет, он не один и борьба не напрасна.

Митя подымается по черной лестнице. Пахнет кошками, кухнями и помоями. Металлические перильца липнут к рукам. Молчат двери, обитые рваной клеенкой. Едва различимы косо намазанные номера на жестяных квадратиках. За одной из дверей слышен рояль. Наивные вздрагивающие звуки. Неуверенная рука ведет их наверх. Там они останавливаются, переступают на месте и снова соскальзывают к прочным басам. Да, да, да. Это самое часто играла мать, когда дети уже лежали в кроватках. Звуки просачивались в наступающие сны, и сны рождались, окропленные звонкими брызгами.

Мать, дом, семья...

Митя дернул ручку звонка у двери товарища. Застучали шаги. Дверь открылась. Митя вошел. В полутемной кухне насторожились фигуры. Блестели пуговицы мундиров. Квартира изрыта обыском. Облава. Митя присел на сундук. Пора отдохнуть от хождений.

11. Доклад

«Об изложенном всеподданнейшим долгом поставляю себя доложить Вашему Императорскому Величеству. Граф Димитрий Толстой».

Мой же долг доложить об утре, вернее о ночи. Впрочем, разницы между утром и ночью не было. Была белая ночь. И еще точнее — голубоватая ночь начала мая, когда сумрак бледнеет по неизвестной

причине и без источника света. Разбавленная сизая тишина овладевает землей. И ясны спящие громады пустынных улиц. Предметы не отбрасывают теней и кажутся невесомыми. С них словно стерты краски. Это не день, а только отсутствие мрака, серое бдение, незаполненное солнцем. И светла адмиралтейская игла.

Греки утверждали, что именно такое освещение в аиде.

Данте стоит у подножья чистилища. Конусообразным облаком возвышается перед ним гора. Она кажется сложенной из пепла. Неясными складками вьется путь к вершине. Ни дерев, ни трав на свинцовых туманных склонах. Неотчетливые подобия человеческих тел робким стадом проходят перед поэтом. — «Казелла»! — воскликнул Данте. Материальный голос слишком тяжел для невещественной атмосферы. Слово камнем падает к ногам поэта. Облики вспугнуты и отброшены сотрясеньем воздуха. Друг с усилием приближается к Данте и, приближаясь, кажется более плотным. Трижды смыкает об'ятия Данте вокруг очертаний пришедшего, но руки трижды не находят сопротивления и падают обратно на грудь.

— Если ты сохранил разум и память, спой мне, Казелла.

— Я люблю тебя,— отвечает певец. Он поет, и голос льется как будто издали. Мелодия обнимает Данте одновременно со всех сторон. Звуки не имеют протяженности и пресекаются, не вызывая эха. Это — воспоминание голоса. Тени сбились вместе, как голуби. В стороне — смуглый контур Виргилия. Голова его в жестких и крупных лаврах чуть опущена вниз. Суровые губы сжаты. Данте слушает. Воздух серебристо-сер.

Воздух серебристо-сер. «В виду того, что местность Шлиссельбургской тюрьмы их представляла возможности...» О какой возможности речь? Да, внутренний дворик тюрьмы слишком тесен. Выводили по очереди. Митю вывели после. В коридоре сквозь застоявшуюся мглу едва обозначались одинаковые двери камер. Изнутри к приоткрытым «глазкам» прилипли глаза заключенных. Дикие, остановившиеся глаза. Кто-то крикнул из камеры не то «прощай», не то «да здравствует». В крике было мало человеческого. Митя не разобрал слов. Шаг, еще шаг, еще. Он слегка поскользнулся и оперся об стену. Дальше.

Мать ходила к нему на свидание. Седая, она старалась держаться прямо. Глаза не сразу привыкли к полутьме одиночки. Митя схватил ее за руки и она покачнулась. Пол быстро пополз вниз под ее ногами. Она позабыла все слова, приготовленные для сына. И вообще все слова на свете. Митя целовал ее руки, и рукой она провела по его лицу. Лицо было теплым и мокрым от слез.

Это, вот это он упустил, об этом старался не думать.

И вот она стоит рядом, а вокруг нее горе, такое огромное, такое несоизмеримое с человеческой восприимчивостью, что оно кажется выдуманным и несуществующим. После она изучит его, как изучают трудную, непроходимую страну. Она пойдет по всем дорогам страны,

исследует все под'емы и склоны. Она еще не вжилась в свое горе, и горе лежит пока в стороне, изведанное лишь в небольшой своей части, почти постороннее. Ее тревожит теперешний Митя с его сегодняшними лишениями. Какое богатое счастье в подобной возможности — еще вместе обсуждать настоящее. И она говорит:

— Ну, как тебе здесь, Митя?

И тогда у Мити вырываются слова. Обоим становится спокойнее. Будущее отплывает от камеры и остается только то, что «здесь». А «здесь» — все ничего.

— Право, мама, помещаюсь не плохо. Пища хорошая. И вообще ни в чем не нуждаюсь.

Аккуратно и обстоятельно сообщает Митя, что он даже поправился. Да важно ли ему сейчас здоровье? Мать знает, здоровье важно всегда. И осторожно натягивает слабую ниточку надежды:

— А что если ты напишешь на высочайшее имя?

Митя встряхивает головой, и ниточка лопнула.

Он говорит и ей, и себе. Он ставит слова во весь рост перед собственной совестью. От легкого удивления он переходит к уверенности.

— Но это же бесполезно. Согласись, мама. И потом... Как же это выходит? Я хотел убить человека, значит, и меня могут убить.

Митя становится у каменной впадины окна, у дыры, пробитой под потолком. Мать ясно видит его лицо.

— Шлиссельбург как замена смерти! Ведь до идиотизма дойдешь.

Дальше, дальше. Митя слишком долго скрывал от нее. Теперь рассказать все. Он заработал право говорить без оглядок. Дверь за дверью распахиваются в его душе. Вот он виден весь. Что может быть больше правды?

— Но эти средства борьбы так ужасны, Митя.

Бывают беседы, когда существо человека целиком вкладывается в слова. Слова циркулируют между людьми, как циркулирует кровь в организме. Образуется общая кровеносная система. Дыхание переходит в дыхание. И люди сияют навстречу друг другу всей силой незамутненной природы.

— Что же делать, если нет других средств.

И с вершин понимания, с высоты доверия они наклоняются к той части своего существа, которая осталась внизу, страдает и не принимает страдания.

— Надо примириться, мама.

— Мужайся, — отвечает она.

И она уходит. А может, уходит Митя. Становится маленьким. Воротник гимназической шубки трет ему шею. На спине черный короб школьного ранца.

— Ты взял все книги? — кричит вслед ему мать.

Митя поворачивает худенькое длинное лицо спокойного умного мальчика. Он машет рукой. Короткая тень скользит по облитым лунной ртутью сугробам. «В виду того что местность Шлиссельбургской

тюрьмы не представляла возможности казнить всех пятерых одновременно, эшафот был устроен на три человека и первоначально выведены для совершения казни...»

На глянцево твердой бумаге витые буквы доклада. Стальным острием пера каллиграф округлял нажимы.

«... которые, выслушав приговор, простились друг с другом, приложились ко кресту и бодро взошли на эшафот, после чего...»

Какими точеными линиями стекали и сохли чернила. Вы — автор этой славы, господин переписчик. Я ничего не могу изменить в вашем тексте. Но я — автор собственной жизни. Книга, составленная из дней моих, утверждает, что каждое ваше слово — позор!

«...после чего громким голосом произнесли: «да здравствует Народная Воля. Тоже самое намеревался сделать и...»

Каллиграф был художник. Перо пело в его руке сдержанное и послушное.

«...но не успел, так как на него был накинут мешок. По снятии трупов вышеозначенных преступников были выведены Шевелев и Лукьянов.»

Боря сидел за столом. Шахматная доска мерцала квадратиками. На тесно прижатых друг к другу черных и белых площадках устойчиво возвышались фигурки.

Дом опустел. Мать в от'езде, сестра и Митя в тюрьме. Боря решал задачу. Крепкие пальцы схватывали костяные шейки коней, по диагоналям ломились слоны, верная башня ладьи поддерживала наступление. Митя вошел и стал рядом. — Сюда, сказал он, называя обозначение клетки. Митя—старший. Митя все знает. Боря коснулся пешки. Круглоголовые столбики вытянулись острым клином. Казалось, фигуры движутся сами. Угловата поступь коней, центр под косым прицелом слонов. Площадь шахмат стала огромной. Бронированная ладья подхватила Борю. Он стоял на ее массивном фундаменте. Он говорил, сильно выкинув руку. Ладья грузно катилась вперед.

Боря очнулся. Мити не было. Сон мгновенно исчез из сознания. Лампа начинала коптить. По стеклу вытянулась бархатно-черная полоска.

— Надо учиться, — почему-то подумал Боря. — Надо спать, — сказал он, подкручивая фитиль.

«...Выведены Шевелев и Лукьянов, которые также бодро и спокойно взошли на эшафот, при чем Лукьянов приложился к кресту, а Шевелев оттолкнул руки священника».

Я люблю свою родину вопреки всему. Она крепит мой язык и кормит мое сознание. Ее страдания — в моем теле, ее победы выпрямляют мою походку. Я учусь понимать людей, с которыми я живу. Эти люди такие же, как и я. Я учусь понимать себя. Я люблю свою родину. Я верю в ее борьбу.

Простодушие Турсуна Фузайлова[1])

Сентиментальная проза

ЛЕВ НИТОБУРГ

„Классовая борьба происходит не только между *людьми*. Она может *совершаться* и в отдельном человеке",

Из частного письма.

1. В скобках

Человек захлопывает решетку лифта. Два звонка. Коридор. Дверь своей комнаты.

Человек входит. Кепку — на стол. Пальто — на кровать, даже не отряхнувши (снежинки, тая, расплываются подтеками по одеялу).

Холодно. Человек согревает руку у батареи парового отопления. Из окна виден кусок двора, ворота, высокие стены соседнего дома.

(Стены графлены прямоугольниками окон, прямыми линиями карнизов—шесть этажей рыжего злого кирпича.)

Человек расстроен, сердится на себя — он не успел на ходу соскочить с трамвая, не сумел догнать перса в барашковой шапке.

(Дело в том, что догнать было не так легко,—между ним и персом стояли: парень с чемоданом, очень полная женщина в котиках, старик с притушенной папиросой во рту, двое с портфелями, военный с тремя ромбами. Человек зашибся о чемодан, застрял на мгновение в котиках, вышиб папиросу у старика, но преграждающий палец военного с тремя ромбами оказался непоколебимым,—«выходить только после полной остановки вагона»,—и перс безнадежно исчез в падании снежных хлопьев, а человек начал ощупывать карманы: бумажник, книжка с номерами телефонов, самопишущая ручка—все было на месте. Ощущение потери, однако, не проходило,—безыменной утраты,— и человек уже не мог итти на работу, — вернулся домой.)

В углу двора, у ворот, помощник дворника сгребает снег.

(Старьевщик входит во двор, что-то кричит,—слов не слышно, наверно: «халат, старый одеж покупаем». Собака бросается на тата-

1) Из книги „Родной городок".

рина. Помощник дворника лопатой отгоняет собаку и, будто нечаянно, подшибает старьевщика. Из прачечной выходит прачка—принять участие в ленивой перебранке.)

Человека наверно здорово зашиб чемодан, — он вдруг схватывает телефонную трубку, просит номер редакции, извиняется, что все это вышло так неожиданно.

(— Можете себе представить, в родном городке у человека умирает... нет, не мать,—тетка. Но все равно, очень близкий человек, надо спешно выехать. Да, ничего не поделаешь, придется. А фельетон о подготовке весенней посевной в правом ящике стола, сверху; знаете, там, где справочник «Тасс». Когда вернусь?—Ну, недели через две, дней так через двадцать.)

Потом человек читает расписание поездов и начинает набивать свой чемодан (белье, писчая бумага, любимые поэты).

Такси ныряет под мост у вокзальной площади, человек становится в очередь у кассы, берет билет, идет на платформу.

(В поезде—вагон с дощечкой, на которой написано название родного городка. Но перса в барашковой шапке в вагоне нет. Он значит не едет домой? Вообще, все пассажиры чужие, равнодушные. И человеку вдруг приходит на ум, что он не был в родном городке шесть лет, —может быть, там не осталось никого из друзей? Вот ведь как может случиться. Что же касается тетки, то он ведь, собственно, знал и раньше: тетка умерла еще в двадцатом году, а фельетон про весеннюю посевную вовсе не написан. Все-таки приятно было себя надуть, ну хоть попробовать.)

Проводник проверяет плацкарты. Человек роется в бумажнике, — очень долго, — потом говорит:

— Я, кажется, потерял, я сейчас, я вот только в кассу.

Он берет чемодан и бежит к выходу. Человек не был в родном городке шесть лет, и он потихоньку бросает свою плацкарту на ступеньки вокзала.

Такси везет его обратно к высоким стенам, графленым карнизами и водосточными трубами, — к шести этажам рыжей кирпичной злости. Ведь подле вагона не нашлось ни одного знакомого лица!

Человек опять согревает руки у батареи парового отопления.

(Ему нечего делать, человек уехал к тетке,—заплатил же он за билет,—и вернется через две недели, дней через двадцать. Он у себя на родине,—в небольшом кавказском городке,—и горы, река, каждая улица, каждый прохожий,—радость; свои ведь, родные. Он у себя!)

Человек возится у сундука с разным хламом и вытаскивает старые фотографии, клочки старых газет, старые записные книж-

ки. Он раскладывает все это старье на столе, на стульях, на полу и бегает между воспоминаниями, и останавливается то здесь, то там, и ползает на коленках по полу.

Потом он распахивает чемодан, достает бумагу, самопишущую ручку, начинает писать.

(Да, у человека хорошая память и кроме того—воображение, ну, фантазия, что ли. Он умеет же писать фельетоны про весеннюю посевную, он любит их писать...

Но сегодня он не хочет,—человек в отпуску, уехал к старым вещам.

Хотя вещи, по правде сказать, вовсе не такие старые. Старше всех, например, номер газеты от августа 1918 года. Но это ничего не значит, ведь и сам человек тоже не старый, вовсе не старый!)

Недавно человеку исполнилось тридцать лет.

(В ресторане, после театра, когда поздравляли приятели, ему вдруг показалось, что он, — вот чепуха! — уже старик, что совсем один, что все уже повидал, все знает, все понемногу умеет, и,—бывает же такое,—кругом ни одного стоящего друга.

Да, ни одного—перса в барашковой шапке не удалось ведь разыскать и уехать тоже не удалось.

Нет, он сегодня не будет писать фельетона, он нездоров, он желает отдохнуть!)

Фельетонист, который внезапно почувствовал, что ему целых тридцать лет, две недели не выходит из дому. Он не умеет писать стихов, вместо них пишет чувствительную прозу об отошедших годах в родном городке. Две недели не отрывается от стола.

(Кроме того, следует иметь в виду, что у фельетониста в это время был, — может быть, это самое главное, — очень сильный насморк.)

2. Дурачок

Да, это верно, что Турсун Фузайлов постоянно сидел на скамейке, неподалеку от шашлычной своего брата,—старожилы помнят,—всегда на одной и той же скамейке. Всего скамеек было четыре,—по числу магазинов в доме купца первой гильдии Тер-Акопьянца. Они стояли на краю тротуара лицом к лавкам, и отдыхающие на них волей-неволей должны были смотреть на большие витрины.

Фузайлову надоели витрины, смотреть было некуда, и он, сплетя руки, целыми днями вертел большие пальцы то в одну сторону, то в другую. При этом Турсун беспрестанно моргал, так часто, что нельзя было рассмотреть его глаз.

Скамейка была сделана из узких брусков, навинченных на изогнутые железные прутья. На брусках разными красками были написаны

фамилии владельцев магазинов и названия товаров, которыми они торговали.

В погожие дни люди, сидящие на скамейках, заслоняли эти надписи. Только подле Турсуна оставался просвет с буквами:

... л я п ы, ш а п... е х а, г а р н.

Гуляющие немного побаивались бледного, почти зеленоватого лица Фузайлова и избегали садиться с ним рядом, потому что иногда перс начинал шептать бранные слова.

В таких случаях руки его сжимались, зубы обкусывали висячие усы, а глаза неподвижно смотрели на медный блестящий звонок соседнего дома. Они были такие черные,—глаза Турсуна,—что сливались с зрачками, и в них, отражаясь, горел медный блеск.

В доме с начищенным звонком и красивой чугунной решеткой жил очень важный военный Ржепышевский, помогавший начальнику области управлять городом и еще другими городками, и казачьими станицами, и еще—осетинскими, чеченскими, ингушскими аулами. Рыжеволосую жену военного звали Анжелика Ромуальдовна, а сыновей—Славик и Зютек.

Зютек,—постарше,—был рыхлый и крупнолицый, как его отец, с прямыми русыми волосами, а Славик, — младший, — тонкий и черняВый, с волосами, курчавыми, как каракулевая шкурка.

Этот Славик, когда он был еще совсем маленьким, часто выскакивал из чугунных ворот с зеленым лакированным обручем, стремглав перебегал через улицу и носился по бульвару, погоняя палочкой блестящее колесо.

Зютек же еще перед войной поступил в кадетский корпус и стал жить в большом казенном доме за городом. Анжелика Ромуальдовна два раза в неделю ездила со Славиком навещать его. Выезд Ржепышевских был очень нарядным: гладкие вороные лошади, кучер с черной, как смоль, бородой, блестящие черные крылья коляски.

В те времена вокруг Анжелики Ромуальдовны все блестело: начищенный медный звонок, обруч Славика, паркет полов, коляска, и даже нос ее мужа блестел и лоснился, когда помощник начальника области оставался с ней наедине.

Но через год после начала войны его вызвал в Тифлис еще более важный начальник, там с Ржепышевским говорил сам дядя царя и доверил ему все спины, все ноги и все желудки солдат Кавказской армии. Турсуна же никто не вызывал, ничто не мешало ему бездельничать на скамейке и потихоньку браниться, глядя на сверкающий медный звонок.

Потом матери Славика надоела коляска с нарядной сбруей, и к воротам Ржепышевской начали подавать верховых лошадей. Анжелика Ромуальдовна возвышалась в дамском седле, словно какое-нибудь божество, изобильное и великолепное, а Славик гикал и подгонял покорную свою кабардинку, как в детстве — колесо обруча.

С ними ездил молодой офицер для поручений. Славик оставался у брата в кадетском корпусе, а мать и молодой офицер ехали дальше к роднику у скалы. Офицеры для поручений иногда менялись, но поездки за город совершались регулярно: два раза в неделю. Анжелика Ромуальдовна очень любила своего старшего сына Зютека.

Славик подрос, похудел, подурнел, и лицо его стало бледным. Младший сын Анжелики Ромуальдовны часто сердился,—тогда зрачки его расширялись и горели, словно и в них тоже отражался медный звонок.

По утрам он выходил с сумкой, наполненной книгами, и неохотливой вялой походкой шел в гимназию. Рано утром на улице никого не было, кроме рабочих, молочниц, школьников—и Турсуна, сидевшего на скамейке.

И вот,—иногда так случалось,—Турсун покидал свою скамейку, догонял Славика, и они шли вместе. Турсун кое-что говорил сыну помощника начальника области,—кое-что такое, отчего яркий и злой рот Славика наглухо сжимался, а лицо становилось почти зеленым.

Только изредка на его щеках появлялся шафранный румянец,—когда Славик катался на коньках с Таней, дочкой доктора Прицкера. Он бегал очень быстро, наперегонки с трамваем, а Таня Прицкер смотрела на него и усмехалась острыми уголками губ.

Турсуну не нравилась эта ее усмешка,—острые уголки губ почему-то напоминали ему жало. Но насчет Тани у Славика было свое особое мнение.

Как-то раз в сумерки Славик, проводив дочку доктора Прицкера, ехал по улице, уцепившись за ручку трамвайного вагона. Он очень устал и не заметил, как из-за угла вынеслись два пьяных казака.

Казаки хотели обогнать вагон, скакали, не разбирая дороги, и, когда копыта одной из их лошадей почти коснулись Славика, Турсун как-то успел схватить коня под уздцы.

Анжелика Ромуальдовна удивилась, заметив кровь на гимназической шинели сына,—у Славика ведь ничего не болело. Но, конечно, она не обратила внимания на грязный желтый платок, которым целые две недели была обмотана голова Фузайлова.

Летом суховатые пахучие лепестки акаций, отцветая, кружились над скамейками...

(Фельетонист, заболевший насморком, вспоминает, как, крутясь, упала на дряблые камни вокзального входа брошенная плацкарта. Крестьянин с мешком наступил на нее сапогом, и она сделалась серой, незаметной. Она уже больше никому не была нужна, как насморк, как человек, который устал от фельетонов и зарывается в груду воспоминаний, будто таракан в щели рыжего злого кирпичного дома.)

... а скамейки становились похожи на грядки, засеянные светлыми платьями женщин.

Может быть, Анжелике Ромуальдовне тоже хотелось посидеть под акациями, полюбоваться на бархатные, парчевые, шелковые цветы шляп в магазине? Но она была женой очень важного военного и, вероятно, именно это ей мешало.

Все же один раз она села рядом с Турсуном. Она сделала это только потому, что ее спутница, какая-то старуха, очень устала от жары.

Конечно, в доме Ржепышевских было гораздо прохладнее, чем на скамейке, прямо на солнце; и до чугунных ворот было совсем близко, — рукой подать. Но Анжелика Ромуальдовна не подумала об этом. Главное же,— ее спутница совсем изнемогла, жалко было заставлять ее сделать несколько лишних шагов.

Даже Турсуну — и тому сделалось душно. Подумать только, — он родился в Персии, с детства привык к зною, а тут вдруг начал страдать от жары, открыл рот и стал втягивать в себя воздух.

Пахло не только цветами акаций, лип и каштанов, но еще и мимозой. Мимоз в городке не было, они росли много южнее, — например, на родине Турсуна, в Персии. Кроме того, духами «мимоза» был надушен платок Ржепышевской. Этот запах кое-что напомнил Турсуну Фузайлову: может быть, сестер и мать, может быть, еще что-нибудь.

Анжелика Ромуальдовна сидела боком к персу, почти спиной, и уж, конечно, ни за что не обернулась бы, если бы оборка ее платья не зацепилась бы за железный прут скамейки. Трудно сказать, как это случилось, — вероятно, Турсун знал.

Когда мать Славика столкнулась с ним глазами, ее шея сделалась пунцовой, а точки пота на оголенных плечах выросли в обильные капли. Она сидела тут на скамейке, совсем позабыв о старухе, и ее плечи колебались так, что капли пота слились в ручейки.

Ну, да! Лето было в разгаре, а жена Ржепышевского с годами располнела и стала страдать одышкой. И она потела, как судомойка из шашлычной. Турсун не любил этой судомойки, приставшей к нему со всякими предложениями, — он начал обкусывать свои черные висячие усы и потихоньку браниться.

Анжелика Ромуальдовна поднялась. Ее платье было исполосовано брусками скамейки, словно покрылось рубцами. Оборки отяжелели, сделались влажными и опали уныло, а спина Ржепышевской выглядела совсем круглой.

И жена помощника начальника ингушей, казаков, осетин и чеченцев вошла в свой дом понуро, как старуха, — эта изобильная женщина, пахнувшая мимозой и потом.

Турсун знал, что в просторной передней Анжелика Ромуальдовна немного помедлит, снимая перчатки, привычным, чрезмерно плавным жестом уменьшит щедрый вырез платья и оправит пушистые волосы. Им, пожалуй, пора было бы и побелеть, — ее тонким волнистым воло-

сам, — но они оставались все такими же светлыми, сияющими, как начищенный медный звонок.

Из передней, — Фузайлов знал, — мать Славика пройдет в ванную. Розовое платье с оборками легко спадет на узорчатые плиты пола, а женщина, еще более розовая, начнет плескаться под душем, отряхиваясь, как жирная старая утка.

Потом горничная начнет растирать ее тело мохнатым полотенцем, и грудь Анжелики Ромуальдовны побагровеет, словно с нее содрали кожу. Может быть, горничной, кроме того, придется маленьким инструментом, похожим на безопасную бритву, срезать мозоли госпожи, образующиеся от слишком узких туфель, и, раздвигая скрюченные пальцы Ржепышевской, присыпать скользкую, дурно пахнущую кожу между ними белым рассыпчатым порошком. После ванны Анжелика Ромуальдовна выйдет на внутреннюю террасу и будет неторопливо наслаждаться ледяными топлеными сливками и обсахаренной рябиной.

Нет ничего удивительного, что Турсун знал каждый шаг Ржепышевской, — он когда-то жил в доме с медным звонком.

Старший, брат, содержатель шашлычной, выписал его из Персии, чтобы Турсун помогал ему продавать жирные куски баранины на узких длинных вертелах. Но помощник начальника области взял Турсуна в услужение и пообещал сделать его переводчиком в своей канцелярии.

В то время Анжелика Ромуальдовна еще не страдала одышкой и не носила чрезмерно узких туфель.

Зютеку тогда было три года, он часто болел, а помощник начальника был всегда занят, раз'езжал, не сидел дома. Анжелика Ромуальдовна очень скучала, и от безделья начала обучать Турсуна русскому языку.

Она заставляла его медленно произносить незнакомые слова и смотрела на его темно-красные, как свежий инжир, губы.

А потом будущий переводчик был счастлив и горд: великолепная женщина, одна из тех, про которых на родине говорили, будто они — украшение гарема самого шаха, — жена второго начальника ингушей, казаков, осетин и чеченцев, — эта медноволосая, пышнотелая женщина целовала его губы.

Помощник начальника области тоже был доволен: он не доверял своим расторопным переводчикам, к их алчным рукам прилипало слишком много приношений просителей. Муж Ржепышевской хотел, чтобы все приношения — все без остатка! — прилипали к его белым безволосым рукам. Он собирался в скорости назначить Турсуна своим личным переводчиком, и за это хозяин шашлычной приготовлял ему самые лучшие шашлыки — гусарские, абхазские, люли-кябаб с барбарисом и гранатовым соком, карские с тархуном и шипящими бараньими почками.

Брат Турсуна угощал ими Ржепышевского и офицеров для поручений в своей шашлычной и, кроме того, посылал их в дом с чугунной решеткой вместе с кизлярскими, донскими и кахетинскими винами и с персидскими сластями. И он никогда не требовал денег, счета Ржепышевскому складывались в старый сундук, покрытый ковром, на котором спал хозяин шашлычной.

Но Анжелика Ромуальдовна опять начала скучать. Она целовала губы Турсуна и исполняла желания молодого мужчины, но ведь и у офицеров для поручений тоже могли быть свои желания. Турсун был, по правде сказать, очень однообразный, неловкий азиат, — слуга, который плохо чистил ботинки и медный звонок и не умел находить нежных любовных слов.

А кудрявый офицер для поручений не только умел говорить такие слова, он еще умел петь цыганские романсы, — он слышал, как в шашлычной их поет одна певичка, и потом повторял в гостиной Анжелики Ромуальдовны. Офицер хотел еще много чего повторить у Анжелики Ромуальдовны и постоянно упрашивал ее согласиться.

И вот однажды, после ужина с барбарисом и тархуном, мать Зютека исполнила желание офицера для поручений. А Турсун в это время натирал жирной мастикой, пахнущей скипидаром, паркет в кабинете помощника начальника области. Дверь кабинета была стеклянная с занавеской,—занавеска сдвинулась. Главное же,—Ржепышевская крикнула Турсуну, чтобы он поскорее принес вина для офицера, который очень утомился. Турсун ведь был азиатом—слугой, дикарем, с ним можно было не стесняться. Анжелика Ромуальдовна не очень-то стеснялась даже со своим мужем, вторым начальником казаков, осетин, ингушей и чеченцев.

Ведь правда же, ничего тут особенного не случилось? Но Турсун не принес вина офицеру, Турсун плевался и плакал, прибежав к брату от своей госпожи.

Нет, он совсем не такой, как начальник, он не хочет быть переводчиком, он больше никогда не пойдет в дом с медным звонком.

Хозяина шашлычной в городке считали черствым, прожженным человеком. Не зря приготовлял он Ржепышевскому даровые шашлыки и делал скидку женщинам, ужинавшим по ночам в шашлычной. Его повар и судомойка могли бы рассказать, что им приходится работать до рассвета, и еще, что в дальней комнате часто играют в карты и даже курят опиум, и еще кое-что — про женщин, получавших скидку.

А Турсун не хотел внимать житейской опытности, он вдруг заморгал глазами и стал шептать ругательства.

— Она грязная сука, ты не знаешь, она грязнее свиньи!

Турсун бранился и плакал, как маленький ребенок, и содержателю шашлычной показалось, что перед ним трехлетний несмышленыш с губами, вымазанными соком свежего инжира, и что вся жизнь, вся судьба младшего брата — в его руках.

Он никогда не был честен к другим, весь запас благожелательности он тратил на себя самого, а тут вдруг ему пришло на ум, что он может же раз в жизни сделать хороший поступок, — ведь дело шло не о ком-нибудь, а о родном брате владельца самой большой в городе шашлычной, — да, да! самой большой.

Конечно, у шашлычника не было собственных мыслей о таких отвлеченных вещах, и он воспользовался готовым изречением мудрого персидского поэта:

«Прозрачные родники счастья навеки закрыты для того, кто погрузился в нечистую тину страстей».

Будь что будет, он все-таки постарается сохранить эти родники для Турсуна!

Хозяин шашлычной провел рукой по мокрому лицу брата, словно стирая с него растерянность:

— Юноша, ты останешься у меня.

Шашлычник не чувствовал, как высокопарно звучит его фраза,— у этого прожженного человека не было воображения ни в чем, кроме денежных дел, он, например, не заметил, что мудрый поэт ошибался: «прозрачные родники» не иссякли даже в нем самом, они только давно покрылись грязной коркой, и не кто иной как Турсун на мгновение пробил ее.

Так что Турсуна спасла вовсе не житейская опытность его брата, а кое-что совершенно иное.

Утром в шашлычную прибежала горничная из дома с медным звонком, но Турсун не вышел к ней. Горничная приходила еще раз,— Анжелика Ромуальдовна сердилась, она привыкла, чтобы Турсун был всегда тут, под руками. Кудрявый офицер для поручений, умевший петь цыганские романсы, был в сущности человек ненадежный, — мало ли куда он ходил после ужинов у Ржепышевской, его каждый день могли перевести в другой город, а Турсун собирался стать личным переводчиком, ему уж некуда было уйти.

Откуда у азиата появились такие капризы? Удивительно! Или, может быть, он заболел? И вечером Анжелика Ромуальдовна надумала пойти с офицером для поручений в шашлычную, послушать цыганские романсы.

Она пила и ела весь вечер, внимательно рассматривала женщин, получавших скидку, и все старалась заглянуть в дверь, из которой выходил слуга с дымящимися шашлыками. А перед закрытием шашлычной она напрямик приказала хозяину привести Турсуна.

Хозяин погладил свою бороду, еще более рыжую, чем волосы Ржепышевской, и покачал головой. Потом он приоткрыл один глаз и, увидев, что офицер для поручений далеко у выхода, шепнул:

— Уходи.

Анжелика Ромуальдовна не понимала, но палец с крашеным рыжим ногтем показывал на дверь.

Тогда Ржепышевская рассердилась. Она кричала и топала ногой, и офицер для поручений, хотя и не понимал в чем дело, тоже кричал, на всякий случай.

А хозяин шашлычной, тот вел себя совсем смирно, он опять закрыл глаза и молча поглаживал бороду. Потом Ржепышевская убежала.

Жена второго начальника ингушей, осетин, казаков и чеченцев промчалась между столиками, как укушенная скорпионом кобыла, опрокидывая на ковер тарелки, стаканы и бутылки.

Через два дня в шашлычную пришел городовой с усами, изогнутыми, как две сабли. Однако, городовой не стал пить виноградной водки, а потребовал Турсуна и об'явил, что он обвиняется в краже золотых часов у Ржепышевских.

Турсун, испугавшись, молчал. Хозяин шашлычной хотел было уговорить городового, но городовой сказал:

— Ничего не могу, уважаемый. Тут такое дело—и-и! С удовольствием всегда, а тут — никак нельзя.

И Турсуна увели и посадили в тюрьму...

(Фельетонист ползает по полу между обрывками воспоминаний, встает, счищает пыль с коленок. Стены, графленые окнами и водосточными трубами,—не стены, а решетки на единственном окне: сейчас придет надзиратель. Может быть, он поведет его на прогулку? Фельетонист делает два шага к столу: из тюрьмы можно ведь вырваться,—стоит только начать писать фельетоны о весенней посевной. Но между человеком и письменным столом встают новой стеной: чемодан, плацкарта, насморк. И человек остается в неволе родного городка.)

...Турсун сидел в тюрьме очень долго, и вот хозяин шашлычной пошел в дом с медным звонком, и в кармане у него были старинные часы с изумрудом, стоившие гораздо больше, чем часы Ржепышевской, и еще все неоплаченные счета ее мужа. И он отдал помощнику начальника области часы и счета, и тогда Турсуна выпустили.

Да, Фузайлов заплатил за поцелуи Анжелики Ромуальдовны подороже, чем кудрявый офицер для поручений и Ржепышевский и даже сам начальник области платили за поцелуи женщин из шашлычной, — Ржепышевская была изобильной и великолепной женщиной!

После случая с часами она заболела от огорчения, не хотела шашлыков, а ела разные неподходящие вещи, в роде мелков для карточных записей и уксуса. А потом ее часы вдруг нашлись, — когда родился чернявый шустрый Славик.

Турсун же вышел из тюрьмы молчаливым, он никак не мог найти работы и целыми днями сидел на скамейке, сцепив руки и вертя большими пальцами то в одну сторону, то в другую.

Старожилы помнят: в городке его считали дурачком.

3. Рекики

Нерсес и Славик были «рекики».

Ну, да, что ж тут такого? — мальчики, живущие у моря, играют в «моряков», в городке же моря не было, а была только река. Славик устраивал у реки небольшие запруды, Нерсес выдалбливал чурбаны, и получались замечательные кораблики.

Ржепышевский, проводивший целые дни на берегу, об'явил, что он и друг его Мкртчьянц—«рекики».

Надо предупредить с самого начала, что хотя Славик и Нерсес жили в одном доме, — жизнь их была совсем разная. Это вовсе неверно, будто только в больших городах, в многоэтажных домах жизнь соседних квартир далека друг от друга, как жизнь разных стран.

Нет, и в глухом городке, в одном дворе с общим сараем и садиком человечьи жизни иногда протекают, не смешиваясь, как долго не смешиваюттся стремительные воды двух горных речек: на целые версты видны их разноокрашенные струи, катящие быстрые, мелкие волны.

Вот, например, кабинет помощника начальника области, — Нерсес так и не побывал в нем до самой революции...

(Фельетонист рассматривает фотографию: два мальчика сидят в шарабане, один, — худой и чернявый, — положил ногу на ногу и вот-вот начнет болтать башмаком, вот-вот спрыгнет, побежит по дороге. Второй мальчик, в форме кадета, сидит очень прямо, его рука в перчатке заложена за отворот куртки, как на портретах генералов, крупное лицо хранит отпечаток важности,— да, в нем словно угадывается будущий генерал.

И еще третий мальчик правит лошадью, он отвернул голову от аппарата, и только один вихор торчит из-под фуражки.

А дорога уходит в даль, к мечети с двумя минаретами, и между ними, как в рамке, видна снеговая гора.

Родной городок, милый, свой!

Но почему бы, в сущности, не поехать в вагоне, где ни одного знакомого лица, почему бы не взять еще одной плацкарты?

Это правда, что история Славика и Нерсеса — довольно обыкновенная история, а родной городок ничем особенным не отличался от других городков Кавказа,—все-таки для человека, у которого насморк, он полон мелких, но знаменательных черт: ведь и в человеческом лице, с первого взгляда похожем на всякое другое, постепенно проступают свои особые черточки, и сочетание их неповторимо, свойственно ему одному.

Такой неповторимый облик городу придавали парк, горы и река.

В парке была аллея, стремительная, как копье, и оканчивающаяся «стрелкой» с каменной баллюстрадой и видами на реку, на

чугунный мост, на вершины Столовой горы, Адай-хоха, Казбека. Каштаны и плакучие ивы выплели изысканное и меланхолическое ожерелье вокруг продолговатого пруда, а в пруду и на острове жили разные необыкновенные птицы.

Как хорошо бы посмотреть! может быть, и сейчас деревья дрожат в водяной зыби, и сейчас — жаркая голубизна неба, и в нем—стрелы минаретов и птицы...

Хотя нет, сейчас ведь зима.

И фотография шуршит по столу, падает на пол, а фельетонист ниже склоняет голову над графленой бумагой.

...Славик же тайком забирался в кабинет Ржепышевского и об'яснял, что название комнаты происходит от «как бы нет»:

— Очень просто: папа там запирается, и никто не смеет к нему входить,—его как бы нет дома.

Нерсес Мкртчьянц был сыном кучера, а Ростислав Ржепышевский—сыном помощника начальника ингушей, осетин, казаков и чеченцев, но вне дома, на прогулках мальчики этого не замечали.

Нерсес любил кормить лебедей крошками чурека, а Славик часто дразнил пеликана. Пеликан странно раздувал шею и кричал отчаянным, фантастическим голосом, пугая пестро-серых хлопотливых цесарок и задумчивого нервного павлина.

Кроме парка, мальчики ходили за город, на Осетинскую горку. Оттуда крыши домов казались разноцветной крупной галькой, просыпанной по темному моху садов; а на лугу у вершины можно было играть в городки и в лапту.

В конце весны река, пьяная мутью тающих ледников, кувыркалась и безобразничала, как мальчишка, впервые выпивший молодого мутного вина.

Ночью, когда городок затихал, было явственно слышно, как она швырялась камнями. Славик и Нерсес любили засыпать под этот удивительный и настойчивый шум.

Летом множество туристов гуляли по бульварам, лакомились у персидских будок хурмой, чучхелой и рахат-лукумом и уезжали в горы в дилижансах и фургонах, уносились на велосипедах, уходили пешком.

К родителям Славика каждый год приезжала семья крупного петербургского чиновника, а Нерсес каждый год водил ватаги студентов к ледникам, чтобы заработать несколько рублей.

А все-таки странно, что детская дружба, случайная и вместе с тем обыденная, оказалась столь прочной, — очень странно и даже неестественно: ведь Анжелика Ромуальдовна постоянно говорила, что после Нерсеса в детской нехорошо пахнет, а Славик,—иногда бывало,—кричал и топал ногой на кучера Мкртчьянца,—например, когда тот не гнал лошадей достаточно быстро.

Вероятно, тут сыграл некоторую роль Турсун, — все этот Турсун! Ржепышевская однажды рассказала сыну, как хитрый перс напросился к ней в дом, вкрался в доверие,—впрочем, Анжелика Ромуальдовна никогда ему особенно не доверяла, — и кончил-таки тем, что украл превосходные золотые часы. Правда, впоследствии часы нашлись, наверно Турсун их подложил, не сам, а подослал кого-нибудь, — сам-то он сидел в тюрьме.

Мать Славика не помнила хорошо всех подробностей этой истории. Ну, да, она была очень известной, уважаемой дамой, она могла позволить себе забывать разные мелочи.

— Когда ты выростешь большой, ты получишь эти часы, — сказала мать Славику, — мне их неприятно носить.

А Славик покрутил головой и прошептал:

— Ты дашь мне, а я подарю Турсуну.

Ведь вот какой он был упрямый!—в нем совсем не чувствовалось гордости, достоинства, приличествовавшего сыну помощника начальника области, он не слушал матери и вел дружбу бог знает с кем.

Подумать только, — подозрительная фельдшерица, — откуда он ее выкопал! какой-то недоучка-студент, юродивый перс,—и все они внушали мальчику самые нездоровые взгляды, и ничего нельзя было с этим поделать. А все-таки из-за этих людей дружба Славика и Нерсеса не прервалась задолго до революции, в тот день, когда петербургский чиновник взял Славика с собой на ледник.

До сторожевой будки в прославленном ущельи, от которой начинался под'ем к леднику, семейство чиновника доехало на двух фаэтонах. Дальше отправились верхом. Дорожка поднималась крутыми изломами. Земля, небо, камень источали нестерпимый зной. Чиновник и его родственники, разморенные долгим под'емом, едва подвигались на измученных лошадях.

Славик не страдал от жары, ему дышалось легко и привольно, он заглядывал вниз — на речку, уменьшавшуюся с каждым поворотом, и вверх — на зелено-желтый кустарник, смягчавший резкие срывы, — и удивительно радостное чувство овладело им.

Кое-где на тропу низвергались ручьи, один ручей образовал маленький водопад, и Славик, проехав под ним, стал совсем мокрым. Он подгонял свою лошадь, ехал все вперед, он словно знал эти горы раньше, и горы встречали его с суровой лаской.

Кустарник стал ниже, скалы сгрудились, нависли, над ними открылась грозная блистающая белизна.

Может быть, Славику и сделалось бы жутко, если бы он вдруг не услышал голоса Нерсеса. Так вот куда исчез Нерсес вчера вечером! он значит опять отправился со студентами, чтобы принести отцу несколько рублей.

Славик привязал лошадь и пошел со своим другом. Нерсес показывал Славику трещины во льду, — глубокие и синие, — помогал взбираться на скаты морен.

Студенты перекликались, пели хором, смеялись, и старый морщинистый ледник тоже смеялся и пел журчащими струями. Мальчики бросали в его ручейки анемоны и бледные горные колокольчики, потом догоняли уплывающие цветы и вылавливали их розовыми от ледяной воды пальцами.

И вот внизу, на тропе, показалось семейство петербургского чиновника.

Женщины едва держались в седлах, их тела опадали вяло, как мешки с овечьей шерстью, они разевали рты и кричали пронзительными голосами.

Нельзя было понять, то ли они восхищались видом, то ли были испуганы грохотом камней, скатывавшихся с ледника, то ли хотели криком привлечь внимание Славика.

Сам чиновник ехал впереди и строго озирал скалы в бинокль.

Славик, чтобы показать, что он тоже тут, на леднике, вовсе не заблудился, начал размахивать своей фуражкой.

Однако, чиновник совсем не был расположен шутить, — он устал, беспокоился за Славика, ворчал, задыхался и, увидев Нерсеса, дал ему оплеуху: а Ржепышевский, испугавшись, побежал от чиновника к скалам.

Славик полез вверх, он сделался сильным и цепким, потому что боялся чиновника, а тот, еще пуще рассердившись, полез за ним.

Наконец, лезть стало некуда, впереди высилась гладкая стена, а в выемке, где они остановились, едва можно было повернуться. Но как только чиновник показался на уступе, камень, пущенный снизу, ударил его в ногу.

— Не бей! — кричал с ледника Нерсес. — Не трогай Славика. Иди вниз!

Не даром Нерсес умел на лету сшибать воробьев, — камни ударялись в ноги и живот чиновника, этот град, взлетавший снизу, больно бил его плечи и грудь.

— Вниз! Вниз! — кричал Нерсес. — Скорее вниз!

Славик глянул и—зажмурил глаза.

Горные жители знают, что взобраться на скалу может даже обыкновенный, вовсе не ловкий человек, — когда гнев или иное, столь же сильное чувство погонит его вверх. Совсем другое дело—спускаться. Ужас подстерегал людей не крутизной склонов, не отвесными срывами уступов перед глазами, а пропастями, непривычностью пространств внизу, когда не видно даже скалы, по которой взбирался.

Чиновник всплеснул руками. Что-то сделалось с его уверенным глянцевитым лицом, — с него словно разом сошел лак, нос посерел и заострился.

Женщины звали его с ледника, и чиновник, оттолкнув Славика, полез вниз. Он не хотел слышать криков мальчиков, он ничего не хотел слышать, кроме голоса самосохранения. И он только потому не спустился, что этот голос не смог пересилить голоса страха.

Славику же, легкому и проворному, Нерсес помог добраться до ледника.

(Кто поможет фельетонисту, если в ресторане, после театра, когда стукнуло в сердце тридцать лет, — не было ни одного стоящего друга, если перс безнадежно исчез в падании снега? Кто?

Кашляя и сморкаясь, фельетонист читает детские письма Славика, — в этих письмах почерк еще не установился, и редкие характерные буквы—зародыши почерка будущего взрослого человека — теряются в массе чрезмерно прямых палочек и старательно закругленных овалов.

Но всякий отец, старший брат, каждая мать знают, как радостно получать эти письма, как приятно разглядывать их через много лет.

И самого фельетониста, который неожиданно почувствовал себя стариком, при воспоминании о его собственных детских письмах, охватывает щемящее, благостное и стыдливое чувство безвозвратности.)

... пока Нерсес с проводниками ходили к будке за веревками, петербургский чиновник бранился, неистовствовал там, на скале, и даже плакал и молился.

Когда же он вернулся в город, кучер Мкртчьянц должен был выдрать Нерсеса, а Славику целый месяц не позволяли видеться с его другом.

4. Тополя

У тополевых листьев запах особый — очень отдельный, горьковатый и совсем не назойливый, — не то что грузная сытость липового цвета или, к примеру, бесстыжий запах акаций, обнаженный и прилипчивый.

Нет, из тополевых листьев нельзя сделать модных духов и продавать их в парфюмерных лавках!

Тополя сами по себе, им нет нужды поспешать, забегать вперед, у них длинное дыхание. Они так скромны, что их можно вовсе не заметить, а если кто попытается раскусить их до конца, того они обманывают: возьмешь в рот молодые листочки—приятно, а раскусишь—горечь.

Кроме того, тополевым отваром, да еще на дождевой воде, очень полезно мыть голову. Фельдшерица Вера Константиновна всегда держала под желобом цинковое ведро и, чуть только в него натекало до половины, — бросала в воду несколько веток и ставила на плиту.

В прохладные повечерия после грозы высокие пирамидальные тополя наполняли горьковатой своей свежестью весь сад. Весной же несметное множество пушинок — летучие тополевые семена, — порхали повсюду, залетали на ветхий деревянный балкон и легко опускались на маленькую, туго обтянутую волосами голову фельдшерицы.

А у Романа Львовича — поговаривали — была чахотка. Он любил лежать с книгой у окна и пил очень много молока, — жирного сладкого молока холмогорских фельдшерицыных коров. Роман Львович не мыл головы тополевым отваром, и обильная перхоть осыпалась с его волос на выцветшую синеватую косоворотку.

Этот близорукий сутулый нахлебник Веры Константиновны был, собственно говоря, студентом, — вечным студентом медицинского факультета в Москве. Иногда он даже ездил туда, — вероятно, сдавать экзамены. Экзаменов, само собой разумеется, было очень много, и еще практические занятия, и еще работы в клинике, — а Роман Львович постоянно простуживался, и ему приходилось возвращаться в дом с тополевым садом.

Впрочем, позже, во время гражданской войны, когда город заняли белые, вечный студент ушел с партизанами в горы и, — вот подите же, — отлично выдержал зиму в горах, да и теперь живет в Москве, — и ничего ему не делается.

Главное же, в книгах, которые Роман Львович любил читать, ни слова не говорилось о том, как лечить людей. Вечный студент мало интересовался отдельными людьми, его планы были гораздо шире, гораздо обширнее.

Но все это выяснилось много позже, а во время войны с немцами и турками фельдшерица всем говорила, будто ее жилец сильно болен грудью и вдобавок полуслеп,—Романа Львовича даже не взяли в солдаты.

У фельдшерицы с маленькой, туго обтянутой волосами головой было много знакомых. Молоко ее холмогорских коров славилось по всему городку.

Например, жена помощника начальника области употребляла только фельдшерицыны сливки, а когда ее сыновья подросли, она стала посылать их по утрам в дом с тополями, — мальчикам очень полезно было парное молоко.

Зютек степенно смотрел, как доят коров, и норовил тайком ударить своим башмаком в вымя. Славик цедил сквозь зубы тепловатую молочную жижу у окна Романа Львовича и рассматривал большую книгу с изображениями китайцев, индусов, австралийцев и других невиданных и очень занятных людей.

Когда же Зютек поступил в кадетский корпус, со Славиком начал приходить Нерсес, сын кучера Ржепышевских. У Нерсеса не было денег, чтобы платить за молоко холмогорских коров, и Роман Львович однажды сказал фельдшерице:

— Напоите-ка паренька, Вера Константиновна, потом сосчитаемся.

А фельдшерица огрызнулась.

— Хватились тоже! Он уж почитай полгода пьет. Сидели бы вы лучше со своими внекапиталистическими прослойками да не совали носа куда не след.

В те времена, когда Славик еще не родился, за сливками для Анжелики Ромуальдовны приходил Турсун. Ржепышевская говаривала, что перса «хорошо за смертью посылать», он долго не возвращался и не об'яснял своей госпоже, что Роман Львович рассказывал ему разные разности про мастеровых из железнодорожных мастерских и с французского завода.

Кроме того, студент начал давать ему тоненькие книжки, а Турсун прятал их в мягких своих ичигах и потом старался понять трудные обороты малознакомого языка.

Когда же Турсуна обвинили в краже часов у Ржепышевской и посадили в тюрьму, сердитая фельдшерица принесла ему свеже-сбитого масла. Вера Константиновна приходила вовсе не ради Турсуна, она служила в тюремной больнице и передавала некоторым арестантам еду и иногда письма, — наверно, от родных.

Фельдшерица была совсем особая женщина, очень отдельная, пирамидальная и горьковатая, как тополя в саду. После службы она ложилась спать на ветхом своем балконе,—зимой и летом,—а вечером, когда длинное тополиное дыхание наполняло Романа Львовича беспокойством, тоской и бессонницей, Вера Константиновна пила крепкий кофе, курила папиросу за папиросой и расхаживала по досчатому полу взад и вперед.

— ...А вы, батенька, забыли про пятый, вот что! — говорила она вечному студенту. — Урок даром прошел.

— Надо использовать все возможности, — щурился Роман Львович,—что реального дала ваша кружковщина?

— Хороши, батенька! то богостроительством увлекались, теперь о легальной мечтаете...

Спорили до рассвета. Фельдшерица любила эти споры не меньше, чем холмогорских коров и свой сад. С этим садом было много хлопот, каждый месяц в нем находилось новое дело: то надо было чистить дорожки, то обмазывать известкой стволы яблонь, сгребать прелые листья, то подрезать ветки, выпалывать с грядок сорные травы, то еще что-нибудь.

Друзья Веры Константиновны помогали ей, они после работы часто приходили в ее сад.

В душные пыльные ночи фонарь на балконе проливал желтоватый свет, и ночные бабочки, ленивые карамары, всякая мошкара реяла и кружилась, ударялась о стекла и, ослепленная, падала на белую клеенку стола.

А осенними ветреными ночами фонарь раскачивался, пламя его колыхалось, столбы балкона длинными угрожающими тенями обрушивались на дорожки сада, лица приятелей фельдшерицы взволнованно темнели и вновь освещались, и тополя словно бегали по саду, деловито перешептываясь в неверных отсветах.

Мастеровые из железнодорожных мастерских и фабричные с французского завода копались в саду, а Турсун слушал их разговоры

у калитки. Вначале он не умел хорошо говорить по-русски, его ведь считали дурачком, он мог только подражать автомобильному гудку, — очень похоже,—с закрытым ртом.

Автомобильный гудок слышался, когда мимо калитки проходил какой-нибудь человек. Особенно хорошо гудок удавался, если проходящий был в военной форме, — Турсун очень не любил военных.

Славик по вечерам в саду не бывал, только один раз его привела родственница Веры Константиновны, маленькая девочка, учившаяся в епархиальном училище. Эта девочка удивительно ловко карабкалась на деревья, она влезала даже на высокие тополя и оттуда звала Славика.

Но у Славика, сына Анжелики Ромуальдовны, не было длинного дыхания, он оставался внизу, на земле. Кроме того, Славику ведь нравилась острая улыбка Тани Прицкер, а маленькая епархиалка была похожа на мальчишку, и ее темное платьице было почти такое же, как у Веры Константиновны,—скучное, ничем не выдающееся.

Фельдшерица сделала девочке замечание, и она больше не приводила сына Ржепышевской, так что Славик не имел никакого отношения к саду с тополями.

Потом Турсун научился русскому языку и начал участвовать в ночных спорах, а на его месте у калитки стоял Нерсес. Нерсес не гудел автомобильным гудком, но мяукал так хорошо, что кошки в саду ему отвечали, а девочка в епархиальной форме, если не спала, тоже мяукала, как маленький котенок.

Да, да, случайному прохожему могло бы показаться, что Вера Константиновна держит не холмогорских коров, а целую ораву бродячих кошек!

Пока Нерсес стоял у калитки, Турсун пытался спорить с Романом Львовичем. Это было вовсе не легко, потому что студент постоянно приводил чужие слова из великого множества прочитанных им книг, да и сам он исписывал сотни листов графленой бумаги. Роман Львович не рассказывал, о чем писал, но известно было, что его работа «теоретическая», и это слово даже фельдшерица произносила с почтением.

Фузайлов же не читал толстых книг, а только тоненькие...

(Фельетонист снимает телефонную трубку и называет номер учреждения, в котором делают толстые книги. Роман Львович и теперь читает их и много пишет на графленых листках. Может быть, он даст фельетонисту такую спокойную теоретическую книгу, в которую можно будет наспех рассовать клочья годов, газет, воспоминаний? А может быть, Роман Львович пришлет ему тонкую брошюру, и, прочитав ее, снова легко будет писать фельетоны, много очень нужных, очень полезных фельетонов? Но Романа Львовича в учреждении нет, он уехал подготовлять посевную кампанию. И фельетонисту становится стыдно.)

... а все-таки Турсун, познакомившись с приятелями Веры Константиновны, заметил, что студент не все про них говорил правильно. Например, они вовсе не были озабочены победой родины в войне, они сами не воевали, но их родственники были солдатами. И вот солдаты писали им, что скоро бросят воевать, и мастеровые этому радовались.

А Роман Львович сердился, кричал, что этого нельзя делать, это будет измена. Он говорил еще, что об'ективные условия в России пока неблагопрятны и что освобождение придет из тех стран, где больше фабрик и заводов. Выходило так, что парням из железнодорожных мастерских и с французского завода ничего не оставалось другого, как ждать, пока не начнут рабочие в других странах.

Турсун еще не знал силы толстых книг, которых никто не читал и все уважали, не понимал, что такое «об'ективные условия», — не мог их ощупать, ослушать, осмотреть, — и не верил в них. Парни же из мастерских и фабричные с завода не хотели сидеть сложа руки и ждать, — и вот Турсун решил победить толстые книги.

Он просиживал ночи напролет, читал две-три страницы, рассказывал парням, что прочитал, и получалось совсем иначе, чем у Романа Львовича.

Да, Фузайлов начал узнавать, что даже толстые иногда книги говорят и то и се, — все зависит от того, как их понимать.

Содержатель шашлычной спросил было, куда Турсун ходит по ночам, но Турсун не сказал ему, и торговец решил, что его брат нашел новую возлюбленную.

Конечно, это была неправда?

Турсуну было уже под сорок лет, а Славику—шестнадцать, когда в доме с тополевым садом случился пожар.

В тот день из чугунных ворот Славик без фуражки выскочил к Турсуну и сказал, что фельдшерицу только-что арестовали. Ему говорил об этом офицер для поручений. Анжелика Ромуальдовна очень огорчилась, что у нее по утрам не будет больше жирных сливок, а Славик узнал, что Веру Константиновну взяли на работе: нашли письмо, которое она передала арестанту.

Турсун быстро поднялся и побежал, он ничего не сказал, он только махнул рукой, чтобы Славик не шел за ним, он спешил к дому фельдшерицы, потому что Роман Львович в то время как раз уехал из городка.

Было лето, стояла жара, а Турсун, придя в дом с тополевым садом, вдруг начал растапливать печь. Дров в сарае не оказалось, и он стал бросать в печь бумаги, книги, рукописи Романа Львовича и даже письма из ящиков стола, — таким он оказался дикарем.

Потом в калитку начали стучать, а Фузайлов затопил еще и плиту на кухне.

Когда военные, которых Турсун не любил, сломали засов, множество листков жженой бумаги летали по комнатам и в кухне стоял густой дым.

Турсуна же в доме не было, он уже сидел на скамейке против шляпного магазина и по-дурацки вертел пальцами.

Военные попортили мебель, истоптали грядки в саду и увели холмогорских коров.

Все-таки они ничего не могли поделать с тополями, потому что ведь тополя—совсем особые деревья, им нет надобности кричать о себе, у них длинное дыхание.

5. Миноноска

Не каждый год бывали в городке крепкие морозы.

Иногда за всю зиму каток открывался только на две-три недели,— вода в пруде не промерзала глубоко, лед бы не выдержал тяжелых деревянных кресел на полозьях, да и людей пускать было опасно.

Зато когда выдавались настоящие зимы, — тут-то бывало раздолье!

В праздники на острове, что посредине пруда, зажигали большой костер, и подле него рассаживались музыканты.

Медношеий военный оркестр сверкал красноватыми огоньками, и красноватые блики бродили по льду, падали на отметенный к берегу снег, пробегали по меховым шапкам и муфтам девушек и, поднимаясь вверх, выше деревьев, сливались с догоравшей зарей.

С острова,—от костра и оркестра,—расходились по всему пруду волны светящегося пара и плавной медлительной музыки. Только барабан долдонил назойливо и неукротимо, будто непременно хотел пробить лед, да трамбон словно замахивался на плошки, мерцавшие на запушенной снегом резной ограде.

Флейта жаловалась на стужу протяжно и невразумительно, как разомлевшая пьяная женщина, а гнусавый английский рожок увещевал ее с начальственной хриплостью, точно городовой, дежуривший на углу, у гостиницы, неподалеку от дома Ржепышевских.

Больше всего нравилась Славику одна труба, стройная, с шеей почти лебединой, — единственная серебряная между широкоротыми медными дылдами.

Эта труба,—Славик позабыл ее имя,—пела совсем особым голосом, его ни с чем нельзя было сравнить: он был нежный и в то же время настойчивый, убедительный, громкий—и все-таки не резкий.

Только ветер, запутавшись в телеграфных сетях или в плетении чугунного моста, иногда пел вот таким же осенним надтреснутым голосом.

Сколько раз слышался Славику потом этот голос! Сколько раз хотел он вспомнить не-русское имя трубы! Имя не вспоминалось, как не вспоминается самое нужное, самое ценное в детстве—неведение,—

потому что вспомнить ведь значит узнать, а познанное единожды уже никогда не расцветет свежестью.

Вот и Славик через много лет как-то услышал джаз и вздрогнул, и на мгновение шире раскрылись его глаза — с эстрады пела она, неотысканная, незабытая, она—серебряная труба с лебединой шеей!

Но как же выцвел, как осип ее голос! Как вздулась ее шея, словно у очковой змеи, вот-вот ужалит. И имя оказалось банальным,—саксофон,—самое обыкновенное, как Фриц или Вилли, плохонькое имя.

А на льду, в свете костра, ее голос звал и томил и даже непоседу-Таню увлекал в медленное свое кружение. Помощник начальника области любил только медленные старинные—галантные и чинные—вальсы,—может быть, потому, что с годами Анжелика Ромуальдовна стала сентиментальной и немножко неповоротливой, не могла быстро бегать на коньках и выделывать всякие замысловатые фигуры, как Славик, или Нерсес, или миноноска.

Впервые миноноска появилась в доме с медным звонком довольно давно, когда крупнолицый кадет Зютек заболел не совсем понятной болезнью, такой, что доктор Прицкер не мог сказать ее названия Анжелике Ромуальдовне.

Доктор осмотрел Ржепышевского, ее мужа, и понимающе кивнул головой, а помощник начальника области сделал строгие глаза и приложил палец к губам.

Седая голова доктора Прицкера вертелась на шее, как флюгер на тонком стержне, и слова, которые он говорил, звучали вкрадчиво и даже нежно,—почти как серебряная труба. Он приходил к Зютеку каждый день и удивительно ловко прикрывал котелком конверт с деньгами, лежавший на подзеркальном столике. Деньги предназначались именно ему, но, когда он надевал котелок на свою серебряную голову,—конверта уже не было.

Куда исчезает конверт? Славик никак не мог догадаться до тех пор, пока доктор не привел к нему свою дочь Таню. Таня об'яснила секрет и сказала, что такой фокус умеют делать все доктора.

Она часто подглядывала, как ее отец лечил больных, и предложила однажды мальчикам научить их играть в «врача и пациентов».

Славик тихонько и щекотливо похохатывал, когда Таня его выслушивала и выстукивала, а Нерсес зажмуривал глаза, сжимал пальцы ног и вдруг вскакивал, ловил девочку и начинал ее целовать.

Потом Славик тоже научился целовать дочку доктора Прицкера и в конце концов прогнал приятеля от Тани. Нерсес сперва удивился, не разобрал в чем дело, почему сердится Славик. Он подумал, что Ржепышевский шутит, стал его уговаривать, а Славик закусил губу и топнул ногой.

Он теперь был хозяином в доме с медным звонком, мог поступать так, как хотел,—помощника начальника ведь в городе не было.

Таня стояла молча и ждала, чем все это кончится, подерутся ли мальчики, и кто окажется сильнее. Но Нерсесу, сыну кучера, нельзя

было драться, и он пошел к Турсуну жаловаться, что дочка Прицкера отняла у него друга.

Турсун не умел бегать на коньках, а Роман Львович хоть и умел, но ему не позволял доктор Прицкер,—он должен был сидеть в деревянном кресле, закутанный в овчинный полушубок. Иногда это кресло возили по льду знакомые парни из железнодорожных мастерских и с завода или даже Вера Константиновна, пока ее не арестовали.

Когда Нерсес подошел к Турсуну, перс как раз вез кресло Романа Львовича за остров, в дальний угол катка, а студент говорил ему:

— Вспышкопускательство! Не только казаки, даже слобожане не отдадут горцам земли. Никогда!

Нерсесу вдруг показалось, что его личная обида очень маленькая, писклявая, как флейта, по сравнению с тем, отдадут ли землю горцам казаки и слобожане, когда начнется освобождение.

— Неправда,—сказал он Роману Львовичу,—насчет казаков не скажу, но слобожане настроены очень хорошо.

— Они мелкие собственники. С этим ничего не поделаешь, тебе бы пора знать,—вразумил его вечный студент,—а настоящих рабочих во всей России очень немного, у нас же здесь—совсем мало.

Потом к ним присоединилась Вера Константиновна. Она кончила свои десять кругов размеренным стаерским бегом и отвинчивала коньки с высоких грубых ботинок. Что-то в лице Нерсеса показалось фельдшерице необычным, и она спросила, не упал ли он, не ушибся ли сегодня на катке. Тогда Нерсес рассказал про Таню и про ссору с приятелем.

Услышав о Славике, студент скривил рот:

— Брось их,—посоветовал он Нерсесу, — вы уже взрослые, и тебе с ним не по пути, Ржепышевский скоро станет твоим врагом.

Турсун запротестовал: его сын не может сделаться врагом бедняков. Но студент начал говорить разные умные вещи о влиянии воспитания и среды, и Турсун не сумел ему возразить.

Фельдшерица же молча слушала умные разговоры Романа Львовича и пение серебряной трубы,—ей надоела эта музыка,—и только попозже, возвращаясь с Нерсесом, она шепнула:

— Не сдавайся так быстро, не отдавай Славика Прицкерам. Все-таки он неплохой парень, он еще может быть с нами. Конечно, доверяться не следует, но надо же открыть ему глаза.

Она была расчетливой женщиной, эта фельдшерица, державшая холмогорских коров и зимой делавшая по десять кругов на коньках, а летом ходившая десять верст ежедневно по шоссе, за кадетский корпус. Кроме того, ее родственница, девочка, учившаяся в епархиальном, постоянно спрашивала о Славике. Епархиалка садилась на скамейку рядом с Турсуном, подле дома с чугунной решеткой и в последнее время даже стала плохо учиться.

Наверное, Вера Константиновна хотела ей помочь. Но она не успела, ее арестовали как раз летом, в год перед революцией.

А мальчики помирились, Славик просил извинения и об'яснил, что он совсем не переменился к другу, он только не хотел, чтобы кто-нибудь кроме него целовал Таню Прицкер.

В этом ведь не было ничего дурного?

Славик иногда приглашал Таню к себе, приводил в кабинет и угощал фруктами, рахат-лукумом и пастилой. Он уже знал, что когда к молодому человеку из хорошей семьи приходит девушка, то надо первым долгом поставить на стол разную еду в красивых вазах и блюдах и потчевать гостью, а потом уже целоваться.

Да, да, Славик жил в кабинете, и, когда у него бывала Таня, никто не смел входить в эту комнату,—его как бы не было дома.

Генерал Ржепышевский ведь начальствовал далеко, в учреждении, снабжавшем армию всякими плохими продуктами, а Зютек, окончив кадетский корпус, тоже поехал к нему. Славик оставался единственным мужчиной в доме, если не считать офицеров для поручений,—он мог распоряжаться кабинетом, как ему нравилось.

Кроме того, он провожал Таню с катка домой и потом беседовал с доктором Прицкером. Они говорили о том же, о чем Нерсес спорил с Романом Львовичем и Турсун шептался с фельдшерицей, но только они совсем с другой стороны подходили к этим вопросам. Сребroголовый доктор был когда-то студентом и тоже интересовался освобождением фабричных.

Но Прицкер не остановился на этом, не остался вечным студентом, он сдал экзамены, сделался доктором медицины, и у него лечилось много больных,—все уважаемые, богатые люди. Все-таки он не забыл про освобождение, после приема он мог себе позволить побеседовать даже о социализме с сыном помощника начальника области, и его голос делался в эти минуты нежным, но настойчивым, убедительным; громким—и в тоже время не резким.

Анжелике Ромуальдовне Таня не нравилась: у девушки был удивительно острый нос,—с горбинкой,—острые уголки в концах плоских губ, и даже белые муфта и шапочка ее казались острыми.

Ржепышевская прозвала ее миноноской.

Мать Славика не вмешивалась в его дела так же, как Славик научился не замечать смены офицеров для поручений. Но однажды на катке госпожа Ржепышевская очутилась рядом с мадам Прицкер, и Славик познакомил их. Когда он убежал с Таней, Анжелика Ромуальдовна напрямик об'явила докторше, чтобы она не думала ничего такого и не надеялась. Ростислав Ржепышевский совсем не пара Татьяне Прицкер.

Несмотря на мороз, мать Тани сняла перчатку и начала постукивать обручальным кольцом по своим желтоватым широким зубам. Она слушала Анжелику Ромуальдовну очень спокойно и, когда та кончила, стала ей отвечать.

— Нет, она не думает ничего такого и ни на что не надеется. Впрочем, она тоже кое-что слышала,—так, краем уха.

Докторша Прицкер слегка улыбнулась,—и Ржепышевская сразу поняла, откуда у Тани такие острые уголки губ.

Мадам Прицкер,—упаси бог!—никогда не любила сплетен, но если живешь в таком захолустном городке, поневоле приходится быть свидетельницей всяких событий,—так вот, Славик почему-то необыкновенно дружен с неким Фузайловым, братом шашлычника. Это, кажется, тот самый перс, который когда-то служил у Ржепышевских?

И докторша взглянула на Анжелику Ромуальдовну выпуклыми темными глазами. Она была такой же красивой и пышнотелой женщиной, как и Ржепышевская, только не рыжей, а черноволосой. Кроме того, мать Тани была моложе и выше матери Славика и в разговоре невольно поглядывала на нее сверху вниз.

— О да, мадам Прицкер отлично помнила, как Турсун отплатил матери Славика черной неблагодарностью. Как же, как же, об этом в свое время говорил весь город! Мадам Прицкер далека от мысли позволить себе давать непрошенные советы, но уж если на то пошло,— не кажется ли госпоже Ржепышевской, что эта близость мальчика с юродивым персом несколько предосудительна и—как бы это выразиться — компрометантна?

— Удивительно смуглый ребенок и такой пылкий,—настоящий кавказец,—пропела докторша и откатила по льду свое кресло.

Но Анжелика Ромуальдовна вовсе не собиралась отдыхать, сидеть на месте. Как раз в эту минуту оркестр заиграл старинный галантный и сентиментальный вальс, и Ржепышевская встала, чтобы немного поразмять ноги. И она только на минутку задержалась у кресла докторши, ей вдруг вспомнилось, захотелось дружески предупредить:

— Дело в том, что доктор распространяет некоторые... не вполне позволительные идеи. Он, например, говорил несколько раз о социализме,—ни более, ни менее! Имея в виду инородческое происхождение доктора и строгости военного времени,—кто может поручиться за последствия какого-нибудь доноса? Ведь помощника начальника области нет в городе,—некому будет вмешаться, раз'яснить...

Мороз был очень суровый, докторша даже покраснела и торопливо заметила, что муж ее православный, он давно уже позаботился об этом, еще в то время, когда ему нужно было поступать в университет.

Потом она положила руку на ручку кресла так, что второе ее кольцо с огромным многокаратным бриллиантом засверкало в свете костра.

Да, мадам Прицкер тоже не сочувствует социализму. Но из-за этого не стоило волноваться, социализм ее мужа был воспоминанием студенческих лет, просто-напросто дурной привычкой молодости.

И бриллиант сверкающей дугой убедительно подтвердил ее слова.

Что делать! приходится мириться с характерами мужей, особенно когда собственный муж — врач и рассказывает об ужасных вещах, которые происходят в иных семьях. Кстати, ведь генерал Ржепышевский—постоянный пациент Прицкера, — о да, давнишний пациент, старый знакомый...

(Фельетонист окончил историю детства Славика и Нерсеса,— кончились фотографии, детские письма, открытки с видами родного городка.

Дальше—документы, стертые мандаты, обрывки злых и рыжих,—на оберточной бумаге, — старых газет. Дальше—гражданская война, юность революции, юность Ржепышевского и Нерсеса.

Все!

Но тут фельетонисту приходит на ум, что ведь рассказы должны иметь свой ясный, прямой конец, вовсе не всегда совпадающий с неровным течением жизни. И если истоки этого течения — такого непохожего у разных людей — кроются высоко, в озарении солнечных ледников детства, то, взобравшись к ним, можно проследить движение струй, зачатых в холодной белизне.

И человек с насморком снова идет к столу,—писать краткий отчет о концах детства.)

...Мадам Прицкер порекомендовала Анжелике Ромуальдовне не придавать значения безопасному ухаживанию Славика, так же как безопасному социализму ее мужа,—все-таки эта привычка была лучше, чем, например, карты или некоторые недуги, или взятки, или супружеские измены.

Анжелика Ромуальдовна, придя домой, очень неодобрительно отозвалась о Таниной матери:

— Это целый броненосец,—сказала она,—и удивительно бестактная женщина!

Доктор Прицкер в начале революции оказался меньшевиком и сделался членом городской управы, его серебряная голова стала флюгером для всего города. Только в Совдепе плохо слушали его нежные убедительные речи.

Славик же не окончил гимназию и поступил на службу в управу, а Турсуна выбрали членом Совдепа.

Муж Анжелики Ромуальдовны вернулся из армии и клялся отомстить за Зютека, которого солдаты убили, когда он хотел заставить их присягать брату прогнанного царя.

Генерал сидел, запершись в кабинете, никуда не выходил, у него не было никакого дела, и он требовал, чтобы Славик тоже стал офицером.

Кучера же Мкртчьянца Ржепышевский приказал прогнать.

Тогда Славик и Нерсес возмутились и сказали генералу все, что они про него думали, а Славик закричал матери:

— Он мне не отец! Мой отец—Турсун, и ты это знаешь так же хорошо, как и я.

И он ушел из дома, поселился у Прицкера, он ничего не взял с собой,—ведь его отец был бедняком,—Славик хотел жить на свое жалованье.

Но жалованье перестали платить. Ничего нельзя было сделать, городская управа потеряла всякое значение, сам Прицкер получал только паек.

Самый лучший паек был у Нерсеса, он стал начальником какого-то автоброневого отряда, и Таня очень хотела устроиться секретарем в штабе этого отряда, но Вера Константиновна послала туда свою родственницу - епархиалку.

Ох, уж эта Вера Константиновна! Она свалилась в городок, как снег на голову, после ареста она стала еще более сердитой, нигде не служила, работала в комитете партии большевиков.

Многие стали очень ее бояться после того, как Совдеп решил арестовать генерала Ржепышевского. Фельдшерица выступала на суде, и судьи постановили выслать генерала далеко на север.

Вера Константиновна, вернувшись в городок, не забыла о Славике и прислала ему записку, но Славик не пошел к ней, хотя доктор Прицкер и Таня уговаривали его.

А Нерсес переехал в кабинет Ржепышевского. Он сделался деловым человеком, Нерсес Мкртчьянц, кабинет был ему нужен для занятий, и сама Анжелика Ромуальдовна попросила его занять освободившуюся комнату.

Таня иногда заходила в дом с медным звонком,—ей нравился кабинет,—дома же было очень скучно: Славик перестал развлекать ее, мать ворчала—у доктора Прицкера больных становилось все меньше и меньше. Докторша не хотела продавать своих бриллиантов, она начала приготовлять пирожные и торговала ими в шляпном магазине, напротив скамейки Турсуна. Она превратилась в торговку, за все требовала деньги, а у Славика денег не было.

Тогда мадам Прицкер перестала звать его к обеду и к чаю и даже перестала топить его комнату. Хуже всего, однако, было то, что Таня постоянно ходила с начальником автоброневого отряда и, возвращаясь домой, подолгу беседовала с ним под самыми окнами Славика.

Славик слышал эти беседы, но не решался пойти к Нерсесу и поговорить про них. Ведь Нерсес мог ответить, что совсем не переменился к приятелю, он только не хотел, чтобы кто-нибудь, кроме него, целовал Таню.

Разве в этом было что-нибудь дурное?

По правде сказать, Славик,—не даром его отца когда-то считали дурачком,—вел себя все это время очень глупо: валялся целыми днями

в своей нетопленой комнате и никого к себе не пускал. Девушка, учившаяся в епархиальном, несколько раз приходила к нему вместе с Турсуном. Турсун хотел взять Славика к себе, а девушка приходила просто так, для компании.

Ржепышевский крикнул им в дверь:

— Убирайтесь! Если правда, что ты мой отец,—мне нужно стыдиться, что я сын грабителя.

Турсун ушел, опустив голову, а Славик потихоньку плакал, потом заснул и во сне бормотал что-то о серебряной трубе, которую он никому не отдаст.

Ведь вот он какой был, этот Славик! Турсун, Нерсес и мастеровые из железнодорожных мастерских, и фабричные с завода, и парни со слободки ничего у него не взяли, потому что у Славика ничего не было, а он все-таки ругал их, не хотел к ним итти и плакал о дурацкой серебряной трубе.

Можно было подумать, что какая-то сила отталкивала его от них так же, как и его мать. Только Анжелика Ромуальдовна все-таки уговорила Нерсеса жить в кабинете ее мужа и сама вытирала пыль с его стола, а Славик убежал из дома и прогнал от себя Турсуна. Впрочем, он ведь тогда очень растерялся, был не в себе.

Миноноска редко заходила к нему, ее острый язык больно жалил парня,—Таня постоянно над ним смеялась и не постеснялась даже заметить его рваное платье и стоптанные башмаки.

И вот со Славиком что-то произошло: он ночью, когда все спали, прокрался к сундуку докторши Прицкер, подобрал ключ и украл несколько простынь и три серебряных ложки, — утром на базаре он обменял их на новые брюки и ботинки.

Да, он сделал это, Ростислав Ржепышевский, он был сыном Турсуна, которого обвиняли в краже часов, но, кроме того, он был сыном Анжелики Ромуальдовны. Муж Анжелики Ромуальдовны обкрадывал целую область и целую армию, а Славик украл несколько старых вещей, чтобы купить себе платье, но дело от этого не менялось,—он тоже стал вором. Вероятно, Роман Львович, говоривший разные умные вещи о влиянии воспитания и среды, был прав.

Мадам Прицкер подозрительно покосилась на новые брюки Славика, а потом обнаружила покражу. У нее были большие связи на базаре, она нашла торговку, обменявшую краденые простыни и ложку, и привела к себе. Докторша вошла в комнату Славика вместе с мужем и Таней. Она уличила жильца и в присутствии дочери заставила его снять ботинки. Потом она выслала Таню из комнаты и отобрала у парня брюки и потребовала с него расписку, и в обеспечение взяла его часы. А миноноска, остро улыбаясь, рассказала об этом Нерсесу.

Но, — вот странно, — Нерсес не оценил забавного рассказа, он оттолкнул Таню так, что она упала, и побежал к Турсуну. Мкртчьянц, Фузайлов и даже Роман Львович целый вечер искали Славика и нашли его за городом, в снегу на шоссе.

Он лежал у ограды бывшего кадетского корпуса, и ветер, запутавшись в плетении решетки, пел над ним надтреснутым, как серебряная труба, голосом. Нерсес стал растирать его лицо и руки, а вечный студент влил ему в рот спирту и привел Славика к себе.

В конце концов доктор Прицкер должен был отдать часы и спешно выехать из городка. Говорят, он теперь переменил свое звание меньшевика на другое, более выгодное.

А Ржепышевский, поправившись, начал работать и старался не думать о серебряной трубе.

(Окончание следует)

Вассо охотник

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Сух и прям,
В изодранном бешмете,
С серым лопухом на голове,
Молча он стоит,—
Как сосны на рассвете,—
В ледяной, сверкающей траве.

Старый нож не знает точки,
Крепче юность—
В восемьдесят лет—
Турий рог на бронзовой цепочке
Подарил ему когда-то дед,

И с тех пор
Не сакли там, над кручей,
Не кизячный, слишком душный, дым,
А в клочки разодранные тучи
Он любил
Над лесом снеговым.

Старым сердцем веря
Только глазу,
Чуял тура, знал олений след,
Бил орла, медведя
И ни разу не нарушил
Дедовский завет.

Так и жил он:
Легче водопада,
Злей костра,
Кончая снежный век.
Как ружье, приподнятого взгляда
Не опустит этот
Человек.

Друг Вассо!
На шкур медвежьих ворох
Крепче ставь кремневое ружье,
Круче сыпь
Зернистый сизый порох
В это сердце
Гулкое, мое!

Пусть и я,
Горячих дней не меря,
Прыгая с ручьями
По камням,
Раньше всех
Услышу запах зверя
И, ударив,
Промаха не дам!

1929 г. Северная Осетия.

За окном

МАРК ТАРЛОВСКИЙ

Градусник повешен за окном.
Собеседник веток и скворешен,
Будь погоде верный эконом,
Чуток будь и в счете будь безгрешен.

Принимай заказы изнутри,
Переменам следуй чрезвычайным,
Да почаще в комнаты смотри
И на все вопросы отвечай нам.

Спуск ужасный — каждою зимой,
Каждым летом — взлет недоуменный...
Сторож честный, сторож наш прямой!
Плавься, стынь, — тебе не будет смены.

Но зато, когда мы тяжко спим,
Крепко спим у своего корыта,
Ты открыт пространствам мировым,
И тебе вселенная открыта.

Теплый дом сегодня снится мне.
Этот дом — страна моя родная...
Вот повис на призрачном ремне
У ее закрытого окна я.

Многое мне видно с косяка,
Где меня, как пугало, прибили:
Жарко дышат на меня века,
Злые замораживают были.

Градусник, я брат тебе теперь,
И на всей земле нас только двое!
В двух шагах окно твое — но мерь,
Но считай несчастье мировое.

Петр Первый

Повесть

АЛ. ТОЛСТОЙ

(Продолжение [1])

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Кабальный холоп Ивашка Бровкин (Алешкин отец) привез по санному пути в Преображенское воз мороженой птицы, пять четей муки, гороху и бочку капусты. Это был столовый оброк Василию Волкову, — домоправитель собрал его с деревеньки и, чтобы добро не гнило, приказал везти господину на место службы, где у Волкова, как у стольника, во дворце имелась своя каморка с чуланом.

В'ехав во двор, Ивашка Бровкин испугался и снял шапку. Множество богатых саней и возков стояло у красного крыльца. Переговаривались на утреннем морозе кучки нарядных холопов; кони, украшенные лисьими и волчьими хвостами, балуясь, били чистый снег, зло визжали стоялые жеребцы. Вкруг дымящегося навоза суетились воробьи.

По открытой лестнице всходили и сбегали золотокафтанные стольники и офицеры в иноземных кафтанах с красными отворотами, с бабьими кудрявыми волосами. Ивашка Бровкин признал и своего господина — на царских харчах Василий Волков раздобрел, бородка кудрявилась, ходил важно, держась за шелковый кушак.

«Эх, задержат меня, не в добрый час приехал» — подумал Ивашка. Разнуздал лошадь, бросил ей сенца. Подошла царская собака, строго желтыми глазами посмотрела на Ивашку, зарычала... Он умильно распустил все морщины: «Собаченька, батюшка, что ты, что ты...» Отошла, сволочь сытая, не укусила, слава богу. Прошел мимо плечистый конюх:

— Ты что, бродяга, кормить здесь расположился?..

Но тут конюха окликнули, слава богу, а то бы целым Ивашке не выпутаться... Сено он убрал, лошадь опять взнуздал... В это время малиново на дворцовой вышке ударили в колокола. Засуетились холопы: одни повскакали верхами на выносных коней, другие прыгнули на запятки, зверовидные задастые кучера расправили вожжи.. На

[1]) См. «Новый Мир», кн. кн. 7, 8, – 9 и 10 с. г.

лестнице на каждой ступени стали стольники, сдвинув шапки искривя. Из дворца повалили в поезжане: отроки с иконами, юноши с пустыми блюдами, — дорогие шапки, зеленые, парчевые, алобархатные кафтаны и шубы загорелись на снегу под осыпанными инеем плакучими березами. Понимая приличие, Бровкин стал креститься. Вышли бояре. Среди них — женщина во многих шубах, одна дороже другой... Под рогастой кикой брови ее густо набелены — белые, веки — сизые, расписаны до висков, щеки кругло клюквенно нарумянены... Лицо, как блин... В руке — ветка рябины. Красивая, веселая, видно — хмельная... ее вели с крыльца под руки. Дворовые девки, пробегая мимо Ивашки, говорили:

— Сваха, гляди-ка, мамыньки!

— Сенник приезжала убирать...

— Постель стелить молодым...

Гикнули конюха, воздух запел от бубенцов, завизжали полозья, посыпался иней с берез, — поезд потянулся через равнину к сизым дымам Москвы. Ивашка глядел, разинув рот. Его сурово окликнули:

— Очнись, разиня...

Перед ним стоял Василий Волков. Как и подобает господину, брови гневно сдвинуты, глаза строгие, пронизывающие...

— Чего привез?

Ивашка поклонился в снег и, вынув из-за пазухи письмо от управителя, подал. Василий Волков отставил ногу, наморщась, стал читать: «Милостивый господин, пресветлый государь, посылаем тебе столовый для твоей милости запас. Прости для бога, что против прежнего года недобрано: гусей битых менее, а индюков и вовсе нет... Народишко в твоей милости деревеньке совсем оскудел, пять душ в бегах ныне, уж и не знаем, как перед тобой отвечать... А иные сами едва с голоду живы, хлеба чуть до Покрова хватило, едят лебеду. По сей причине недобор приключился...»

Василий Волков кинулся к телеге: — Покажи! — Ивашка расшпилил воз, трясясь от страху... Гуси тощие, куры синие, мука в комках...

— Ты чего привез? Ты чего мне привез, пес паршивый! — неистово закричал Волков. — Воруете! Заворовались! — Дернул из воза кнут и начал стегать Ивашку. Тот стоял без шапки, не уклонялся, только моргал. Хитрый был мужик, понял: пронесло беду, пускай постегает, через полушубок не больно...

Кнут переломился в черенке. Волков, разгораясь, схватил Ивашку за седые волосы. В это время от дворца быстро подбегали двое в военных кафтанах. Ивашка подумал: «На подмогу ему, ну, — пропал»... Передний, — что пониже ростом, — вдруг налетел на Волкова, ударил его в бок... Господин едва не упал, выпустив Ивашкины волосы. Другой, что повыше, — синеглазый, с длинным лицом, — громко засмеялся... И все трое начали спорить, лаяться... Ивашка испугался не на шутку, опять стал на колени... Волков шумел:

— Не потерплю бесчестья! Оба мои холопа! Прикажу бить их без пощады... Мне царь не указка...

Тогда синеглазый, прищурясь, перебил его:

— Постой, постой, повтори-ка... Тебе царь не указка? Алеша, слышал противные слова? (Ивашке) Слышал ты?

— Постой, Александр Данилыч... — Гнев сразу слетел с Васьки Волкова. — В беспамятстве я проговорил эти слова, ей-ей в беспамятстве... Ведь мой же холоп меня же чуть не до смерти...

— Пойдем к Петру Алексеевичу, там разберемся...

Алексашка зашагал к дворцу, Волков — за ним, на полпути стал хватать за рукав. Третий не пошел за ними, остался около воза и тихо сказал Ивашке:

— Батя, ведь это я... Не узнал? Я — Алеша...

Совсем заробел Ивашка... Покосился. Стоит чистый юноша, в дорогом сукне, ясных пуговицах, накладные волосы до плеч, на боку — палаш. Все может быть — и Алеша... Что тут будешь делать? Ивашка ответил двусмысленно:

— Конечно, как нам не признать... Дело отецкое...

— Здравствуй, батя...

— Здравствуй, честнóй отрок...

— Что дома-то у нас?

— Слава богу...

— Живете-то как?

— Слава богу...

— Батя, не узнаешь ты меня...

— Все может быть...

Ивашка, видя, что битья и страдания больше не будет, надел шапку, подобрал сломанный кнут, сердито начал зашпиливать раскрытый воз. Отрок не уходил, не отвязывался. А может, и в самом деле это пропавший Алешка? Да что из того, — высоко, значит, птица поднялась. С большого ли ума признавать-то его, — приличнее и не признавать... Все же глаз у Ивашки хитро стал щуриться.

— Отсюда бы мне в Москву надо, старуха велела соли купить, да денег ни полушки... Алтына бы два али копеек восемь дали бы, за нами не пропадет, люди свои, отдадим...

— Батя, родной...

Алешка выхватил из кармана горсть, да не медных — серебра: рубля с три али более. Ивашка обомлел. И, когда принял в заскорузлую, как ковш, руку эти деньги, — затрясся, и колени сами подогнулись — кланяться... Алеша махнул ручкой, убежал... «Ах, сынок, ах, сынок» — тихо причитывал Ивашка. Сощуренные глаза его быстро посматривали, — не видал ли эти деньги кто из челяди? Два полтинника сунул за щеку для верности, остальные—в шапку. Поскорее выгрузил воз, сдав добро господскому слуге под расписку, и, нахлестывая вожжами, погнал в Москву.

Плохо бы отозвались Ваське Волкову его слова: «мне-де царь не указка», спознаться бы ему с заплечными мастерами в Приказе тайных дел... Но, вскочив за Алексашкой в сени, он повис у царского аманта на руке, проволокся несколько по полу и, плача, умолил взять перстень с лалом, — сдернул с пальца...

— Смотри, дворянский сын, сволочь, — проговорил Алексашка, сажая дорогое кольцо на середний палец, — в последний раз тебя выручаю... Да еще Алеше Бровкину дашь за бесчестие деньгами али сукном... Понял?

Взглянул на лал, с усмешкой тряхнул париком и пошел на точеных каблучках, покачивая плечами... Давно ли люди на базарах его за виски таскали, нюхнув пироги с гнилой зайчатиной? Ах, какую силу стал брать человек!.. Волков понуро побрел к себе в каморку. Отомкнул сундук со звоном, бережно отыскал кусок сукна... До слез стало жалко, обидно... Кому? Мужицкому сыну, холопу, коего плетью поперек морды, — дарить! Погоревал. Крикнул слугу:

— Отнеси первой преображенской роты барабанщику Алексею Бровкину, скажешь, мол, кланяюсь, чтоб между нами была любовь... (Вдруг, стиснув кулак, грозно — слуге.) Ты зубы-то не скаль, двину в зубы-то... С Алешкой говори тихо, человечно, бережно, — он, подлец, ныне опасный...

Алексашка Меньшиков искал Петра по всем палатам, где слуги накрывали праздничными уборами лавки и подоконники, стелили ковры, вешали слежавшиеся за долгие годы занавесы и шитые жемчугом застенки на образа. Наливали лампады. Стук и беготня раздавались по всему дворцу.

Петра он нашел одного в сеннике, только-что убранном свахой,— пристройке без земляного наката на потолке (чтоб молодые легли спать, не под землей, как в могиле). Петр был в царском для малого выхода платье. В руке все еще держал шелковый платочек, поданный ему, когда встречал сваху. Платочек изорван в клочья зубами. Петр вскользь взглянул на Алексашку, залился румянцем...

— Убранство красивое, — проговорил Алексашка певуче, — чисто в раю для ангелов приготовлено...

Петр разжал зубы и хохотнул. Указал на постель:

— Чепуха какая...

— Окажется молодая ладная, горячая, так — и не чепуха.. Лопни глаза, мин херц, слаще этого ничего нет...

— Врешь ты все...

— Я-то с четырнадцати лет это знаю... Да еще какие шкуры девки попадались... А твоя-то, говорят, распрекрасная...

Петр коротко передохнул. Опять оглянул бревенчатый сенник с высоко прорубленными в трех стенах цветными окошками. В простенках — тегеранские ковры, пол застлан ковром с птицами и единорогами. В углах воткнуто четыре стрелы, на каждой повешено по сорок соболей и на острие — калач. На двух сдвинутых лавках, на двадцати

семи ржаных снопах, на семи перинах постлана шелковая постель со множеством подушек в жемчужных наволоках, сверху на них лежала меховая шапка. В ногах — куньи одеяла. У постели стояли липовые бочки с пшеницей, рожью, овсом и ячменем...

— Что ж, так ее и не видал? — спросил Петр.

— Мы с Алешкой челядинцев подкупали и на крышу лазили... Никак нельзя... Невеста в потемках сидит, мать от нее ни на шаг, — сглазу боятся, чтоб не испортили... Сору не велено из ее светлицы выносить... Дядья Лопухины день и ночь по двору ходят с пищалями, саблями...

— Про Софью узнавал?

— Что ж, побесилась, а разве она может запретить тебе жениться? Ты смотри, мин херц, как сядете с молодой за стол, — ничего не ешь, не пей... А захочешь испить, оглянись на меня, я подам чашу, из нее и пей...

Петр опять укусил изорванный платочек:

— В слободу с'ездим? Никто чтоб не узнал... На часок... А?

— Не проси, мин херц, сейчас и не думай об Монсихе...

Петр вытянул шею, раздул ноздри, бледнея:

— Волю взял со мной говорить! (Схватил Алексашку за грудь, — отлетели пуговицы.) Осмелел? (Сопнув, тряхнул еще, но отпустил, и — спокойнее.) Принеси шубу поплоше... Выйду в огород, туда подашь сани...

2

Свадьбу сыграли в Преображенском. Званых, кроме Нарышкиных и невестиной родни, было мало: кое-кто из ближних бояр, да Борис Алексеевич Голицын, да Федор Юрьевич Ромодановский. Наталья Кирилловна позвала его в посаженные отцы. Царь Иван не мог быть за немочью, Софья в этот день уехала на богомолье.

Все было по древнему чину. Невесту с утра привезли во дворец и стали одевать. Сенные девки, вымытые в бане, в казенных венцах и телогреях, пели, не смолкая. Под их песни боярыни и подружки накладывали на невесту легкую сорочку и чулки, красного шелка длинную рубаху с жемчужными запястьями, китайского шелка летник с просторными, до полу рукавами, чудно вышитыми травами и зверями, на шею — убранное алмазами бобровое, во все плечи, ожерелье, — им так стянули горло—Евдокия едва не обмерла. Поверх летника— широкий опашень клюквенного сукна со ста двадцатью финифтяными пуговицами, еще поверх—подволоку, сребротканную, на легком меху мантию, тяжело шитую жемчугом. Пальцы унизали перстнями, уши оттянули звенящими серьгами. Волосы причесали так туго, что невеста не могла моргнуть глазами, косу переплели множеством лент, на голову воздели высокий, в виде города, венец.

Часам к трем Евдокия Ларионовна была чуть жива,—как восковая сидела на собольей подушечке. Не могла даже глядеть на сласти, что были принесены в дубовом ларце от жениха в подарок: сахарные звери, пряники с оттиснутыми ликами угодников, огурцы, вареные в меду, орехи и изюм, крепенькие рязанские яблоки. По обычаю здесь же находился костяной ларчик с рукодельем и другой, медный вызолоченный,—с кольцами и серьгами. Поверх лежал пучок березовых хворостин,—розга.

Отец, окольничий Ларион Лопухин, коего с этого дня приказано звать Федором, то и дело входил, облизывая пересохшие губы: «Ну, как, ну, что невеста-то?» — жиловатый носик окостенел у него... Потоптавшись, спохватывался, уходил торопливо. Мать, Евстигнея Аникитовна, давно обмерла, привалившись к стене. Сенные девки, не евши с зари, начали похрипывать.

Вбежала сваха, махнула трехаршинными рукавами:

— Готова невеста? Зовите поезжан... Караваи берите, фонари зажигайте... Девки-плясицы где? Ой, мало... У бояр Одоевских двенадцать баб плясало, а тут ведь царя женим... Ой, милые, невестушка-то, — красота неописанная... Да где еще такие-то, — и нету их... Ой, милые, бесценные, что же вы сделали, без ножа зарезали... Невеста-то у нас неприкрытая... Самую суть забыли... Покров-то, покров-то где?

Невесту покрыли поверх венца белым платом, под ним руки ей сложили на груди, голову велели держать низко. Евстигнея Аникитовна тихо заголосила. Вбежал Ларион, неся перед собою, как на приступ, благословляющий образ. Девки-плясицы махнули платочками, затоптались, закружились:

Хмелюшка по выходам гуляет,
Сам себя хмель выхваляет:
Нету меня хмелюшка лучше,
Нету меня хмеля веселее...

Слуги подняли на блюдах караваи. За ними пошли фонарщики со слюдяными фонарями на древках. Два свечника несли пудовую невестину свечу. Дружка в серебряном кафтане, через плечо перевязанный полотенцем, Петька Лопухин, двоюродный брат невесты, нес миску с хмелем, шелковыми платками, собольими и беличьими шкурками и горстью червонцев. За ним двое дядьев Лопухины, самые расторопные, — известные сутяги и ябедники, — держали путь: следили, чтобы никто не перебежал невесте дорогу. За ними сваха и подсваха вели под руки Евдокию,—от тяжелого платья, от поста, от страха у бедной подгибались ноги. За невестой две старые боярыни несли на блюдах: одна — бархатную бабью кику, другая — убрусы для раздачи гостям. Шел Ларион в собранных со всего рода мехах, на шаг позади — Евстигнея Аникитовна, под конец валила невестина родня, торопливо теснясь в узких дверях и переходах.

Так вступили в крестовую палату. Невесту посадили под образа. Миску с хмелем, мехами и деньгами, блюда с караваями поставили на

стол, где уже расставлены были солонки, перечницы и уксусницы. Сели по чину. Молчали. У Лопухиных жилы натянулись, высохли глаза, боялись, не совершить бы промаха. Не шевелились, не дышали. Сваха дернула Лариона за рукав:

— Не томи...

Он медленно перекрестился и послал невестину дружку возвестить царю, что время итти по невесту. У Петьки Лопухина, когда уходил, дрожал бритый вдавленный затылок. Трещали лампады, не колебалось пламя свечей. Ждать пришлось долго. Сваха порой щекотила у невесты меж ребер, чтоб дышала.

Заскрипели лестницы на переходах. Идут! Двое рындов, неслышно появясь, встали у дверей. Вошел посаженный отец, Федор Юрьевич Ромодановский. Пуча глаза на отблескивающие оклады, перекрестился, за руку поздоровался с Ларионом и сел напротив невесты, пальцы сунул в пальцы. Снова молчали небольшое время. Федор Юрьевич сказал:

— Подите, просите царя и великого князя всея России, чтобы, не мешкав, изволил итти к своему делу.

Невестина родня переморгнула засохшими веками, глотнула слюни. Один из дядьев вышел навстречу государю. Он уже близился, — молод, не терпелось... В дверь влетели клубы ладана. Вступили: рослый буйноволосый благовещенский протопоп, держа медный с мощами крест и широко махая кадилом, и молодой дворцовый поп, мало кому ведомый (знали, что Петр прозвал его Битка), кропил святой водой красного сукна дорожку. За ними шел ветхий, слабогласый митрополит во всем блаженном чине.

Невестина родня вскочила. Ларион выбежал из-за стола, упал на колени посреди палаты. Свадебный тысяцкий, Борис Алексеевич Голицын, вел под руки Петра. На царе были бармы и отцовские — ему едва не по колена — золотые ризы. Мономахов венец Софья приказала не давать, — Петр был непокрыт, темные кудри расчесаны на пробор, бледный, глаза стеклянные, немигающие, выпяченные желваки с боков рта. Сваха крепче подхватила Евдокию, — почуяла под рукой, как у нее задрожали ребрышки.

За женихом шел ясельничий Никита Зотов, кому было — охранять свадьбу от порчи и колдовства и держать чин. Был он трезв, чист и светел. Лопухины, те, что постарше, переглянулись: князь-папа, кутилка, бесстыдник,—не такого ждали ясельничим... Лев Кириллыч и старый Стрешнев вели царицу. Для этого дня вынули из сундуков старые ее наряды — милого персикового цвета летник, заморским бисером шитый нежными травами опашень... Когда надевала, — плакала Наталья Кирилловна о невозвратной младости. И шла сейчас красивая, статная, как в былые года...

Борис Голицын, подойдя к тому из Лопухиных, кто сидел рядом с невестой, и зазвенев в шапке червонцами, сказал громко:

— Хотим князю откупить место.

— Дешево не продадим, — ответил Лопухин и, как полагалось, загородил рукой невесту.

— Железо, серебро или золото?

— Золото.

Борис Алексеевич высыпал в тарелку червонцы и, взяв Лопухина за руку, свел с места. Петр, стоявший среди бояр, усмехнулся, его легонько стали подталкивать, Голицын взял под локти и посадил рядом с невестой. Петр ощутил горячую округлость бедра, отодвинул ногу.

Слуги внесли и поставили первую перемену кушаний. Митрополит, закатывая глаза, прочел молитвы и благословил еду и питие. Но никто не дотронулся до блюд. Сваха поклонилась в пояс Лариону и Евстигнее Аникитовне:

— Благословите невесту чесать и крутить.

— Благословит бог, — ответил Ларион. Евстигнея только прошевелила губами. Два свечника протянули непрозрачный плат между женихом и невестой. Сенные девки в дверях, боярыни и боярышни за столом запели подблюдные песни — невеселые, протяжные. Петр, косясь, видел, как за шевелящимся покровом суетятся сваха и подсваха, шепчут: «Убери ленты-то... Клади косу, закручивай... Кику, кику давайте...» Детским тихим голосом заплакала Евдокия... У него жарко застучало сердце: запретное, женское, сырое плакало подле него, таинственно готовилось к чему-то, чего нет слаще на свете... Он вплоть приблизился к покрывалу, почувствовал ее дыхание... Сверху выскочнуло размалеванное лицо свахи с веселым ртом до ушей:

— Потерпи, государь, не долго томиться-то...

Покрывало упало, невеста сидела опять с закрытым лицом, но уже в бабьем уборе. Обеими руками сваха взяла из миски хмель и осыпала Петра и Евдокию. Осыпав, омахала их соболями. Платки и червонцы, что лежали в миске, стала разбрасывать гостям. Женщины запели веселую. Закружились плясицы. За дверями ударили бубны и литавры. Борис Голицын резал караваи и сыр и вместе с ширинками раздавал по чину сидящим.

Тогда слуги внесли вторую перемену. Никто из Лопухиных, чтобы не показать, что голодны, ничего не ел, — отодвигали блюда. Сейчас же внесли третью перемену, и сваха громко сказала:

— Благословите молодых везти к венцу.

Наталья Кирилловна и Ромодановский, Ларион и Евстигнея подняли образа, Петр и Евдокия, стоя рядом, кланялись до полу. Благословив, Ларион Лопухин отстегнул от пояса плеть и ударил дочь по спине три раза — больно:

— Ты, дочь моя, знала отцовскую плеть, передаю тебя мужу, ныне не я за ослушанье, — бить тебя будет муж сей плетью...

И, поклонясь, передал плеть Петру. Свечники подняли фонари, тысяцкий подхватил жениха под локти, свахи — невесту. Лопухины хранили путь: девку одну, впопыхах за нуждой хотевшую перебежать дорогу, так пхнули—слуги уволокли едва живую. Вся свадьба пере-

ходами и лестницами медленно двинулась в дворцовую церковь. Был уже восьмой час.

Митрополит не спешил, служа. В церкви было холодно, дуло сквозь бревенчатые стены. За решетками морозных окошек — мрак. Жалобно скрипел флюгер на крыше. Петр видел одну только руку неведомой ему женщины под покрывалом, — слабую, с двумя серебряными колечками, с крашеными ногтями. Держа капающую свечу, она дрожала — синие жилки, коротенький мизинец... Дрожит, как овечий хвост... Он отвел глаза, прищурился на огоньки низенького иконостаса...

...Вчера так и не удалось проститься с Анхен. Вдова Матильда, увидев под'езжавшего в простых санях Петра, кинулась, целовала руку, рыдала, что-де погибают от бедности, нету дров да того-сего, а бедная Анхен третьи сутки лежит в бреду, в горячке... Он отстранил вдову и побежал по лестнице к девушке... В спаленке — огонек масляной светильни, на полу — медный таз, сброшенные туфельки, душно. Под кисейным пологом на подушке раскинуты волосы жаркими прядями, лоб и глаза Анхен прикрыты мокрым полотенцем, жалкий рот обметало... Петр вышел на цыпочках и вдове в судорожные ладони высыпал пригоршню червонных (Сонькин подарок Петру на свадьбу)... Алексашке велено день и ночь дежурить у вдовы, — если будет нужда в аптеку или больная запросит какой-нибудь еды заморской, чтоб достать из-под земли...

Протопоп и поп Битка не жалели ладана, свечи виднелись, как в тумане, иерихонским ревом долголетие возглашал дьякон. Петр опять покосился, — рука Евдокии дрожит не переставая. В груди у него будто вырастал холодный пузырек гнева... Он быстро выдернул у Евдокии свечу и сжал ее хрупкую неживую руку... По церкви пронесся испуганный шопот. У митрополита затряслась лысая голова, к нему подскочил Борис Голицын, шепнул что-то. Митрополит заторопился, певчие запели быстрее. Петр продолжал сильно сжимать ее руку, глядя, как под покровом все ниже клонится голова жены...

Повели вкруг аналоя. Он зашагал стремительно, Евдокию подхватили свахи, а то бы упала... Обрачились... Поднесли к целованию холодный медный крест. Евдокия опустилась на колени, припала лицом к сафьяновым сапогам мужа. Подражая ангельскому гласу, нараспев, слабо проговорил митрополит:

— Дабы душу спасти, подобает бо мужу уязвляти жену свою жезлом, ибо плоть грешна и немощна...

Евдокию подняли. Сваха взялась за концы покрывала: «Гляди, гляди, государь» — и, подскакнув, сорвала его с молодой царицы. Петр жадно взглянул. Низко опущенное измученное полудетское личико. Припухший от слез рот. Мягкий носик. Чтоб скрыть бледность, невесту белили и румянили... От горящего круглого вгляда мужа она, дичась, прикрылась рукавом... Сваха стала отводить рукав: «Откройся, царица, — нехорошо... Подними глазки...» Все тесно обступили моло-

дых. «Бледна что-то!»—проговорил Лев Кириллыч... Лопухины дышали громко, готовые спорить, если Нарышкины начнут хаять молодую... Она подняла карие глаза, застланные слезами, Петр прикоснулся поцелуем к ее щеке, губы ее слабо пошевелились, отвечая... Усмехнувшись, он поцеловал ее в губы, — она всхлипнула...

Снова пришлось итти в ту же палату, где обкручивали. По пути свахи осыпали молодых льном и коноплей. Семечко льна прилипло у Евдокии к нижней губе, — так и осталось. Чистые, в красных рубахах мужики, нарочно пригнанные из Твери, благолепно и немятежно играли на сурьмах и бубнах. Плясицы пели. Снова подавали холодную и горячую еду, — теперь уже гости ели за обе щеки. Но молодым кушать было неприлично. Когда внесли третью перемену — лебедей,— перед ними поставили жареную курицу. Борис Голицын взял ее руками с блюда, завернул в скатерть и, поклонясь Наталье Кирилловне и Ромодановскому, Лопухину и Лопухиной, проговорил весело:

— Благословите вести молодых опочивать...

Уже подвыпившие, всей гурьбой родные и гости повели царя и царицу в сенник. По пути в темноте какая-то женщина, — не разобрать, — в вывороченной шубе с хохотом опять осыпала из ведра льном и коноплей. У открытой двери стоял Никита Зотов, держа голую саблю. Петр взял Евдокию за плечи,—она зажмурилась, откинулась, упираясь, — толкнул ее в сенник и резко обернулся к гостям: у них пропал смех, когда увидели его одичавшие глаза, попятились... Он захлопнул за собой дверь и, глядя на жену, стоящую с прижатыми к груди кулачками у постели, принялся грызть заусенец. Чорт знает, как было неприятно, нехорошо, — досада так и кипела... Свадьба проклятая! Потешились старым обычаем! И эта вот, — стоит девчонка, трясется, как овца! Он потащил с себя бармы, скинул через голову ризы, бросил на стул.

— Да сядь ты... Авдотья... Чего боишься-то?..

Евдокия коротко, послушно кивнула, но взлезть на такую высоченную постель не могла и растерялась. Присела на бочку с пшеницей. Испуганно покосилась на мужа и покраснела...

— Есть хочешь?

— Да, — шопотом ответила она.

В ногах кровати на блюде стояла та самая жареная курица. Петр отломал у нее ногу, сразу — без хлеба, соли — с'ел. Оторвал крыло:

— На.

— Спасибо...

3

В конце февраля русское войско снова двинулось на Крым. Осторожный Мазепа советовал итти берегом Днепра, строя осадные городки, но Василию Васильевичу и заикнуться было нельзя так медлить: скорее, скорее желал он добраться до Перекопа, в бою смыть бесславие.

В Москве еще ездили на санях, а здесь куриной слепотой забар-

хатели курганы, ветер на зазеленевшей равнине рябил пелену поемных озер, кони шли по ним по колена. То и дело в прорывах весенних туч слепило солнце. Ох, и земля здесь была, черная, родящая, — золотое дно! Пригнать бы сюда лесных и болотных мужиков, — по уши ходили бы в зерне. Но кругом — ни живой души, только косяки журавлей, протяжно крича, пролетали в выси. Слезами пленников были политы эти степи, — из века в век миллионы русских людей проходили здесь, уводимые татарами в неволю, — на константинопольские галеры, в Венецию, Геную, Египет...

Казаки хвалили степь: «Здесь урожай шуточное дело — сам двадцать, плюнь — дерево вырастет. Кабы не татары проклятые — понастроили бы мы здесь хуторов». Ратники из северных губерний дивились такой пышной земле: «Эта война справедливая, — говорили, — разве можно, чтоб такая земля лежала без пользы!» Ополченцы-помещики приглядывали места для усадеб, спорили из-за дележа, бегали в шатер к Василию Васильевичу — кланяться: «В случае бог даст завоевать эти места, пожаловал бы, государь, такой-то клин землицы от такой-то балки до кургана с каменной бабой...»

В мае стодвадцатитысячное московское и украинское войско дошло до широкой, обильной пастбищами и водой Зеленой Долины. Здесь казаки привели к Василию Васильевичу языка — крепенького, лоснящегося от загара краснобородого татарина в ватном халате. Василий Васильевич, поднеся платочек к носу, чтоб не слышать бараньего татарского смрада, приказал допросить. С языка сорвали халат, — ощерив мелкие зубы, татарин завертел сизо обритой головой. Угрюмый казак наотмашь полоснул его плетью по смуглым плечам. «Бачка, бачка, мой все говорил» — затараторил татарин. Казаки перевели: «Гололобый бачит, що орда стоит недалече, и сам хан при ней...» Василий Васильевич перекрестился и послал за Мазепой. К вечеру развернутое войско, с конницей на правом и левом крыле, с обозом и пушками посредине, двинулось на татар.

Едва над низкой истоптанной равниной поднялся каравай оранжевого солнца, русские увидели татар. Конные кучки их с'езжались и раз'езжались. Василий Васильевич, стоя на возу, разглядывал в подзорную трубку пестрые халаты, острые шлемы, скуластые зло-веселые лица, конские хвосты на копьях, важных мулл в зеленых чалмах. Это была передовая часть орды.

Отряды конных, поворачивая, с'езжаясь, сбивались в плотную кучу. Поднялась пыль. Пошли! Скача, татары развертывались лавой. Донесся пронзительный вой. Их затягивало пылью, гонимой русским в лицо. Труба задрожала в руках у Василия Васильевича. Его конь, привязанный к возу, шарахнулся, обрывая узду, — из шеи его торчала оперенная стрела... Наконец! — надрывно грохнули пушки, затрещали мушкеты, — все закрылось клубами белого дыма. О панцырь Василия Васильевича звякнуло железо стрелы, — как раз против сердца. Содрогнувшись, перекрестил это место.

Стреляли часа три... Когда развеялся дым, на желтоватой равнине билось несколько лошадей, валялось до сотни трупов. Татары, отбитые огнем, уходили за окоем. Было приказано варить обед, поить коней. Раненых положили на телеги. Перед закатом снова двинулись с великим бережением к Черной Долине, где на речке Колончаке стоял хан с ордой.

Ночью поднялся сильный ветер с моря. Затянуло звезды. Отдаленно ворчало, погромыхивало. В непроглядных тучах открывались невиданные зарницы, озаряя серую равнину — песок, полынь, солончаки. Войска двигались медленно, окружая обоз. В пятом часу раскололось небо и в обоз упал огненный столб, — расплавило пушку, убило пушкарей. Налетел вихрь, валил с ног, рвало епанчи и шапки, сено с телег. Слепя глаза, полыхали молнии. Велено было поднять Донскую божью матерь и обходить войско.

Дождь полил на рассвете. Сквозь гонимую ветром пелену его на правом крыле войска увидали орду: татары приближались полумесяцем. Не давая русским опомниться, опрокинули конницу и загнали передовой полк в обоз. Фитили пушек не горели, на полках ружей отсырел порох. Плеск дождя заглушал крики раненых. Перед тройным рядом телег татары остановились. У них тоже отмокли тетивы луков, и стрелы падали без силы.

Василий Васильевич пеший метался по обозу, бил по зубам пушкарей, хватался за колеса, вырывал фитили. В глаза, в рот хлестало дождем. Все же пушкари ухитрились: накрывшись тулупами, высекли огонь, подсыпали сухого пороху, и — бухнули пушки свинцовыми пульками по татарским коням... На левом крыле отчаянно рубился Мазепа с казаками... И вот протяжно закричали муллы,—татары отступили, скрылись в ненастной мгле.

4

«Государю моему, радости царю Петру Алексеевичу... Здравствуй, свет мой, на множества лет...»

Евдокия измаялась, писавши. Щепоть, все три пальца, коими плотно держала гусиное перо у самого конца, измазала чернилами. Портила третий лист,—либо буквы выходили не те, либо сажала пятна. А хотелось написать так приветливо, чтобы Петенька порадовался письмецу.

Но чернилами на бумаге разве скажешь, чем полно сердце. На дворе,—апрель, березы—как в цыплячьем пуху,—зазеленели. Плывут снежные облака с синими донышками.

Евдокия глядела на них, глядела, и ресницы налились слезами,— должно быть сдуру... Покосилась на дверь, — не вошла бы свекровь, не увидела... Рукавом вытерла глаза. Наморщила лобик:

...чего бы еще написать ему?.. Уехал, голубчик, на Переяславское озеро и не отписывает — когда ждать его назад... А то бы вместе

говели, заутреню стояли бы... Разговлялись... (Евдокия вспомнила курицу, — как ели ее после венчания, — покраснела и про себя засмеялась.) На первый день можно позвать девок—играть на лугу в подкучки, катать яйца... Песни, хороводы. На качелях—смеяться, в жмурки бегать. Написать разве про это?.. Петенька, милый голубчик, приезжай-ай, соскучила-ась... Разве напишешь! — и букв на это нехватит...

Она опять взяла щепотью перо, и, шевеля губами, вывела:

«Просим милости: пожалуй, государь, буди к нам не замешкав... Женишка твоя Дунька челом бьет...»

Перечла и обрадовалась, — очень хорошо написано. Батюшки, оглашенная, — а про свекровь-то не помянула! Переписывай теперь в четвертый раз... Ах, свекровь матушка, Наталья Кирилловна,—суровенькая... Как ни ластись—все чего-нибудь найдет, что неладно... Почему — тоща? И не тоща совсем, все, что надо,—кругленькое... Почему, мол, Петруша на второй месяц от тебя ускакал на Переяславское озеро? Что же ты: затхлая или, может быть, дура тоскливая, что от тебя мужу, как от чумной язвы, на край света надо бежать?.. И не дура, и не язва... Сами виноваты, — зачем допустили к нему Лефорта, Алексашку да немцев, они и сманили на Переяславское озеро, и хуже еще куда-нибудь сманят.

Евдокия сердито окунула перо. Но подняла глаза: сквозь зелень берез жидкий свет падал в раскрытое окно, на подоконнике надувал горло, топтался голубь, и еще какие-то птицы посвистывали... Пахло лугами... И на четвертый чистый листок—кап слезища... Вот наказанье!..

5

Что ни день — письмо от жены или матери: без тебя, мол, скучно, скоро ли вернешься? сходили бы вместе к Троице... Скука старозаветная! Петру не то что отвечать, — читать эти письма было недосуг. Жил он в новорубленной избе на самой верфи на берегу широкого Переяславского озера, где почти оконченные два корабля стояли на стапселях и стрелах. Крыли палубы, кончали резать на корме деревянные морды. Третий корабль, «Стольный град Прешпург», был уже спущен,—тридцать восемь шагов по ватер-линии, с крутым носом, украшенным золоченой морской девкой, с высокой кормой, где сверху пристроена каюткомпания. На плоской крыше ее, огороженной точеными перилами,— адмиральский мостик и большой стеклянный фонарь. Под верхней палубой с каждой стороны в откинутые люки высовывалось по восьми пушек. Сходящиеся кверху борта черно блестели смолой.

Поутру, когда чуть дымилось озеро, трехмачтовый корабль будто висел в воздухе, как на дивных голландских картинах, что подарил Борис Голицын... Ждали только ветра, чтобы поплыть в первый рейс. Как на зло, вторую неделю листок не шевелило на деревьях. Лениво плыли над озером облака с синими донцами. Поднятые паруса только плескались, повисали. Петр не отходил от Картена Брандта. Старику

немоглось еще с февраля, — разрывало грудь мокрым кашлем. Все же, закутанный в тулупчик, он весь день был на верфи, — сердился, кричал, а когда и дрался за леность или глупость. Особым указом пригнали на верфь душ полтораста монастырских крестьян: плотников, продольных пильщиков, кузнецов, землекопов и надежных баб — шить паруса. Полсотни потешных, отписанных от полков, обучались здесь морскому делу: травить и крепить концы, лазить на мачты, слушать команду. Учил их иноземец, выходец из Португалии, Памбург, — крючконосый, с черными, как щетка, усами, злой, сатана, морской разбойник. Русские про него говорили, что будто бы его не один раз за его дела вешали, да чорт ему помог, — жив остался, попал к нам.

Петру бешено нетерпелось. Рабочих чуть свет будили барабаном, а то и палками. Весенние ночи коротки, — многие люди падали от усталости. Никита Зотов не поспевал писать его в. г. ц. и в. к. всея В. М. и Б. Р. с. указы соседним помещикам, чтоб ставили корм, — везли бы на верфь хлеб, птицу, мясо. Помещики с перепугу везли. Труднее было доставать денег. Хотя Софья и рада была, что братец забился еще далее от Москвы, где бы ему — перевернуться на потешном корабле, но денег в Приказе Большого Дворца — кот наплакал: все поглотила крымская война.

Когда случалось Францу Лефорту вырваться со службы и прискакать на Переяславскую верфь, — начиналось веселье. Он привозил вин, колбас, сластей, и, — с подмигиваньем, — поклон от Анны Монс: выздоровела, еще краше стала и просит-де милости герра Петера — принять в подарок два цитрона.

В новорубленной избе в обед и ужин щедро поднимали стаканы за великий переяславский флот. Придумали для него особенный флаг в три полотнища: белое, синее и красное. Иноземцы пускались рассказывать про былые плаванья, бури и морские битвы. Памбург, расставив ноги, скрестив руки, шевеля страшными усами, кричал по-португальски, — будто и в самом деле на пиратском корабле. Петр пил эти речи глазами и ушами. Откуда бы ему, сухопутному, так любить море? — немцы дивились. Но он по ночам, лежа на полатях рядом с Алексашкой, во сне видел волны, тучи над водяным простором, призраки проносящихся кораблей.

Калачом не заманить в Преображенское. Когда очень досаждали с письмами, — отписывался:

«Вселюбезнейшей и паче живота телесного дражащей моей матушки царице Ниталье Кириловне, недостойный сынишка твой Петрунька, в работе пребывающей, — благословеня прошу, а о твоем здравии слышеть желаю. А что изволила мне приказывать, чтоп мне быть в Преображенском, и я быть готоф, только гей гей дело есть: суды все в отделке, за канатами дело стоит. И о том милости прошу, чтоп те канаты по семисот сажен ис Пушкарского приказу не мешкав прислали бы. И с тем житье наше продолжица. По сем паки благословения прошу. Недостойный Петрус».

6

Теперь мимо избы Ивашки Бровкина ходили — снимали шапку. Вся деревня знала: «Ивашкин сын — сильненький, у царя правая рука, Ивашке только мигнуть—сейчас ему денег сколько нужно,—столько отсыпет». На Алешкины деньги (три рубля с полтиной) Бровкин купил телку за полтора рубля, овцу — три гривенника с пятаком, четырех поросят по три алтына, справил сбрую, поставил новые ворота и у мужиков под яровое снял восемь десятин доброй земли, дав рубль деньгами, ведро водки и обещав пятый сноп с урожая.

Стал на ноги человек. Подпоясывался не лыком по кострецу, а добрым московским кушаком под груди, чтоб выпирал сытый живот. Шапку надвигал на самые брови, бороду задирал. Такому поклонишься. И еще говорил: «Погодите, по осени с'езжу к сыну, возьму денег, — мельницу поставлю». Волковский управитель хотя и не величал его по отчеству, но уже не тыкал Ивашкой, а звал уклончиво Бровкиным. От барщины освободил.

Три его сына уже хозяйствовали. Старший, Яшка, вышел в отца— коренастый, взор исподлобья, лютый до работы. Гаврилка — поплоше, с придурью, — должно быть, отбили ему еще маленькому затылок. Меньшой, Артамошка, — в мать: задумчивый, странный, но — захочет — ловок на все руки. Дочь, Саньку, еще прошлой осенью собирались крутить, да всех женихов угнали на войну. Ну, а теперь, — на, выкуси: Саньку не отдадим за деревенского холопа, кабального, — найдем в Москве купеческого сына...

В июле прошел слух, что войско возвращается из Крыма. Стали ждать ратников — отцов и сыновей. По вечерам бабы выходили на пригорок — глядеть на дорогу. От бродящего божьего человека узнали, что в соседних деревнях действительно вернулись. Начали бабы плакать: «наших-то побили...» Наконец, появился на деревне ратник,— Цыган, весь зарос железной бородой, глаз выбит, рубаха, портки сгнили на теле.

Бровкин с семьей ужинали на дворе, хлебали щи с солониной. В ворота постучали: «Во имя отца и сына и святого духа...» Ивашка опустил ложку, подозрительно поглядел на ворота:

— Аминь,—ответил. И—громче:—Мотри, у нас кобели злые, поостерегись.

Яшка отодвинул щеколду и вошел Цыган. Оглядел двор, семейство и, раскрыв рот с выбитыми зубами, гаркнул хрипло, не то засмеялся:

— Здорóво. — Сел на чурбан у стола. — На воздухе ужинаете? В избе что же, мухи что ли надоедают?

Ивашка зашевелил бровями. Но тут Санька самовольно пододвинула Цыгану чашку со щами, вытерла передником ложку, подала:

— Откушай, батюшка, с нами.

Бровкин удивился Санькиной смелости... «Ужо, — подумал, — за косы как возьму!.. Эдак-то всякому кидать наше добро...»

Но спорить постеснялся. Цыган был голоден, ел,—жмурился...

— Воевали? — спросил Бровкин.

— Воевали... (И опять — за щи. Ломоть хлебушка в три куса с'ел... Ай-ай...)

— Ну, как, все-таки? — повертевшись на скамье, опять спросил Бровкин.

— Обыкновенно. Как воюют, так и воевали.

— Одолели татар-то?

— Одолели... Своих под Перекопом тысяч двадцать уложили, да столько же — когда назад шли...

— Ах, ах, — проговорил Ивашка, качая головой. — А у нас говорят: хан покорился нашим...

Цыган усмехнулся:

— Ты тех, кто в Крыму гнить остался, спроси, как нам хан покорился... Едва ноги унесли... Жара, воды нет, слева — гнилое море, справа — Черное, пить эту воду нельзя, колодцы татары падалью забили... Стоим за Перекопом—ни вперед, ни назад. Люди, лошади, как мухи дохли... Повоевали...

Цыган разгреб усы, вытерся, поглядел кровяным глазом и другим—мертвыми веками—на Саньку: «Спасибо, девка...» Облокотился:

— Иван... Я в поход уходил — корова у меня оставалась...

— Да. мы говорили управителю: вернешься, как же тебе без коровенки-то? Не послушал, взял.

— Так... А свиньи? Боров, две свиньи, — я мир просил за ними присмотреть...

— Глядели, голубок, глядели... Управитель столовыми кормами нас дюже притеснил.. Мы думали — может, тебя на войне-то убьют...

— И свиней моих Волков сожрал?

— Скушал, скушал.

— Так... (Цыган залез в нечесанные железные волосы, поскреб.) Ладно... Иван!

— Аюшки?

— Ты помалкивай, что я к тебе заходил.

— А кому мне говорить-то? Я и так помалкиваю.

Цыган встал. Покосился на Саньку. Тихо пошел к воротам. И там с угрозой:—Смотри, помалкивай, Иван... Прощай.—И скрылся. С тех пор его и не видели на деревне.

7

Овсей Ржов стоял у ворот харчевни, что на Варварке, считал деньги в ладони. Пошатываясь, сбивался, хотя деньги были небольшие. Подошли стрельцы Пыжова полка — Чермный, Кондратьев и Гладкий...

— Здорово, Овсей.

— Брось полушки считать, пойдем с нами.

Кондратьев, наклонившись, шепнул:

— Поговорить нужно, нехорошие дела слышны...

Чермный звякнул в кармане крупным серебром. Гладкий захохотал:

— Погулять хватит...

— А вы, ребята, не ограбили кого? — спросил Овсей. — Не пойду гулять на грабленные деньги... Ах, стрельцы, что вы делаете!..

— Дурак, — сказал Чермный, — зачем нам грабить, мы на карауле во дворце стояли. Понял? — И все трое захохотали опять. Повели Овсея в харчевню. Сели в углу. Суровый старец — целовальник — принес штоф вина и свечу. Кондратьев сейчас же свечу погасил. Склонившись головами, начали слушать, что шептал Чермный:

— Жалко, тебя, Овсей, не было с нами на карауле. Стоим... Выходит к нам Федор Левонтьевич Шакловитый. «Царевна, — говорит, — Софья Алексеевна за вашу верную непорочную службу жалует по пяти рублев...» И подает мешок серебра... Мы молчим, конечно, — к чему, мол, он клонит? И он, слышь, так-то горько вздохнул: «Ах, говорит, стрельцы, слуги верные, недолго вам жить с женами на богатых дворах за Москва-рекой...»

— Это как так недолго? — испугавшись, спросил Овсей.

— А вот как... «Хотят, говорит, вас, стрельцов, перевести, разослать по городкам, меня высадить из стрелецкого приказа, а царевну Софью сослать в монастырь... И мутит всем старая царица Наталья Кирилловна... Она и Петра для того женила... По ее, говорит, наговору слуги,—только мы не можем добиться кто,—царя Ивана поят медленным зельем, двери ему завалили дровами и поленьями, и ходит он через черное крыльцо... Царь Иван не жилец на этом свете... Кто будет вас, стрельцов, любить? Кто заступится?»

— А Василий Васильевич? — спросил Овсей...

— Одного они человека боялись, — Василия Васильевича. А ныне бояре его с головой хотят выдать за крымское бесчестье... Накачают нам Петра на шею...

— Ну, это тоже... Погодят! Нам по набату не в первый раз подниматься...

— Тише ори, — Чермный притянул Овсея за ворот и — едва слышно:—Одним набатом нам не спастись, хоть и всех побьем, как семь лет назад, а корня не выведем... Надо уходить старую царицу медведицу... И медвежонку чего спускать? За чем дело стало? И его на рогатину, — надо себя спасать, ребята...

Темны, страшны были слова Чермного. Овсей задрожал. Кондратьев налил из штофа в оловянные стаканчики. Гладкий сказал:

— Это дело без шума надо вершить... Нас четверо, да еще четверых... Эх, мне бы с царем Петром с'ехаться, мы бы не раз'ехались...

8

Стрелецкие полки уже давно разместились по слободам, ополченцы-помещики с холопами вернулись в усадьбы, а по Курской, Рязанской и Смоленской дорогам все еще брели в Москву раненые, калеки и беглые. Толпясь на папертях, показывали страшные раны и с воем протягивали милосердным людям обрубки рук, отворачивали мертвые веки...

— Щупайте, православные, вот она стрела в груди...

— Милостивцы, оба глаза мои вытекли, по голове шелопугой били меня бесчеловечно, — о-оо!

— Нюхай, купец, гляди, по локоть рука сгнила...

— А вот у меня из спины ремни резали...

— Язвы от кобыльего молока... Жалейте меня, благодетели!..

Ужасались добрые прихожане на такое невиданное калечество, раздавали полушки. А по ночам в глухих местах находили людей с отрезанными головами. Грабили на дорогах, на мостах, в темных переулках. Толпами искалеченные воины тянулись на московские базары.

Но несытно было и в Москве. В гостиных рядах много лавок позакрылось, иные купцы обезденежели от поборов, иные до лучшего времени припрятывали товары и деньги. Все стало дорого. Денег ни у кого нет. Хлеб привозили с мусором, мясо червивое. Рыба и та стала будто бы мельче, постнее после войны. Всем известный пирожник Заяц выносил на лотке такую тухлятину,—с души воротило. Появилась дурная муха, — от ее укусов у людей раздувало щеки и губы. На базарах — не протолкаться, а смотришь — продают одни банные веники. Озлобленно, праздно, голодно шумел огромный город.

9

Михаил Тыртов, осаживая жеребца, поправил шапку. Красив, наряден, — воротник ферязи выше головы, губы крашены, глаза подведены до висков. Кривая сабля звенит о персидское стремя. С крыльца к Михаилу перегнулся Степка Одоевский:

— Ты прислушайся, что говорят... Не послушав, — не кричи.

— Ладно.

— Так и руби: царица, мол, да Лев Кириллович весь хлеб скупили. Москву нарочно голодом морят.. Да про дурную муху не забудь,— с ихнего, мол, волшебства...

— Ладно...

Тыртов взглянул холодными глазами между ушей жеребца, нагнулся и во весь мах пустил его в открытые ворота. На улице обдало пылью, вонью. Какой-то бродяга, по пояс голый, в багровых пятнах, закричал, расталкивая народ, чтобы кинуться под копыта. Тыртов вытянул его нагайкой. Со всех сторон полезли к богатому боярину, про-

тягивая земляные, шелудивые ладони... Нахмурясь, подбоченясь, Михаил медленно пробирался в плотной толпе.

— Нарядный, поделись...

— Кинь полушку...

— Вот я ртом поймаю...

— Дай деньгу, дай, дай...

— Смотри дерьмом замажу, — дай лучше...

— Горсть вшей продам! Купи — даром отдам!

— Топчи меня, топчи, жрать хочу...

— Дай, дай, дай...

Конь, беспокоясь, грыз удила, косился гордым зрачком на машущие лохмотья, пыльные, вз'ерошенные головы, страшные лица. Все наглее лезли нищие и бродяги. Так он проплыл до конца Ильинки. Здесь на столбе под иконкой была прибита грамота. Какой-то благообразный человек, перекрикивая, читал:

«Мы, великие государи, тебя, ближнего боярина и оберегателя, князя Василия Васильевича Голицына, за твою к нам многую и радетельную службу, за то, что такие свирепые и исконные креста святого и всего христианства неприятеля твоею службою не нечаянно и никогда неслыханно от наших царских ратей в жилищах их поганских поражены и побеждены и прогнаны...»

Хрипучий голос из толпы:

— Кто поражены, побеждены? Мы али татары?

— Написано — татары...

— Написано... Хо-хо... А где их победили, когда?

— Мы их и в лицо-то не видели в Крыму...

— Врешь,—видели, когда бежали от них без памяти...

— А кто этот дурак, — грамоту читает?

— Под'ячий из Кремля...

— Какой он к чорту под'ячий, — голицынский холоп, самый пес верный...

— Ну-ка, потяни его за полу...

Благообразный человек, срывая голос, читал:

«...татары сами себе и жилищам своим явились раззорителями, в Перекопи посады и села пожгли и, исполнясь отчаяния и ужаса, со своими погаными ордами тебе не показались... И что ты со своими ратными людьми к нашим границам с вышеописанными славными во всем свете победами, не хуже Моисея, изведшего израильских людей из земли Египетской, возвратился в целости, — за все то милостиво и премилостиво тебя похваляем...»

Кривой человек с железными волосами опять крикнул:

— Чтец, а про меня в грамоте не прописано?

Засмеялись. Кое-кто, выругавшись, отошел. Ком грязи ударился в грамоту... «Стража!»—закричал чтец, загородясь рукой... Тыртов, раздвигая конем народ, стал пробираться к кривому. Но Цыган только ощерил на него осколки зубов и пропал. Кто-то схватил за узду: «Вот

этого бы раздеть!..» Кто-то шильцем кольнул коня,—тот забил, храпя, взвился. Свистнули по-разбойничьи. Камень, пролетев, царапнул щеку. Под рев, свист и гиканье Тыртов вылетел из толпы.

У Никольских ворот он увидел верхами Степку Одоевского и бледного горбоносого человека с красивыми усиками. По неживым складкам одежды было заметно, что под ферязью на нем—кольчуга. Тыртов сорвал шапку и поклонился до конской гривы Федору Левонтьевичу Шакловитому. Умное лицо его было хмуро, нижняя губа плотно прикрывала верхнюю. Недобро щурился на толпу. Одоевский спросил:

— Ты кричал им, Мишка?

— Поди сам покричи... (У Тыртова бешено горели щеки.) Им, дьяволам голодным, все равно, — что царевна Софья, что Петр... Стрельцов бы сюда сотни две — разогнать эту сволочь, — и весь разговор...

— Половчее к ним надо послать человека, — сквозь зубы сказал Шакловитый, — подбивать их итти в Преображенское за хлебом... Пускай народ потешные разгоняют... По царя Петра приказу немцы русских режут, — так мы и скажем... (Одоевский засмеялся.) Ступайте, не мешкая, в слободу, кричите стрельцам про это... А я пошлю на базары надежных людей... Народ надо из Москвы удалить, большого набата нам не надо, с малым набатом, с одними стрельцами справимся...

Конец первой части

(*Вторая часть повести будет напечатана в 1930 году*)

Перевозчик

Рассказ

П. СЛЕТОВ

1

Весь берег качался под высоким пристанным керосино-калильным фонарем. Свет кидался то вправо, то влево, фонарный столб как-будто пульсировал — падал и восставал.

Старая отбродившая свой век баржа, служившая теперь плавучей пристанью, была полна грудами мешков, взлезших друг на друга, ворочавшихся под неверным светом, как свиное стадо. Из-за мешков, из-за баржи трудно было различить небольшой пароход, кончавший погрузку, только желтый фонарь на его мачте несмело и не всегда удачно ловил броски бурого дыма, выхватываемого ночным ветром из низкой трубы.

На берегу, возле пристанной сторожки, ходил вокруг телеги и, поправляя рядно, шуршал хрустким сеном мужик, только-что ссадивший запоздалого пассажира. Он беспокойно поглядывал на пароход и, как только заметил своего седока бегущим по сходням, выхватил из телеги в подол своего чапана четыре больших темно-зеленых арбуза и понес ему навстречу.

— Ну, спасибо, теперь все, — говорил тот, наскоро принимая арбузы в охапку. — Счастливо оставаться, куме поклон...

И торопливой, пригибающейся от тяжести походкой побежал назад к пароходу.

В это время слабый спиральный свист капитанского свистка долетел к берегу. Пассажир дрогнул и, еще больше пригибаясь, взбежал на зыбкие сходни. Пароход вздохнул коротким жестяным вздохом гудка и сразу стих вместе со стихшим на мгновенье ветром. В тишине торопливые шаги пассажира стучали по сходням бестолково и упрямо. И вдруг остановились: один из арбузов, самый большой, самый тяжелый, выскользнул из обессилевших рук и, минуя перила, упал с сильным всплеском в воду.

Пассажир осел, сделал еще два шага, тихонько сложил оставшуюся ношу на палубу баржи и, живо обернувшись, лег грудью на

сходни. На недалекой поверхности воды, вынырнув после падения, блестел жирной глянцевитой своей кожурой арбуз.

Пассажир вытянул до предела руку, концы его пальцев едва доставали макушку арбуза, погруженного на три четверти в воду, вертевшегося и казавшегося головой ныряющего негра.

С парохода, как спички, чиркнули новые свистки, через мешки кувырком перемахнул командный голос капитана, по баржевой палубе долетел грохоток шагов, и двое матросов подбежали к лежавшему пассажиру:

— Что такое?! В чем дело?

Пассажир вскочил, отряхиваясь от пыли.

— Да ничего особенного... Арбуз у меня упал в воду.

Матросы нехотя глянули вниз. Тихонько покачиваясь, арбуз уходил по течению.

— Глупостями тут, гражданин, занимаетесь, — сказал пожилой, — пароход из-за арбуза задерживаете.

— Пхни его самого в воду, чтоб я не зря круг тащил! — крикнул молодой, закидывая на плечо белый спасательный круг; отчетливые буквы «Ушкуйник» пробежали с живота за спину и повисли, зацепившись за матросскую голую шею.

Незадачливый пассажир наклонился за оставшимися арбузами, и все ушли, вмялись в серое стадо мешков. Навстречу уже забилась машина, захлопала лопастями колес по воде, как-будто огромная красная дичь, собираясь взлететь, взмахнула крыльями, задевая о воду. «Ушкуйник» отвалил.

2

— Вот вам и развлечение, — сказал тогда своему спутнику немолодой человек в коверкотовом пальто и в фуражке с молоточками, полузевнув и поставив на песок кожаный чемодан. Он следил за удаляющимися огнями парохода и перебрасывал взгляды на противоположный берег широкой реки, на едва мерцавшие там светы завода. Глаза его щурились несколько брезгливо, а рука шарила по полному животу, ища карман с часами.

Спутник, светлейший блондин в круглоколесых очках, вздохнул, сгоняя улыбку воспоминания, расстегнул плащ и оглянулся на шумевшие ветлы. Купаясь в световой качке, они не знали, как рассыпаться— серебром ли заломленных листьев или сразу буреломом взлохмаченных, смятых, вздыбленных ветвей.

С пристани подошел, кадя ручным фонарем, сторож в полушубке и сказал, старчески медленно кланяясь:

— С приездом, Георгий Палыч. Лодки дожидать будете? Не скоро, поди, часа через три...

— Здравствуешь, Харлампий, — отвечал инженер. — Часа через три, через четыре.

И спросил о том, что и сам знал:

— Что это там случилось?

— Да как же — арбуз упустил... Колгота с ними, с пассажирами. Что бы приехать раньше?.. глядишь, из-за арбуза сам в воду упанет. Долго ли?

— А арбуз-то поплыл в Тарасовку, нагонять хозяина? — подхватил инженер.

— Нет... Он тут, возле пристани, там доска от нее к берегу лежит... Задержит.

— А ты бы достал. Арбуз большой.

Сторож махнул рукой.

— Кому он нужен. Их, арбузов, нонешнее лето—ешь не хочу... Самоварчик вздуть или приляжете, отдохнете до лодки?

Весь этот разговор мотало, носило вокруг говоривших и срывало ветром в темноту, чтоб закатать, свалять с другими сыпучими шумами и умчать прочь...

Сторож подхватил чемоданы, и приезжие вошли в сторожку, сразу как-будто заткнувшую их уши ватой от шумов ночного ветра.

Старик зажег десятилинейную лампу и ушел, оставив их в небольшой комнате, где на стенах, среди расклеенных расписаний пароходного движения, гордо плыли во всех направлениях по лазурным нарисованным волнам трехярусные пароходы. В сторожке пахло теплой гнилью прелого дерева, как пахнет в старых купальнях или на баржах.

— Товарищ Рекке, я открою с вашего разрешения форточку,— говорил инженер.—Проветрим перед сном, сейчас самовар поспеет— попьем чая...

В форточку ворвался и заполоскал беспокойный ручей сырого ветра. Инженер раскрыл чемодан и, доставая зубровку, продолжал:

— Здесь, видите ли, я начинаю чувствовать себя немного хозяином и стараюсь, как умею, смягчить ваше пребывание у нас. Досадно, но это каждый раз приходится ожидать перевозчика, до сих пор не можем добиться причала пассажирских пароходов к нашей пристани... Впрочем, может быть, с вашей точки зрения это хорошо и облегчит расследование?

Рекке неопределенно кивнул головой.

— Все равно.

Ему не нравился слегка иронический тон инженера, когда речь касалась дела, ставшего причиной вызова следователя на завод. Впрочем, инженер не улыбался, только в глазах его бегал веселый зайчик. Один лишь раз он разрешил себе вольность, — это когда при первом же знакомстве в губернском городе спросил:

— Вы давно ли работаете, товарищ Рекке? И каковы ваши приемы: с собакой поедете или, подобно Холмсу, обнаружите преступника путем дедуктивных умозаключений?

К этой фразе его толкнул мальчишеский вид командированного следователя. Но Рекке посмотрел исподлобья, надел свои огромные очки, стал необыкновенно упрям лицом,—и инженер тут же спохватился, закончив:

— Словом, я к вашим услугам.

Дорогой он был очень любезен и разговорчив, все больше оживляясь по мере приближения к концу пути. Он любил этот маленький завод, в котором хлопотливо директорствовал с начала постройки, то-есть с пятнадцатого года. Заложенный с военными целями, завод, не выпустив ни одного снаряда, был потом переоборудован для мирных нужд, и директор знал и помнил историю каждого шкива, каждой гайки. Он относился к заводу спокойно и тепло, как к своему дому на заводской территории, как к своему деловому, продуманному в обстановке кабинету. И его не тревожила пропажа каких-то приборов: он знал, что в большом деле всегда найдется вор, приборы устарели и были в работе уже не нужны, но то, что кража была не первой, побудило его при поездке в город просить расследования.

А Рекке, обиженный первой фразой директора, старался избегать встречи глазами, крепко сжимал губы и шевелил мускулами скул. Ему особенно хотелось провести дело быстро и успешно, отомстив как-то этим за давешнюю насмешку. Он коротко и односложно отвечал директору и неохотно сел по его предложению за стол. Но в директорском чемодане оказались балыки и телятина, слюнные железы Рекке внезапно набухли жадно, до боли, и Рекке уступил.

Директор угощал с тем ненавязчивым хлебосольством, с каким угощают люди, привыкшие сидеть всегда за столом с семьей сам-пять или сам-семь. Он, не спрашивая Рекке, наливал ему рюмку за рюмкой, а когда тот на четвертой отказался пить, не стал его уговаривать и опрокинул в одиночестве еще рюмки три.

В комнату, торопливо ступая босыми ногами, вошла с парящим самоваром в руках дочь Харлампия. Детские белые мячики играли под ее кофтой, она поставила самовар на стол и остановилась вполоборота к приезжим, поправляя платок.

— Здравствуйте, — сказала она тихо, — яичек сварить?

Директор поднятыми бровями переспросил Рекке и ответил:

— Яиц не надо. Здравствуй, Мариша. Садись к нам хозяйничать.

Мариша в смущении покачивала животом, повесив руки. Темные глаза ее были потуплены и дико расширены.

— Небось, обойдетесь, — прошептала она и затем добавила громко: — если чего нужно будет, тогда кликнете.

И, бросив быстрый взгляд на Рекке, вышла, подгибая под собой половицы.

— Ну, чем не Помона, — сказал директор и тут же крикнул: — Мариша, соли!.. У нас, производственников, есть одна радость, которая совершенно незнакома вам, людям иных профессий...

Директор закурил, выбросил спичку в форточку и, глядя через стекла в темноту ночной реки, стал говорить, мало-по-малу утрачивая представление о том, кто такой его собеседник. Он даже перестал подшучивать над его молодостью и над его способностями криминалиста и советского детектива. Казалось, он спорил с городом, откуда

только-что вернулся, спорил со всем, что не является заводом или его частью. Вынужденное безделье побуждает иных людей к угрюмости и молчанию, а иных к словоохотливости. Директор принадлежал к последним.

— Я твердо знаю, — говорил он, — и каждый из нас знает, что все, что мы делаем, мы можем потрогать пальцем. Какую-нибудь ферму моста, сделанную по моему расчету, я могу видеть и наблюдать, как она сопротивляется тяжести поезда, вкатившегося на мост, и как поднимает его... Вот около вашего учреждения есть ремонтная мастерская, оборудованная по моим расчетам лет двадцать тому назад. Небольшое дело, но стоит. Стоит и будет еще десятки лет стоять! Может быть, ее переоборудуют, перестроят, но все же хоть часть стен останется из того кирпича, который был свезен туда силой моей работы. Вечность или отрицание ее — это игра в понятия. Я считаю вечным то, что вижу и осязаю каждый раз, проходя мимо.

— Напрасно вы думаете, — возразил Рекке, — напрасно вы думаете...

— Я заранее предвижу, что вы мне скажете, — живо перебил его директор. — Общественная работа, искусство, политика, науки... Но вы можете только угадывать результаты своей работы и почти никогда видеть, трогать. А не забудьте, что мать начинает любить своего ребенка только через прикосновение его губ к ее сосцам...

Директор был возбужден. Он говорил о своем заводе, об огромном культурном влиянии, которое оказал завод на округу, и всему он противопоставлял Рекке, говоря ему «вы». Он снял фуражку и нетерпеливо вертел седеющей на короткой толстой шее головой.

Директор и следователь проговорили около часа. Впрочем, Рекке больше молчал, глаза его слипались, он возражал все реже и реже.

А рассвет медлил. По крыше бегал все тот же ветер. Наконец, Рекке встал и сказал:

— Нужно спать. Если вы ляжете на ту скамейку, то я на эту.

— Ложитесь, — отвечал директор, обидчиво, круто оборвав разговор.

3

На рассвете Харлампий вошел и громко сказал:

— Георгий Палыч, лодка дожидается.

Рекке не проснулся. Директор поднял голову с маленькой дорожной думки — посмотрел на часы. Было без четверти четыре. В окна протекал утренний еще не рассеянный свет.

— Сейчас, — сказал директор. — Моторная?..

— Ялик, — отвечал Харлампий.

— Вели подождать.

Директор натянул на голову край своего пальто и поправил под собою плед. Ему не давали покоя комары, и он только-только задремал перед приходом Харлампия. Кутая голову, он заметил сейчас ка-

завшееся без очков детским лицо Рекке, его белобрысые добродушные брови, такие упрямые в бодрствующем состоянии. Над левой бровью сидели два до отвала напившиеся крови комара.

«Ос-сел чилийский» — подумал директор с раздражением и злорадством, снова опуская голову на подушку.

Прошло еще часа два. На реке мимоходом просвистал пароход, глухо завозилась, запыхтела далекая землечерпалка.

Наконец, приезжие зашевелились. Рекке сбросил ноги и, почесывая комариные укусы, уставил замутившиеся сном глаза в окна, — река уже вздрагивала и поводила серебряной кожей, как белая лошадь, спугивающая мух, ветер, казалось, сильно спал. Директор укладывал в чемодан постель и доставал мыло и полотенце. Лицо его набухло, отекло от неудобного сна в сырой сторожке, стареющее тело жаловалось на вялость и ломоту. Он был раздражен и стремился перенести все свое раздражение на ночной разговор, оставивший в нем след какой-то неудачи. Но совсем внезапно при взгляде в окно он нашел другой исход своей досады: врезавшись килем в береговой песок и слегка накренившись на один борт, стоял ялик, а на борту его сидел гребец, сухой загорелый парень в ветхой белой рубахе и серых засученных по колена штанах. Недалеко на песке стояла, улыбаясь, живогрудая Мариша, они о чем-то говорили, и директор заметил, как под тяжелым ее телом матовый, сырой, гладкий песок осел и покрылся глянцем выступившей воды.

— Эй, лодочник! — крикнул директор.

Гребец встал и подошел к окну.

— Почему не моторная? — спросил директор.

— Винт поломался, в ремонт сдана.

— Кто ездил?

— Товарищ Синицкий.

Архитектор Синицкий ездил, очевидно, как было условлено, за сезонными рабочими. Возражать было нечего.

— Ну... иди, — сказал директор, — придется еще с полчаса подождать.

И отвернулся, отошел от окна с обиженными губами.

— Не успеешь уехать, всегда что-нибудь изгадят, — сказал он Рекке.—Я задержусь минут на двадцать, побреюсь... Привычка, знаете ли. А вы, может быть, искупаетесь тем временем?

Давеча директор думал совсем о другом. Ему хотелось самому освежиться купаньем, он даже и полотенце достал для этого, но, говоря с гребцом, он увидел, что блеск реки холодный, отражающий все еще ветреное светлое небо, что солнце смотрит сквозь быстро несущиеся облака, — и сразу купаться расхотелось. Но гребцу он сказал подождать и теперь нужно было об'яснить задержку Рекке. Самовар стоял еще на столе, ветер, задувавший в окна, вывевал из-под решетки его остывший легкий пепел. Директор вынул бритвенные принадлежности и стал бриться, испытывая неприятнейшие ощущения от

прикосновения мыла, разведенного в холодной воде. Директор переживал то, что переживает человек, выполняющий чужую, неприятную ему волю, но внезапно осознавший, что его никто не заставляет и делает себе неприятности он сам.

Рекке вышел к реке. Директор видел, как Рекке, нерешительно посматривая на воду, сел на полусгнивший причальный столб и закурил. Гребец попрежнему сидел на борту ялика, болтая в воде босой ногой, и «любезничал», как про себя заметил директор, с Маришей. Но, очевидно, нерешительная поза Рекке навела гребца на мысль подать пример. Внезапно он скинул с себя дырявую косоворотку и штаны, одетые прямо на голое дочерна загоревшее тело. Мариша не отвернулась, не ушла, а, наоборот, перешагнула борт и уселась в лодке на скамеечку и, пока гребец входил в воду, спокойно разглядывала его наготу.

Директор ревниво подумал, что вот та же Мариша наверное не вышла бы из сторожки, купайся Рекке с директором. А тут...

— Бытовое бесстыдство, — решил директор.

Парень бултыхнулся в воду головой вперед и поплыл саженками, каждым взмахом легко выбрасывая себя из воды до половины спины. Затем он скрылся за пристанью и внезапно вынырнул между берегом и бортом баржи, отфыркиваясь.

— Мариша! — крикнул он, осмотревшись. — Сейчас завтракать будем, я сома поймал. Пуда полтора ушло, полпуда осталось... Лови!

И он подбросил в воздух тяжелый арбуз, уйдя сам головой в воду. Затем, снова вынырнув, подталкивая впереди себя темно-зеленый шар, он доплыл до мелкого места и выбежал из воды, на ходу прижимая арбуз к уху и выслушивая его на треск.

— Дурной, я думала правда сома, — крикнула навстречу Мариша и добавила что-то нерасслышанное директором, но, должно быть, смешное и озорное, потому что Рекке, сидя невдалеке, усмехнулся, а Мариша взглянула на него и прыснула тихонько. Гребец стоял перед Маришей, тело его, темное, как табачный лист, струилось светлячками капель, сбегавших вниз, он наклонился к Марише и ответил ей, должно быть, в тон, не менее острое, потому что она подняла ивовый прут и слегка хлестнула его поперек тела. Он, не обращая внимания, вытирал лицо своей рваной косовороткой, а затем мгновенно оделся и вытащил из-под кормового сиденья лодки кусок черного хлеба, завернутый в тряпицу. Арбуз он надколол ударом о борт ялика, а затем принялся ломать его руками на рваные крупные куски. Ели вместе — Мариша и он, — вгрызаясь зубами в красное мясо арбуза, похожее на подтаявшее мороженое, громко всхлипывая, обливаясь соком. Куски ходили из рук в руки, зеленые корки летели в воду, челюсти работали.

Директор, бреясь у окна, не мог оторвать от них глаз, против своей воли наблюдая и отмечая в мыслях:

— Вот животные... Словно их два года не кормили...

Наконец, гребец кончил, умылся речной водой, утер рукавами лицо. Кончила и Мариша, хозяйственно увязав остатки хлеба в тряпицу. Потом гребец ткнул ее в бок, она взвизгнула и бабьим неловким кулаком отмахнулась на него.

— Ох, Мариша, от замаха рука сохнет! — скороговоркой крикнул гребец, смеясь, и накрепко облапил ее, насильно сажая рядом с собой на борт лодки.

Она отбивалась, отстранялась, но больше для вида, и вдруг тяжело рухнула, подминая его под себя, на дно лодки. Довольно долго над бортом виднелись только болтающиеся ноги, потом они успокоились, повиснув рядышком, — можно было угадать, что Мариша улеглась рядом с гребцом, смотрят они в синее небо и о чем-нибудь несложно толкуют, а может быть, и просто сопят, потихоньку тиская друг друга.

Кончая бритье, директор сказал вошедшему сторожу:

— Ты бы, Харлампий, за дочкой присмотрел, а то без спроса замуж выйдет.

— Я того не касаюсь, — отвечал Харлампий, сделавшись строг лицом, — что за порогом, то мне без интереса. Женихам в поле счета не ведут.

— Дело твое, как знаешь... Поднеси-ка вот чемоданчик.

И директор хрустнул новыми светлыми его замками.

4

Переправлялись долго. Верховой ветер и быстрое течение сносили лодку. Гребец правил наискосок, лодка ритмично покачивалась, поскрипывали уключины, река, походя, вила жгуты из облачного хлопка, плела сети, рвала их голубыми дырьями и морщилась вдалеке черненым серебром.

Приезжие сидели рядом на корме, лицом к гребцу, директор плохо побрился и заканчивал круг противоречивых досад, выпавших к приезду.

— Посмотрите на этот человеческий материал, — говорил он вполголоса Рекке, — скажите-ка, откуда он. У нас половина рабочих — крестьяне окрестных сел, много из них сектантов. Остальные, те, что живут на заводской территории, — коренной пролетариат. Этот вот не имеет ярко выраженного типа, не скажешь хлебороб он или горожанин. Лицо как-будто городское, по крайней мере, бреется, руки небольшие, но это не в счет, я видал у местных крестьян такие удивительные по красоте ручки, которым позавидовала бы любая личная секретарша. Впрочем, такие руки, я думаю, хорошо бы усвоили технику карманного ремесла или мелкого взлома. А? Как вы думаете?

Директор принадлежал к числу людей, любящих в незанятое время испытать себя в методах мышления чуждых профессий. Сейчас он хотел одновременно скрыть дурное настроение и поразить следова-

теля своей наблюдательностью и остротой выводов, в которые искренне верил.

— Обратите внимание, — продолжал он, — на несоответствие: с виду это худой и довольно слабосильный парень, а какова выносливость — выгребает тяжелую лодку шутя, не запотев. Это нервная сила горожан. Он—горожанин, это ясно и потому, что он знает мотор,— плохо ли, хорошо ли помогает обслуживать наш моторный катер. В то же время замечаете, у него в лице что-то такое, что мы бы назвали одухотворенностью в работнике умственного труда. А тут приходится предположить два варианта: или он общественник или все-таки это из местных крестьян, из сектантов...

— Товарищ! — крикнул директор. — Вы посещаете рабочий клуб?

Гребец на минуту перестал грести, по лицу его пробежала тень скуки, он качнул головой.

— Нет...

И снова заскрипел уключинами, безразличный к своим пассажирам.

— Вот видите. Правда, грустно сказать, клуб наш далеко не блещет... Но это единственный уголок культуры. Следовательно, надо думать, что сей сын человеческий — здешний баптист, — не странно ли в молодых годах? Впрочем, черты его лица — черты шизоика, помните ли о таком психо-физиологическом типе? Неяркая растительность, некоторая ассиметрия, влажность глаз... В интеллигентных профессиях тип шизоика склонен к творчеству. Допускаю, что из них же формировались как кадры наших подпольщиков, так и современных фанатиков-вредителей.

— Фанатиков?

— Да, конечно. Магомет, Христос, Наполеон — все были шизоиками.

— По-вашему, у крестьян все творческие силы имеют выход только в религии?

— Не все, но, увы, часто... Впрочем, я говорю применительно к данной местности, данному случаю. Нужно быть немного физиономистом. Если бы этот гребец был пролетарием, у него обязательно была бы татуировка, как у всех мотористов: якорь, пропеллер, какое-нибудь имя, в роде Клавы или Клары. У него расстегнут ворот рубахи и засучены рукава, а татуировки не видно,—вот вам еще одно доказательство, что он из местных. Обычное для металлистов щегольство — кожаная куртка — тоже отсутствует. А видели вы давеча, как он флиртовал с Маришей?

Рекке усмехнулся.

— Видел.

— Так вот, где же здесь отпечаток городской культуры? Потомственный металлист взял бы под ручку, завел бы речь о раскрепощении женщины от домашнего очага, изложил бы свои взгляды на сво-

боду отношений полов, предложил бы ввести в актив женотдела. Словом, вы знаете, что говорится теперь в подобных случаях. А этот малый — примитив. Поверьте, что в Марише он никогда не сможет осознать и оценить ее избыточность Помоны, для него плоды земли существуют, чтобы их есть, и статую античной богини он будет воспринимать на ощупь, на зуб. Так-то вот... Вы со мной не согласны?

Рекке ничего не ответил. Уже надвигался плоский песчаный берег. Небольшая заводская пристань вымачивала в воде низкие мостки, дальше шли сараи, возле которых покачивался подвешенный на веревках для ремонта катер. Гребец легко выскочил и, насвистывая, привязывал лодку. К мосткам под'ехал и, закрутив солнечные отблески в колесах, остановился заводский выезд.

— Скажите, товарищ, — обратился Рекке к гребцу, выходя из лодки,—вы здешний или приезжий?

— Приезжий, — отвечал тот, на миг запнувшись.

Рекке усмехнулся, посмотрел торжествующе на директора и сел в пролетку. Но директора было трудно теперь уязвить: он уже во все глаза глядел на лодочные бараки, на пристанные склады, на неровное полотно дековильки и весь был озабочен, как стриж, вернувшийся по весне к гнездовью.

5

Сразу же после приезда Рекке развернул весь запас делового нетерпенья, нажитый в дорожной скуке. Он осмотрел лабораторию, где была обнаружена кража, проверил книги, зарылся в списки личного состава, проговорил два часа под ряд с начальником охраны завода. Вечером он проявлял заснятые где-то пластинки. На следующее утро он просил директора выделить ему для занятий отдельную комнату и водворился рядом с директорским кабинетом. К двум часам дня у него был готов уже ряд показаний, после чего он вошел к директору и пригласил его на минуту к себе.

Директор увидел через раскрытые двери вчерашнего гребца, почесывавшего, стоя, одну о другую свои босые ноги, увидел жесткую и загадочную полуулыбку Рекке и спросил:

— А этот при чем?

— При том, что баптисты носят нательный крест, а городские монтеры... Но вы сами сейчас увидите.

Они вошли, и Рекке, плотно прикрыв за собой двери, сел за стол, указав гребцу стул напротив. Тот сел на кончик сиденья.

— Ваше имя, отчество, фамилия? Русский? Лет? Давно работаете? Так, два месяца... Грамотный? А вот это прочтете?

Гребец взял темной от загара, машинного масла и копоти рукой протянутую книгу. Директор узнал в раскрытой странице труд по электротехнике на английском языке и с любопытством ждал ответа.

— Нет, — ответил гребец, осторожно закрыв книгу.

— Хорошо... Где вы работали раньше и поскольку?

Гребец сказал.

— Странно, почему-то нигде вы не уживались больше двух-трех месяцев.

— Я и отсюда ухожу.

— Когда?

— Уж подал заявление.

— Вот как. А скажите, как вы попали сюда, в эту местность, кто вам посоветовал искать работы на этом заводе?

— Никто, сам, по своему желанию.

— Ага... А какие деньги вы хотите получить в конторе?

— Какие? Мои деньги, прислали мне.

Гребец вдруг весело, чуть нагло улыбнулся, очень привольно уселся на стуле и заложил ногу на ногу.

— Перевод не на вашу фамилию.

— Это у меня вторая, уличная.

— Надо удостоверить. А вы знаете, кто выслал и какую сумму?

— Знакомый мой, Мартынов, семьсот рублей.

— Так, вот перевод. Об'ясните-ка, что значит эта приписка: «Звезда полынь получена, встречена хорошо. Ожидаю следующего».

Рекке поправил очки и впился глазами в гребца. Тот было ухмыльнулся опять, но Рекке, выдвинув челюсть вперед и рассвирепев, добавил:

— И знаете, гражданин, я вам советую не валять дурака. Или вы забыли читать по-английски, тогда следовало бы забыть и «Джонни», или вы помните то и другое и нечего притворяться.

Гребец растерянно посмотрел на Рекке, пожав плечами.

— Какой Джонни?

— Тот, что вы насвистывали, выгрузив из лодки чемоданы.

— Что вы хотите сказать?—заинтересовался гребец, рассеянно взяв со стола очень привычными пальцами карандаш.

— То, что вы прочли на чемоданах клеймо английской фирмы, напомнившей вам этот мотив, а английскую книгу отказались прочесть.

Изумление, перетянувшее лицо гребца, было очень естественно. Казалось, не только глаза, но и зрачки его глаз расширились до предела.

— Я ничего не понимаю в этой галиматье, — сказал он, ставши серьезным. — Зачем вам это?

— Это дело мое. Потрудитесь дать ответы на мои вопросы. Предупреждаю об ответственности за показания. Впрочем, судя по вашим последним словам, вы это знаете не хуже меня и, может быть, что-нибудь поймете в «галиматье».

Рекке передал гребцу лист бумаги, перо и записку с вопросами. Гребец, на минуту задумавшись, стал заполнять лист мелким ровным почерком.

Директор встал и, отойдя к двери, поманил Рекке к себе.

— Не даром я обратил на него ваше внимание, — шепнул он. — Я распоряжусь, чтобы задержали расчет, а уж об остальном позаботьтесь вы.

— Позабочусь, — отвечал Рекке.

— Я кончил, — сказал тут гребец.

— Подпишите.

— Подписал. Это все?

— П о к а все.

— Теперь разрешите мне перевод.

— Я вам выдам тогда, когда вы удостоверите свою вторую фамилию.

Гребец пошарил в карманах своих потрепанных брюк и, ничего не найдя, сказал:

— Там в почте должен был притти на ту же фамилию пакет.

— Бандероль?

Рекке вынул из дела вскрытый, но еще неразрезанный экземпляр журнала в цветной обложке, — сверкающий пропеллер рокотал на ней всеми красками, летчик из-под шлема прислушивался к рокоту, к рулям и висел на пропеллере в воздухе.

— Хоть вы, я вижу, любитель литературы, но я до поры до времени выдать не могу, — прикрыл Рекке рукою обложку.

— Я и не прошу. Но я хочу, чтобы вы разыскали в числе иллюстраций мой портрет, — он должен выйти хорошо. И может быть, после этого вы не будете задерживать ни денег, ни авторского экземпляра.

Директор живо подошел к столу. Рекке недоверчиво раскрыл нужную страницу. Голова гребца лежала на ней в овале рядом со «Звездой полынью», — Рекке, с'ежившись, прочитал губами последнюю строфу и подпись. Затем посмотрел на обложку — пропеллер опять всеми красками затрубил, металлический рокот его просто рвался с обложки и, как всегда, наплывал и таял, свиваемый ветром.

— Здорово сделана обложка, — сказал Рекке и потом сухо заметил скорее директору, чем поэту:—Нужно было сразу сказать,—и, сложив журнал, стал предельно упрям лицом.

— Вы об этом не спрашивали.

— Простите, — вмешался тут директор, улыбаясь, шаря часы на полном животе, — но что вы нашли у нас интересного, чтобы жить там, на пристани?.. Вы давно печатаетесь? И вы всегда работаете инкогнито или иногда выезжаете во всем своем великолепии и славе?

Директор на миг спросил себя, не пригласить ли поэта к обеду, раздумывая, есть ли у него костюм. Но тот убил это желание в зачатке, сказавши:

— Я не скрывался и всегда читал свои стихи, например, Марише, дочке Харлампия. А вы думаете, что, едучи на производство, нужно предупреждать об этом телеграммой?

— Получите ваш перевод,—очень деловым тоном прервал Рекке,—и тут еще на вашу у л и ч н у ю фамилию есть с дюжину писем.

Он вытряхнул из папки кучку узких конвертов.

— Это — милые, женские, — сказал поэт, безразлично взглянув, ласково улыбнувшись и не взяв ни одного. Он кивнул головой и пошел, оставляя следы, чуть скрипя босыми пыльными ногами по натертому паркету.

Отблеск белых закрывшихся за ним дверей, утонув в лощеном паркете, прошел в его дереве, как под водой, светлой тенью, ясным столбом, отскочил от стены и вернулся на место.

Моей учительнице

ИВАН ПРИБЛУДНЫЙ

Варваре Васильевне Курячевой

В жизнь мою,—угар и смуту,
В сень созревших лет,
Покажись хоть на минуту,
Детства млечный свет.
Все, что в путь к полудню вышло
На рассвете дня,—
Подкрадись ко мне чуть слышно,
Отзови меня.
Может быть, опять я встречу,
Встречу и верну
Лучших дум моих предтечу,
Лучших слов струну.
Может быть,—былым гонимый,—
Явится мне вдруг
Мой единственный, любимый,
Мой далекий друг.

* * *

Под горой, под невысокой,
Как легенда стар,
Шелестит между осокой
Голубой Гайдар.
Там, росистый по баштанам
Оставляя след,
Бродит с солнцем и туманом
Мой певучий дед...
До сих пор люблю и помню
Лоз нестройный строй,
На горе каменоломню,
Дом твой под горой.
И, как песню, твое имя
Повторяю вслух...
Мой единственный, любимый,
Мой далекий друг.

* * *

Слишком рано над гнездом я
Крылья распростер,
Чтоб у дальнего бездомья
Разжигать костер.
Но разжег... и мгла глухая
Не убьет огня,
Он горит, не потухая,
До расцвета дня...

...Где-же ты?.. В какие шири
Устремлен твой взгляд?..
Как живешь ты в этом мире,
Чем твой дух об'ят?..
Где твои лета и зимы
Завершают круг,
Мой единственный, любимый,
Мой далекий друг?

* * *

Та ли ты: с прической пышной,
С грустью на челе?
Той ли поступью чуть слышной
Ходишь по земле?
Той ли кротостью струится
Материнский взгляд
На безгорестные лица
Школьников-ребят?
Обиваешь ли тропинки
На крутых местах?
Вышиваешь ли барвинки
На чужих холстах?
Со старинной мандолиной
Делишь ли досуг,
Мой единственный, любимый,
Мой далекий друг?..

* * *

Ты мне первая когда-то
Руку подала;
В детстве—лаской небогатом—
Матерью была.
Ни поэмам, ни рассказам
Не воздать вполне,—
Скольким я тебе обязан
В том, что есть во мне...
...Жди ж меня... как утешенье,
Я к тебе приду
Под баштанное цветенье
В будущем году.
Озарить твои седины,
Исцелить недуг...
Мой единственный, любимый,
Одинокий друг.

Сентябрь 1929 г.

Из поэмы „Часовщик“

СЕМЕН ОЛЕНДЕР

Помню я, весною благосклонной
Набегала радость, как загар.
Чистить матери горох зеленый
Я, смеясь, на кухне помогал.
И стручки, вскрываясь, зеленели,
И зерно катились на ладонь.
А к полудню—маятники пели,
Раздвигая комнатную сонь.
И, склоняясь в сутолоке гарной,
Шевеля разутою ногой,
Ты ли в сумеречном пеньюаре
Ныла и гадала над плитой?
Ну, а мастерскую—стрекотанье
Покоряло с самого утра,
Часики бензинное дыханье
Нежили в приплюснутых шарах.
И, любовно щурясь микроскопом,
Что к зрачку пытливому прирос,
Часовщик охотился за скопом,
За ватагой гаек и колес.
Я распахивал калитку ночью—
И велась веселая игра—
Развевалась белая сорочка
В переулках черного двора.
И, взволнованный, в ночную стражу
К голубятне девичьей влеком,
Шустрый, маленький—и я туда же—
Щеголять недетским говорком.
В темноте угаданные спины
Я притягивал к себе, и рос
Запах уксуса и керосина,
Подымающийся из волос...

Детство наше тем и жалче нам,
Что грешим, как мальчики, пока...
Помнишь—маятник баюкал мальчика
В темной комнате часовщика?
Нагибаясь, приседая, маятник
Шел, как сумрачный городовой,
И сверчанье растекалось маятно
Над ребяческою головой.
Приходили в сумерки заказчики,
Ожидали, торопя, отца,
Ожидали, гладили навязчиво
Солнечные локоны мальца.
Маятник стучал и перекатывал.
Трепетал, как колокол в грозу,
И дрожало стеклышко щербатое
Птенчиком в отеческом глазу...

Наука и жизнь

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Инж. В. Д. Никольский

Изучая историю техники и ее завоеваний, мы не можем не обратить внимания на характерную особенность, красной нитью проходящую через все отдельные этапы развития человеческой деятельности. Мы подразумеваем здесь по существу своему вполне понятное стремление человека заменить свой мускульный труд каким-нибудь другим источником силы. Изобретение колеса и рычага, теряющееся в глубочайшей древности, дало в руки человека первые механизмы, посредством которых он выполнил грандиозные технические сооружения, и облегчило ему в дальнейшем использование мускульной силы людей и животных. Но мускульная сила человека весьма ограничена: надо заставить работать 10 человек, чтобы получить работу всего одной лошади.

Пытливый человеческий ум не удовлетворился этой победой, а возросшие жизненные потребности заставили искать новых источников двигательной силы. Такими источниками на долгое время сделалась энергия ветра и текущей воды.

Современная теплотехника. XVIII век можно считать тем рубежом, когда трудами Папина, Ньюкомена и Уатта на смену старым механическим двигателям была создана паровая машина, где была использована тепловая энергия топлива, машина, которой было суждено за одно столетие внести глубочайшие изменения в технику и экономику всего человечества. трудами Папина, Ньюкомена и Уатта на смену старым механическим двигателям была создана паровая машина, где была использована тепловая энергия топлива, машина, которой было суждено за одно столетие внести глубочайшие изменения в технику и экономику всего человечества.

Но не паровой машине суждено было стать во главе энергетической техники нашей эпохи. Роль эта выпала на долю паровой турбины, изобретенной в 80-х годах прошлого столетия Парсонсом и Лавалем.

В паровой машине используется упругость и давление пара, — в турбине живая сила и скорость его движения. В турбине пар с огромной скоростью устремляется на лопатки, укрепленные на металлическом колесе, и приводит его в быстрое вращательное движение. Благодаря высокой скорости своего вращения турбины имеют значительно меньший размер по сравнению с паровыми машинами одинаковой мощности, что способствует серьезному удешевлению и упрощению при их установке.

Новое дитя машиностроительной техники выросло и окрепло почти на наших глазах. Еще в 1888 году наибольшая мощность паровых турбин не превосходила 150 лош. сил., через 20 лет она уже достигла 10.000 лош. сил, в 1918 году — 60.000 лош. сил., а в 1928 году в Америке начала строить-

ся колоссальная тройная турбина мощностью в 280.000 лош. сил. За 30-летний период времени мощность паровых турбин возросла в сотни раз, а экономичность далеко обогнала паровую машину, достигнув 28 проц. полезного действия. Паровая турбина повсеместно вытесняет паровую машину на крупных электрических станциях, а с начала этого столетия начинает с успехом применяться в качестве двигателя на судах и локомотивах (на т. н. турбовозах).

Техника получения пара. Источником движущей силы паровых машин и турбин является пар, получаемый при нагревании воды в прочных закрытых паровых котлах под давлением нескольких атмосфер.

Начиная с сороковых годов, появляются так называемые водотрубные котлы, состоящие из ряда горизонтальных труб, выходящих своими концами с одной стороны в общий котел (котлы Бельвилля и Роота, затем Штеймюллера, Дюрра, Вальтера, Бабкок и Вилькокса, Гарбэ и др. систем).

В последние годы ясно наметилась тенденция к повышению рабочего давления в котле, которое на крупных установках доходит до 30 — 50 атмосфер. Для питания котлов свежей водой пользуются паровыми насосами или же так называемыми инжекторами, засасывающими воду. Для лучшего использования тепла холодная вода перед ее поступлением в котел подогревается в особых подогревателях «экономайзерах», состоящих из многочисленных рядов чугунных труб, устанавливаемых в камере, через которую проходят газы перед их поступлением в дымовую трубу.

В последнее десятилетие вошли во всеобщее употребление так называемые пароперегреватели, где пар нагревается до температуры 250—300°, теряя всякие следы влажности. Перегрев этот способствует значительному повышению полезного действия котла.

Большим прогрессом в технике пародобывания было изобретение механических топок, избавляющих кочегаров от их поистине каторжного труда и значительно улучшивших горение топлива. В последние годы стали появляться топки для пылевидного топлива. Совсем еще не давно угольная пыль и мелочь, неизбежно получавшаяся при добыче и сортировке угля, считалась досадным балластом предприятия, видевшего в ней лишь чистый убыток.

Оказалось, однако, что эта пыль как раз и есть наиболее ценное в угольном топливе. Перемолотый, просеянный и очищенный мелкий уголь оказался идеальным топливом, которое горит и отдает тепло гораздо лучше, чем обычный уголь, состоящий из крупных кусков.

Двигатели внутреннего сгорания. Попытки построить такой двигатель, где работа могла бы производиться без помощи сложного котельного устройства, а прямо в цилиндре, делались уже давно, начиная с Гюйгенса и Папина в XVII столетии. Но только в начале прошлого века появляется практическое решение этой задачи. Одной из первых удачных машин этого рода была появившаяся в 1868 году машина Ленуара, работавшая светильным газом и имевшая сходство с небольшой горизонтальной паровой машиной.

Изобретение газогенератора — прибора, где газ образуется посредством сжигания угля, дров и других сортов топлива,—избавило газовый двигатель от необходимости пользоваться газом лишь городской сети и позволило ему найти самое широкое применение на удаленных от городов фабрично-заводских предприятиях, мельницах, сельскохозяйственных экономиях и т. д.

Даймлеру в 1884 году удалось достичь дальнейшего заметного успеха в деле построения двигателя внутреннего сгорания, работающего на горючем жидком топливе — керосине, бензине и нефти. Год, когда Даймлер взял патент на свой бензиновый двигатель, можно считать поворотным пунктом в деле развития легких двигателей внутреннего сгорания. Для механического сухопутного, водного и воздушного транспорта открывалась новая эра.

Успех, выпавший на долю газовых двигателей и бензинового мотора, мощ-

ность которого уже достигла 1.000 лош. сил, дал сильнейший толчок технической изобретательности и научной разработке вопросов лучшего использования жидкого топлива в тепловом двигателе.

Таким явился двигатель Дизеля, предназначенный для керосина, нефти и других нефтяных остатков. В двигателе Дизеля воздушная смесь с нефтью перед тем, как воспламениться, сжимается поршнем до 70 атм., отчего значительно улучшается качество работы и использование тепловой энергии топлива. Расход топлива достигает здесь около 180 граммов на действительную лошадиную силу в час, а полезное действие вдвое выше, чем у паровой машины, доходя до 35 проц., т. е. из теплоты горения топлива ⅓ превращается в полезную механическую работу. Наконец, существенным достоинством двигателя является то, что работа его может регулироваться самым точным образом, как при паровых машинах. Двигатели Дизеля в сравнении с паровыми машинами имеют, кроме того, общее с газовыми двигателями ценное свойство постоянной готовности к работе: нет котла, нет сложных паропроводов, не надо разводить огонь в топке и после какого угодно продолжительного перерыва в работе двигатель этот в любое время может быть пущен в ход.

Еще ярче выступают достоинства двигателя Дизеля для судовых установок, где экономия места и топлива играет первенствующую роль. В отличие от пароходов, такие суда, на которых установлены дизеля, называются теперь т е п л о х о д а м и. Последние годы дизеля начинают проникать и в такую область, где пар не знал себе раньше соперников. Мы говорим о железнодорожных т е п л о в о з а х, оборудованных нефтяными двигателями, над конструкцией которых сейчас усиленно работает техническая мысль у нас в СССР (тепловозы Гаккеля и Ломоносова).

Двигатели Дизеля сейчас строятся разных размеров, начиная от нескольких десятков до нескольких тысяч сил.

Успехи авиации в значительной мере обязаны появлению легких и достаточно надежных двигателей внутреннего сгорания. Современная машиностроительная техника действительно может гордиться своим достижением — а в и а ц и о н н ы м м о т о р о м, за какие-нибудь десять лет сравнившимся с автомобильным мотором по своей выносливости и превзошедшим его своей легкостью, достигшей всего ¾—1 кг. на лошадиную силу.

Н о в е й ш и е т е п л о в ы е д в и г а т е л и. Экономичность работы—вот лозунг современной силовой техники. Изобретение самого остроумного, но неэкономичного двигателя было бы безнадежно обречено на неудачу. И наоборот, — нет ничего удивительного в том, что изобретение Дизелем своего знаменитого двигателя, носящего его имя, привлекло к себе в начале этого века всеобщее внимание, так как в этом двигателе, работающем в з р ы в а м и смеси воздуха с распыленной нефтью, полезное действие оказалось равным 30—35 проц... Но изобретательскую мысль не удовлетворяет и эта прекрасная машина.

Такой замечательной новинкой в области построения экономического двигателя можно считать м о т о р С т и л л а, изобретенный перед войной. Стилл решил использовать часть бесполезно теряемого тепла, затрачиваемого на нагревание цилиндра двигателя Дизеля и уносимого охлаждающей водой. Стилл чрезвычайно смело подошел к решению этой задачи: он соединил паровой и нефтяной двигатели в одном цилиндре. Вода, протекающая в рубашке цилиндра, доводится до кипячения, затем пар этот перегревается в особом котле, отапливаемом горячими отработавшими газами, которые потом подогревают еще и воду для охлаждения цилиндра. Полученный пар под давлением около 8 атмосфер поступает затем на другую сторону поршня, работая так, как в обыкновенной паровой машине. В двигателе этой системы удалось использовать около 46 проц. теплоты, заключенной в топливе.

Серьезная работа идет также за границей над созданием практичной г а з о в о й т у р б и н ы, которой быть может суждено стать одним из экономнейших двигателей, не нуждаясь, по

добно паровой машине, в громоздких и дорогостоящих котельных установках.

Усовершенствование газовой турбины и изобретение нефтяного авиационного двигателя сыграют крупную роль в дальнейшем развитии и удешевлении воздушного транспорта.

Весьма успешными и многообещающими были недавние опыты в Америке над пароргутным котлом и турбиной Пр. Эметта, применившего в качестве источника пара ртуть, требующую около 70 калорий на 1 кг. для своего превращения в пар, вместо 550, требуемых водою.

Эта интересная комбинированная ртутноводяная установка была осуществлена недавно в большом масштабе в городе Гартфорде. Испытания, произведенные над этой установкой, показали, что коэфициент полезного действия ртутной турбины оказался равным около 52 проц., т. е. вдвое выше, чем у паровой турбины, а средний коэфициент полезного действия всей установки был около 32 проц., т. е. почти столько же, как и в нефтяном двигателе. Нет сомнения, что здесь мы стоим в начале новой эры в деле использования тепловой энергии.

Электрическая передача энергии. Свойство электрической энергии передаваться на любое расстояние от места своего производства по проводам имеет огромное значение, без него все остальные успехи электротехники были бы ничтожны. Возможность передавать электрический ток по проводнику была уже известна давно. При этом было найдено, что чем длиннее расстояние, тем больше теряется напряжения в проводах и тем большее напряжение приходится брать, или, если это невозможно, — то надо увеличить диаметры проводов. Однако, увеличивать напряжение машин постоянного тока оказалось по многим причинам неудобным, а делая провод слишком толстым, надо затратить на него столько меди, что вся установка станет чересчур дорогой и невыгодной.

Выход из этого положения, как оказалось, был намечен еще в гениальных работах Фарадея, «отца электротехники», и именно в открытии явления магнитной индукции и последующем изобретении электрического трансформатора.

Стало возможным, производя переменный ток, превратить его в повышающем трансформаторе в ток высокого напряжения, передать без больших потерь по тонким проводам на далекое расстояние и, снова пропустив его на конце линии через понижающий трансформатор, получить ток низкого напряжения, которым можно уже безопасно пользоваться для любых целей.

Исторический опыт передачи энергии на расстоянии 175 клм., произведенный в 1890 году на выставке во Франкфурте, открыл собой эпоху электропередачи токами высокого напряжения.

Конец XVIII века создал паровую машину, мощно двинувшую вперед мировую промышленность, — конец XIX столетия, овладев электрической энергией, позволил ей проявлять свою силу на любом расстоянии от места ее получения.

Электрическая передача как бы раскрепостила энергию: стало возможным устраивать фабрики и заводы и пользоваться энергией не только поблизости от источников их получения (паровых и гидравлических станций), но на весьма значительном от них расстоянии. Сказочно быстрое развитие электротехники последних десятилетий быстро раздвинуло рамки возможной дальности электропередачи. В 1910 г. уже работала линия в 200 клм. с напряжением в 110.000 вольт; затем с повышением напряжения до 140.000 вольт дальность передачи увеличилась до 350 клм. В настоящее время удалось достигнуть напряжения в 220 000 вольт с дальностью передачи в 600 клм., и идет оживленная работа (особенно в Америке) над выработкой типов трансформаторов и других аппаратов на 300 000 вольт и выше.

Не даром в Европе и Америке недавно созданы специальные лаборатории для изучения и испытания действия электрического тока при напряжении в 1.000.000 вольт.

Современные электростанции. В современных крупных электрических станциях можно различить

три отдельные части — котельное помещение, где происходит сгорание топлива и получение пара, машинное помещение с турбинами, генераторами и конденсаторами, и, наконец, помещение с электрическими распределительными механизмами и трансформаторами, если станция работает на электропередачу.

Место для постройки станции выбирают возможно ближе к воде, требующейся в большом количестве для охлаждения конденсаторов, а также удешевляющей подвоз топлива к станции.

Непосредственно к станции прилегает обширный двор для склада топлива; обычно несколько железнодорожных веток связывают эти склады с ближайшей линией железной дороги. Со склада уголь поступает на станцию, при чем вся эта операция происходит чисто механически. Один из способов такой механической доставки состоит в том, что среди штабелей двигается без особого электромотора ряд вагонеток, связанных одной общей цепью; вагонетки эти нагружаются углем и по наклонному помосту поднимаются в верхнюю часть здания котельной, где высыпают свое содержимое в бункера — железные воронкообразные ящики для угля, установленные над котлами. Под угольными складами проходит бетонный тоннель, в котором двигается конвейер — бесконечная стальная лента с ковшами. Уголь засыпается в них через особые окна в потолке тоннеля и доставляется конвейерами к бункерам над котельной. Иногда при этом уголь подвергается автоматической очистке и сортировке.

Успех топок с угольной пылью, на которую переходит сейчас чуть не половина германских паросиловых установок, ввел в эту схему некоторые изменения. Уголь перед поступлением в бункера очищается, перемалывается и уже в виде тонкого порошка поступает в бункера, а оттуда по трубам вдувается в топочное пространство котла.

Поражает незначительность персонала для обслуживания большой котельной — иногда на всю станцию достаточно нескольких механиков и чернорабочих. Ряд контрольных приборов указывает персоналу котельной о силе тяги, количестве подаваемого топлива, температуре топки и давлении пара. Над котлом, точно кольца гигантских белых червей извиваются паропроводы, несущие в себе мощность десятков тысяч лошадиных сил.

В нижнем этаже под машинным залом помещаются все вспомогательные механизмы, необходимые для работы турбины: насосы, конденсаторы пара, фильтры для воздуха и воды, паропроводы, водопроводы, водоотделители и проч. Самой существенной частью здесь является конденсатор, где охлаждается и сгущается отработавший в турбине пар, тем самым создавая вакуум или разряжение (до 0,05 атмосферного давления), способствующее лучшему использованию силы пара. Размеры таких конденсаторов, обладающих несколькими тысячами квадратных метров охлаждающей поверхности, иногда достигают огромной величины.

В конце машинного зала устроен распределительный мостик — высокая площадка, где на распределительной доске установлены все наблюдательные и контрольные приборы, связанные с работой турбин, электрических генераторов и трансформаторной станции. Здесь же помещаются приборы, показывающие силу тока, напряжение и потребляемую мощность отдельных линий (фидеров) электропередачи или кабельной сети. Здесь дежурный по станции, как капитан корабля, может видеть в любой момент характер работы каждого крупного механизма станции. Отсюда же одним поворотом рукоятки или нажатием кнопки дежурный может пустить в ход и остановить любую из гигантских машин и обслуживающих ее механизмов.

К машинному залу примыкает обширное помещение распределительного устройства, где находятся трансформаторы, многочисленные выключатели, предохранители и, вообще говоря, все сложное оборудование для управления центральной станцией. Вход сюда, в виду опасности, представляемой высоким напряжением, разрешает-

ся лишь ответственному персоналу станции.

Еще лет десять-пятнадцать тому назад мощность самых крупных центральных станций измерялась десятками тысяч лош. сил, при чем мощность отдельных машин не превосходила 15.000 лош. сил. В настоящее время, в связи с увеличением спроса на электрическую энергию, мощность таких станций увеличилась в несколько раз. В Германии есть центральная станция в 150.000 киловатт, оборудованная 3 турбогенераторами по 50.000 киловатт каждый. В Париже недавно закончена первая паровая станция Женевилье с общей установленной мощностью в 200.000 киловатт из пяти турбогенераторов по 40.000 киловатт.

Еще больших размеров достигают паровые центральные станции в Америке. Сейчас заканчивается постройка сверхмощной паровой станции Кахокиа близ г. Сан-Луи, которая будет работать на угольном порошке. Предельная мощность этой станции рассчитана на 300.000 киловатт (около 400.000 сил); станция будет оборудована по последнему слову техники котлами в 24 атмосферы давления и 6 турбогенераторами по 60.000 киловатт каждый. Еще больше строящаяся станция около Чикаго — ее мощность рассчитана на 1.000.000 киловатт. На этих новых сверхмощных станциях устанавливаются гигантские турбины в 160 и 200 тысяч киловатт мощностью, при чем последние усовершенствования дают возможность снизить потребление угля до 0,5 килограмм на 1 киловатт-час.

Практика показала, что чем крупнее станция и чем ровнее она загружена в продолжение часов дня и года, тем дешевле обходится отпускаемая ею энергия.

Для поднятия общей тепловой отдачи станции прибегают иногда (если станция расположена в городе) к использованию тепла конденсационной воды и отработавшего пара для целей паро-водяного отопления окружающих районов, чем можно достичь 45—50 проц. общего использования тепловой энергии. Такая теплофикация успешно начинает применяться в Москве и в Ленинграде. Увеличения экономичности работы можно достигнуть не только постройкой большой станции, но и об'единением в одну общую сеть нескольких менее крупных станций, или так называемым «кустованием». При таком об'единении в случае временной неисправности одной из станций ее абоненты могут быть обслужены энергией соседних электростанций.

За последние годы все большее признание начинает приобретать мысль, что сжигание угля в топках паровых котлов является варварским техническим пережитком, так как при этом совершенно бесполезно улетает в трубу ряд летучих веществ, содержащихся в угле и могущих служить (как, например, при получении кокса) материалом для получения множества ценных химических продуктов.

С этой целью начинает входить в технику способ газофикации угля, заключающийся в том, что уголь сжигается на месте его потребления, при чем улавливаются все ценные летучие вещества, а светильный газ по трубам передается к местам потребления. Длина некоторых таких газопередач уже достигает нескольких сот километров. У нас в СССР тоже имеются проекты газофикации тульских и донбасских углей и устройство гигантских газовых магистралей до Москвы.

О значении производства электроэнергии в культурной жизни современных народов можно судить по тому, что только за последнее пятилетие общая мощность электростанций всякого рода увеличилась почти вдвое, достигнув в 1925 году 70 миллионов киловатт (около 100 миллионов лош. сил), давших около 170 миллиардов киловатт-часов. Из этого количества 82 проц. ушло на промышленность, а 18 проц. на освещение. Около 65 проц. этой энергии было выработано паровыми, а 35 проц. гидравлическими электростанциями.

Использование энергии текущей воды. Первые водяные двигатели были тяжелые, неуклюжие сооружения из дерева, медленно вращающиеся на толстых бревнах-осях и раз-

вивавшие мощность не более нескольких десятков лошадиных сил. Вода подводилась к этим колесам либо снизу, помощью живой силы удара, либо поступала на лопатки и камеры сверху. Этот старый тип мельничных колес сохранился еще во всей своей нетронутости во многих глухих углах СССР.

Только с начала XVII столетия началась научная разработка вопроса о воде и ее движении, продолжающаяся до нашего времени и давшая постепенно точное выражение главнейших физических и механических законов гидравлики. Работы Паскаля, Бернулли, Эйлера, Сегнера, Понселе, Вейсбаха, Редтенбахера и других ученых дали возможность сознательно приступить к расчету и постройке водяных двигателей.

В первой половине XVII века Бернулли и Сегнер доказали действие реакции вытекающей из сосуда струи воды. В 1786 году Сегнер построил свое реакционное вододействующее колесо.

Здесь вращение получалось от того, что струи воды, с силою вытекая из боковых трубок, расположенных в виде спиц колеса вокруг сосуда с водой, заставляли его вращаться около вертикальной оси, на которой он был насажен. Движущей силой была реакция струи воды, ее противодавление,— та сила, которая заставляет откатываться лафет орудия при вылете из него ядра.

Лучшие водяные колеса (Понселэ, Фурнейрона и др.) превращают в механическую энергию не более 75 проц. энергии падающей воды, — турбина Фрэнсиса, изобретенная около 1840 г., в этом отношении стоит значительно выше. В больших современных турбинах отдача не меньше 85—90 проц., доходя иногда до 95 проц.

Турбина Фрэнсиса состоит из двух стальных венцов, между которыми укреплены изогнутые по особому расчету лопасти, на которые действует сила протекающей воды. Через верхнюю крышку турбины проходит ось, на которую насаживается шкив или электрическая машина. Размеры турбинных колес весьма различны — от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров.

Наконец, если напор воды очень велик, воду подводят к турбине посредством труб, а турбины заключают в прочный железный кожух, а при высоте напора более 150—200 метров прибегают к установке колеса Пельтона, изобретенного в Америке в 1884 году и могущего работать при любом высоком напоре (постр. до 1.500 м.). Колесо это работает живой силой струи воды, вытекающей на лопатки из конического наконечника (направляющего аппарата) и ударяющей в ковшеобразные лопатки на окружности колеса.

Водяная турбина соперничает теперь с паровой. Поразительна та быстрота, с которой развивается современная турбинная техника. В 1880 году наибольшая мощность единичной турбины не превышала 1.000 лош. сил, в 1900 году она достигла 6.000 лош. сил, в 1920 году — 37.000 лош. сил, в 1927 году — 87.000 лош. сил, при чем одновременно увеличивается их быстроходность и коэффициент полезного действия (новые пропеллерные турбины, турбины Каплана, Лавачека и др.).

Типы гидроэлектрических станций. Успехи турбинной техники дали мощный толчок водяному строительству. Страны с обильными быстрыми реками и водопадами поняли, что в их руках действительно ценное сокровище и, начиная с восьмидесятых годов, особенно после удачного опыта с использованием гидравлической силы Рейна и успеха Лауфенской электропередачи энергии, западноевропейские страны и Америка начинают покрываться сетью гидравлических и гидроэлектрических установок.

Проектирование и сооружение гидроэлектрических станций имеют в себе целый ряд трудных вопросов, решаемых каждый раз для данной установки совершенно независимыми и новыми методами. В паровой станции инженер имеет дело, главным образом с машинами и зданием обычного типа, — в гидроэлектрической установке ее строитель имеет дело также и с природой, которую он должен разгадать, покорить и использовать.

В установках обычного типа река перегораживается плотиной, создающей

некоторый подпор воды, величина которого ограничена допустимыми затоплениями вышележащих культурных земель. Тип плотин чрезвычайно разнообразен и зависит не только от напора, но и от характера грунтов дна и берегов. Главной заботой строителя является создание достаточно прочного сооружения, которое не могло бы быть опрокинуто давлением воды.

На реках, где весенний разлив бывает особенно велик, невысокие плотины часто делаются разборными.

В гористых местностях иногда устраивают посредством высоких каменных или бетонных дамб так называемые водохранилища с целью водоснабжения или выравнивания расхода воды в реке в период маловодья. Высота таких дамб достигает иногда нескольких десятков метров. В Америке построены дамбы (плотина Рузвельта и Шошонская плотина), достигающие ста метров высоты, и намечена к постройке в долине реки Колорадо (в ущелье Бэлдэр) колоссальная плотина в 200 м. высоты.

В местности, где обычно встречаются станции с высоким напором, подвод воды к станции совершается не только открытыми каналами, но и посредством тоннелей, достигающих в некоторых случаях также длины нескольких километров. Трубы для напоров до 100 м. делаются из стали, железо-бетона и дерева. Деревянные трубы, как это ни странно, оказываются дешевле и долговечнее железных, почему сейчас они находят большое распространение в Америке. Делаются они из отдельных брусьев, скрепляемых на манер бочек железными обручами, и достигают 5 м. в диаметре.

Самым значительным используемым источником водной энергии несомненно можно считать знаменитый Ниагарский водопад на границе Канады и С.-Американских Соединенных Штатов.

Одной из крупнейших ниагарских станций является установка Квинстон-Чиппава. Общая мощность этой станции рассчитана на 300.000 сил, а канал рассчитан на пропуск воды для 600.000 сил.

Еще крупнее будет строящаяся в Северной Калифорнии гидроэлектрическая станция с напором около 150 м. и конечной мощностью в 600 тыс. лош. сил.

Но и эта еще не является пределом для американских гидроэлектрических станций. Разрабатываются несколько проектов постройки сверхмощных станций на р. св. Лаврентия (2,5 милл. лош. сил) и на р. Колорадо. На последней спроектирована установка в 8,5 миллионов лош. сил с электропередачами в 700 км. и водохранилище, рассчитанное на орошение 3,5 миллионов гектаров.

К числу наиболее крупных гидроэлектрических станций в Европе надо отнести установку Вальхензее (ок. 200.000 сил) в Германии, а также ряд интереснейших установок в Швеции и Норвегии (Трольгатан, Рюканфос и др.).

Наиболее оживленно идет дело использования водных сил в промышленно развитой Америке, где к настоящему времени уже использовано до 14 миллионов лош. сил, или около 22 проц. всех свободных запасов гидравлической энергии рек. За Америкой идет Европа, где из 45 милл. сил использовано около 9 милл. В Южной Америке, Азии, Австралии и Африке из их огромных водных богатств использовано не свыше 1 проц., или около 2 милл. лош. сил. Таким образом во всем мире использовано к настоящему времени около 25 милл. лош. сил, сберегающих человечеству до 200 милл. тонн угля в год.

В СССР распределение водных сил таково:

1) Северн. район .	1.500.000	лош. сил
2) Сев.-Зап. район.	650.000	» »
3) Урал	260.000	» »
4) Южный район .	1.000.000	» »
5) Кавказ. . . .	23.000.000	» »
6) Сибирь. . . .	10.000.000	» »
7) Туркестан . .	4.584.000	» »
Всего	40.994.000	» »

К сожалению, в деле использования этих богатств мы еще очень отстали от наших соседей, при чем большая часть используемой энергии падает на мелкие мельничные установки. Круп-

ные станции начали строиться лишь в последние годы. По плану, выработанному советскими органами, через несколько лет мощность наших гидравлических установок должна дойти до внушительной цифры около одного миллиона лошадиных сил.

На первом месте в ряду построенных советских гидроэлектрических станций, без сомнения, надо поставить Волховскую установку. Это первый опыт работ крупного масштаба, связанный с общим планом развития хозяйственной жизни Союза. Станция эта рассчитана на мощность 80.000 лош. сил и вступила в работу уже с осени 1926 года.

Значение Волховской станции для Ленинграда огромно. Она прежде всего экономит ему в год от 200 до 300 тысяч тонн угля на сумму в 4—6 миллионов рублей и обеспечивает на несколько лет ленинградскую промышленность столь необходимой для нее электрической энергией.

На Кавказе окончена постройкой около г. Тифлиса Земо-Авчальская установка мощностью в 15.000 лош. сил, которая является первой крупной установкой этого богатейшего края, энергично ведутся работы на Свири, где намечено к утилизации до 120.000 лош. сил.

На юге первое место занимает река Днепр, где по имеющемуся проекту проф. Александрова в 1927 году около Кичкаса начата постройка высокой каменной плотины со шлюзами и гидроэлектрической станции, которая даст при напоре 32 м. до 650.000 лош. сил.

Мировые энергетические запасы. Читатель в праве спросить теперь, откуда же берется эта энергия мускульной системы, энергия ветра, энергия текущей воды. Современная наука дает на это вполне определенный ответ: главным и единственным первоисточником всякой энергии на земле является энергия солнца во всех ее формах света, теплоты, тяготения и магнито-электрических сил...

Солнечная лучистая теплота испаряет воду с поверхности морей и океанов, пары эти, поднимаясь в более холодные слои атмосферы, собираются в капельки тумана и облаков, откуда падают на землю в виде дождя, снега, росы и града, питая собой бесчисленные ручьи и потоки. Последние сливаются в величественные реки и дают нам на своих водопадах и стремнинах те миллионы лошадиных сил гидравлической энергии, которые используются на современных гидравлических установках.

Было найдено, что всей теплоты, излучаемой солнцем в одну минуту, было бы достаточно, чтобы растопить слой льда вокруг него толщиной в 11,2 метра или довести до кипения 48 миллиардов кубических километров ледяной воды.

Земной шар, удаленный от солнца на расстояние около 140 миллионов километров, перехватывает лишь 1 : 2.300.000.000 часть этой энергии, но и этого количества было бы достаточно, чтобы заставить растаять на нем в продолжении года воображаемый ледяной покров толщиной в 31 метр, облегающий всю землю.

Французский ученый М. Рожак, занимавшийся изучением теплового хозяйства земного шара, приходит к близким цифрам. По его расчетам, 1 кв. метр земной поверхности (на границе атмосферы) получает в минуту 25 больших калорий (т. е. солнечную постоянную он принимает равной 2,5 малых калорий), а все тепло, получаемое землей в одну минуту — 3,2 триллиона малых калорий. Человечество в год потребляет твердого минерального топлива около 1.300 миллионов тонн и нефти около 98 миллионов тонн, что в переводе на тепловые единицы составляет, не считая дров, около 10,1 триллионов малых калорий, — иначе говоря, солнце дает нам за три минуты столько же тепла, сколько дает топливо, сжигаемое за год во всем мире.

Известный физик Сванте Арреннус дает чрезвычайно интересный подсчет тех запасов энергии, которые имеются на земле.

Рассматривая эту таблицу, легко заметить, что из всей посылаемой солнцем энергии в количестве 3.10^{18} биллионов больших калорий только 530 триллионов доходит до земной поверхности (40 проц. всего количества энергии, полученной от солнца землей).

Запасы энергии на земле (по Аррениусу).

Из всего количества энергии, посылаемой солнцем. год 3 квинтиллионов = $= 3.10^{30}$ калорий	Большие калориии, 10^{18} (Триллион)	10^{12} (Биллион)
Доходит до земли и поглощается возд. оболоч.	1.330	—
Доходит до земной поверхности	530	—
На испарение воды морей расходуется . .	340	—
Энергия. заключенная в облаках	2,8	—
Энергия текущих вод на земле	—	55.000
Энергия используемых в настоящее время вод .	—	4.000
Энергия ветра	33	—
Энергия, запасаемая растениями	—	16.000
Энергия расходуемого угля (ежегодно) . .	—	7.000
Энергия имеющегося угля на земле	44	—
Энергия имеющейся нефти на земле	—	1.000

Из этих 530 триллионов калорий 340 триллионов уходит на испарение воды в морях. Незначительная часть этой энергии появляется снова в виде потенциальной энергии водяных капелек, из которых состоят облака. Эту часть энергии можно рассматривать, как могущую быть использованной, если представить себе, что все эти капельки сольются в большие водяные массы, которые затем упадут с высоты облаков.

Количество энергии, содержащееся в текущей воде, Аррениус оценивает в 55.000 биллионов больших калорий в год, из которых пока мы используем только 4.000 биллионов калорий (по вычислениям Кену и Каплана, т. е. только 7,3 проц.).

Большая часть воды парообразования переходит с конденсацией паров в воздух. Последний получает не менее 20 проц. падающей солнечной теплоты путем поглощения и затем приблизительно в полтора раза больше этого количества от земной поверхности вследствие лучеиспускания последней. В результате этого притока тепла возникают воздушные течения (ветер), энергию которых Аррениус оценивает в 33 триллиона больших калорий.

Относительно энергии, собираемой растениями, Аррениус пользуется цифрами Шредера, полагающего, что в растениях связывается в год около 60 биллионов килограммов угольной кислоты. Считая, что на каждый килограмм связанной углекислоты идет 2.700 калорий, мы получим: годовое количество тепла, получаемого растениями, равняется около 16.000 биллионов калорий.

Часть вновь нарождающейся растительности переходит в различные виды топлива: торф, бурые угли, каменный уголь. Точные размеры запасов нефти пока еще неизвестны. Аррениус оценивает эти запасы в 1.000 биллионов больших калорий.

Эти запасы несравнимо малы с запасом каменного угля. Запасы каменного угля на глубине меньшей 1.800 метров под поверхностью земли Аррениус исчисляет в 7,3 биллионов тонн. Так как один килограмм ископаемого каменного угля дает в среднем 600 калорий полезного эффекта, то все эти запасы эквивалентны количеству энергии 44 триллионов калорий [1]).

Из приведенных в таблице видов энергии практически доступны для человека лишь последние семь: водные силы с приливами, ветры и морские волны, энергия топлива, заключенная в угле, торфе, нефти и растениях. Запасы эти могут быть в свою очередь разделены на запасы возобновляющиеся (энергия ветра, солнца, текущей воды) и невозобновляющиеся, ограниченные в своем количестве (ископаемые угли, нефть и прежние запасы торфа).

Наиболее важным источником энергии для человека в настоящее время является тепловая энергия каменного угля, запасы которого, исчисляемые в 7,5 биллионов тонн, по отдельным странам распределены следующим образом:

---

1) «Искры Науки» 1927 г., № 12.

в Азии	1,26	бил. тонн,	или	17,3%
» Африке	0,06	»	»	0,8%
» Америке	30	»	»	69,9%
» Австралии	0,17	»	»	2,4%
» Европе	0,71	»	»	10,6%

В пределах СССР из этого количества находится около 0,9 проц. или 233,600 миллионов тонн. Цифры как-будто вполне успокоительного характера, но если припомнить, что рост потребления каменного угля возрос за 50 лет с 290 до 1.500 миллионов тонн в год, т. е. почти в 4½ раза, то при той же прогрессии запасов угля хватит во всем мире лишь на 1.500 лет, при чем в некоторых странах, в роде Англии, уже через два столетия грозит угольный голод. Еще хуже обстоит дело с нефтью. Запасов нефти благодаря сильно возросшему ее потреблению для двигателей внутреннего сгорания (мощность автомобилей равняется около 300.000.000 лош. сил) хватит не более как на несколько десятилетий, так как из 12.500 миллионов тонн мировых запасов нефти уже извлечено около 40 проц. Особенно заинтересована в этом Америка, потребляющая большую часть добываемой нефти и где ее запасов хватит не более как на 10 лет. Не менее необходима нефть и для другой морской державы—Англии, и здесь кроется узел многих сложнейших международных отношений и будущих империалистических войн. Без нефти сделаются неподвижными два десятка миллионов автомобилей, не смогут летать эскадрильи из десятков тысяч аэропланов, неподвижными стальными громадами станут в гавани гигантские броненосцы и подводные лодки военных флотов, исчезнет целый ряд продуктов, добываемых из перегонов нефти, — одним словом, последствия истощения нефтяных источников будут неисчислимы по своим печальным результатам. Техническая и научная мысль упорно работает над способом получения искусственных нефтяных продуктов и, как кажется, стоит уже на верном пути, так как работы некоторых исследователей (Ипатьева, Фишера, Бергиуса) увенчались в этой области серьезным успехом.

Огромные запасы текущих вод возможно будет использовать лишь частично, там, где для этого представляются удобные местные условия. Поэтому практически удобны для использования в турбинах по Аррениусу лишь около 745 миллионов лош. сил.

Запасы водных сил	Использовано миллионов
На Азию 236 млн. лош. сил	1,20
На Африку 160 млн. лош. сил	0,01
На С. Америку 160 млн. лош. сил	13,0
На Ю. Америку 94 млн. лош. сил	
На Австралию 90 млн. лош. сил	0,20
На Европу 65 млн. лош. сил	9,00
Всего	23,24

Здесь также намечается предел дальнейшего овладения водной энергией, определяемый главным образом стоимостью затрат на сооружение гидроэлектрических станций.

К аналогичным результатам приходит также известный советский ученый Л. К. Рамзин. В своем докладе па Всемирной Энергетической Конференции в 1924 году в Лондоне он дает следующие цифры мировых запасов энергии. Таблица эта составлена в цифрах условного топлива, обладающего теплотворной способностью 7.000 калорий на 1 килограмм. Энергия ветра в ней и водных сил пересчитана на двухсотлетний срок энергии, заключенной в эквивалентном количестве каменного угля, при чем для энергии ветра принята цифра 33 лош. с. на 1 кв. километр (с половины поверхности земной суши — 250 миллионов километров в продолжении 1.000 часов работы в году). Угольный эквивалент принят равным 1 кг. на одну эл. лош. силу-час.

Проф. Рамзин приходит к выводу, что угольные запасы благодаря росту потребления угля уменьшаются в геометрической прогрессии (3 проц. прироста в год), будут близки к истощению уже через 200 лет, о нефти нечего и говорить,—ее не станет уже на несколько десятилетий, а торф может удовлетворять лишь незначительный процент от общей потребности в энергии.

	Мировые запасы		Запасы СССР	
	Миллиарды тонн	% мир. запасов	Миллиарды т нн	% мир. запасов
Невозобновляемые				
Ископаемые угли	5 600	75,1	393.9	7,0
Нефть	11,5	0,15	4,3	37,4
Торф	215	2,9	68,6	78,0
Итого . .	5.826,5	78,	566,8	9,8
Возобновляемые				
Торф	50	0,7	39,0	7?,0
Дрова	340	4 6	63 0	18,5
Солома	37	0,5	6,7	18,1
Ветер	826	11,1	69,0	8,3
Водные силы . .	374	5,0	31,1	8,3
Итого . .	1.627	21,9	208,8	12,8
Всего . .	7.453	100	775.6	10,4

«Сделанный анализ энергетического положения, — заключает проф. Рамзин, — властно требует от инженеров и техников экономного использования ограниченных ресурсов энергии, энергичной борьбы и работы в направлении более рационального их применения и немедленной подготовки к перестройке энергетического хозяйства на новую базу, чтобы удлинить весьма короткий в историческом смысле срок. Оставшиеся для этой перестройки инженеры и техники обязаны всячески экономить топливо, чтобы дать время науке разрешить коренную проблему снабжения энергией».

Энергетические ресурсы СССР. На восьмом С'езде Советов в 1920 году с огромным вниманием был заслушан доклад Гоэлро (Госуд. комиссия электрификации России), рассчитанный на электрификацию страны в срок 10—15 лет. Как известно, В. И. Ленин придавал этому плану исключительно важное значение в деле построения социалистического хозяйства. Десятки мощных электроцентралей и электропередач должны были покрыть СССР, развивая мощность в 1.500.000 киловатт и снабжая своей энергией сотни новых промышленных центров. Прошло всего 9 лет с тех пор, и мы видим, что действительность уже перешагнула эти нормы, казавшиеся тогда утопическими,—общая сумма построенных и строящихся электрических станций (Волхова, Шатуры, Загэса в Тифлисе, «Красного Октября» в Ленинграде, Кондопожской гидроэлектрической станции, Свирстроя, Днепростроя и десятка других) перевалили за 1.600.000 киловатт, при чем советское машиностроение с успехом начинает разрешать вопросы постройки паровых и водяных турбин мощностью в десятки тысяч лош. сил. Этот же бесперебойный рост должен быть обеспечен энергостроительству и на ближайшие годы.

«На организации рациональной, научно-построенной энергетической базы нашего хозяйства необходимо сосредоточить максимум сил и внимания. Разрешение задачи всемерного и быстрейшего развития крупной машинной индустрии, радикальной переделки на этой основе сельского хозяйства возможно лишь при мощном под'еме энергетики страны» — пишет А. И. Рыков в своем приветственном письме Всесоюзному энергетическому с'езду в мае 1928 года.

Вот почему на этот фронт народного хозяйства должно быть направлено наше внимание. Пятилетний план к 1932—1933 году предусматривает для добычи угля увеличение до 75 миллионов тонн, для торфа — 16 миллионов тонн, для нефти — 22 миллиона тонн, при чем относительно последней цифры более чем вероятно благодаря нахождению нефти на Урале значительное превышение.

Производство механической энергии сравнительно с нынешним увеличится в 2 раза, дойдя до 30 миллиардов киловатт-часов; выработка электроэнергии должна вырасти в 4½ раза, достигнув 20 миллиардов киловатт-часов в год. В соответствии с этим гигантским энергетическим планом особое внимание должны привлечь к себе оценка природных запасов энергии СССР и их сравнение с мировыми ресурсами.

Общую мощность двигателей во всем мире проф. Рамзин оценивает в 300 миллионов лош. сил (не считая мощности 30 милл. автомобилей, могущих дать еще 600 лош. сил). На долю СССР с его 130 миллионами населения приходится лишь 12 миллионов лош. сил в двигателях, или около $^1/_{10}$ лош. сил на душу, при чем эти 12 миллионов лош. сил выполняют работу по меньшей мере 500 миллионов человек. Как далеки мы здесь еще от Америки, где на 110 миллионов населения имеется около 130 миллионов механических сил... Наша отсталость станет еще яснее, если мы сопоставим разные цифры душевого потребления электроэнергии. Так в 1927 году во всем мире ее было выработано около 170 миллиардов киловатт-часов[1]), при чем в Швейцарии на 1 человека приходится в год около 700 кв.-часов, в С.-А. С. Штатах — около 500, в Германии — около 150, в СССР — около 20 кв.-ч.

Мы обладаем около 400 миллиардов тонн каменного угля — почти 7 проц. общего мирового запаса и скоро, в виду истощения мировых запасов, будем крупнейшими владельцами нефти, — сейчас, без новых уральских залежей, в СССР имеется свыше 4 миллиардов тонн нефти, или почти 40 проц. мировых ресурсов. По торфу мы обладаем $^3/_4$ всех торфяных запасов мира, при чем не используем даже его естественного прироста.

Но успокоиться на этих цифрах нельзя. Запасы Союза велики, но не беспредельны, а исключительно быстрый рост социалистического хозяйства страны не замедлит уменьшить ее энергетические ресурсы. Тревога об их скором исчезновении должна поэтому, как и в других странах, отразиться в нашей технической мысли.

Борьба за экономию запасов топлива. Современная заграничная техника почти повсеместно отказалась уже от дерева как от дешевого топлива. Химия открыла в древесине такое неисчерпаемое разнообразие материалов, что просто сжигать его в топках нельзя не назвать расточительностью.

Древесная масса сейчас является основным сырьем для бумаги, из древесной клетчатки можно готовить отличный корм для скота, из нее же можно получить вискозу для искусственных тканей, из дерева путем перегонки можно извлечь смолу, скипидар, уксусную кислоту, ацетон, этиловый спирт, канифоль и т. д. Выше мы упоминаем о том, что и каменный уголь содержит в себе много ценнейших химических материалов, начиная от тяжелых каменноугольных масел и кончая тонкими анилиновыми красками и ароматическими веществами для парфюмерии.

Замечательные работы академика Ипатьева и иностранных химиков Фишера, Бергиуса и др. позволили за последние годы надолго отодвинуть угрозу нефтяного голода. Сейчас техника располагает возможностью при высоких давлениях и температуре превратить уголь в жидкое топливо, не уступающее бензину и нефти.

Принцип экономии топлива ярко сказывается и в другой области—в борьбе с тепловыми потерями на современных паровых станциях. Изоляция паропроводов, возможное использование тепла уходящих газов в экономайзерах, паро- и водоподогревателях, борьба с дымом — вот неполный перечень этих рационализаторских мер.

Самое пристальное внимание уделяет современная техническая мысль делу снижения «накладных» энергетических расходов на трение в двигателях и в связанных с ними машинах. Снижение этих потерь на несколько процентов путем рационально выбранной смазки и правильного ухода дало бы уже экономию в десятки миллионов лош. сил.

Глубокие энергетические резервы. Итак, нефть на исходе, угля хватит на 150—200 лет, водные силы, даже при разрешении проблемы беспроводной передачи энергии, могут оказаться недостаточными для удовлетворения скорого энергетического голода. Какими, в таком случае, резерва-

---

[1]) Киловатт-час — мера энергии, соответствующая работе 1,36 лош. сил за один час и могущая, напр., заставить гореть в продолжение часа 20 штук 50-свечных ламп или накачать около 1.000 куб. м. воды на высоту 250 метров (учитывая потери).

ми может располагать будущее человечество?

Это, во-первых, энергия ветра и энергия поднятого им морского волнения, затем энергия океанских приливов и отливов, энергия теплоты земного шара, тепловые запасы океанов, атмосферное электричество, энергия солнечного излучения и, наконец, внутриатомная энергия. Само собою очевидно, что ход и последовательность завоевания этих запасов энергии могут быть совершенно иными, чем в приведенном списке.

Начнем с энергии ветра. Новое слово в построении ветряных двигателей сказали американские конструкторы, создавшие около 40 лет тому назад оригинальный тип мощных и легких ветряных моторов, работающих даже при очень слабом ветре и в то же время не боящихся сильных его порывов, так как они имеют устройство, автоматически ставящее крылья в безопасное положение. Мощность ходовых ветряных двигателей равна при средней силе ветра около 10—15 лошадиных сил, но построены и работают также и большие двигатели с крыльями диаметром в 20 метров, развивающие даже при слабом ветре несколько десятков лошадиных сил. Главным недостатком ветряного двигателя служит неравномерность в развиваемой им силе, обусловливаемая непостоянством ветра, и часто вызывающая необходимость в устройстве аккумуляторных электрических батарей.

Много надежд возлагают сейчас на применение к ветровым двигателям ротора Флеттнера, с таким успехом примененного в мореплавании, где этому изобретению, быть может, суждено вытеснить прежние громоздкие паруса. Уже составлен проект постройки около Берлина огромных железных башен в 200 метров высотой, с гигантскими ветровыми колесами и ротором, которые должны развивать мощность в несколько тысяч лошадиных сил. С успехом начинает применяться в качестве ветровых турбин «вингротор» Савониуса, двигатель чрезвычайно простой конструкции, из двух сдвинутых железных полуцилиндров, укрепленных на вертикальном валу.

На море действие ветра проявляется главным образом в образовании морских волн. Было выяснено, что при высоте волн в 5 метров энергия их на поверхности одного квадратного километра может быть исчислена в несколько сот тысяч лошадиных сил. Что сказать тогда об энергии волн во время бури на пространстве даже небольшой части океана?

Попытки использовать энергию волн делаются уже давно, да и теперь время от времени мы слышим о новых механизмах для этой же цели. Но, повидимому, пора для удачного решения этого вопроса еще не пришла, так как в распоряжении техники имеется целый ряд других мало использованных источников энергии.

Обратимся теперь к рассмотрению другого источника гидравлической энергии, обязанному своим происхождением силе притяжения луны и солнца, — морским приливам и отливам. Энергия эта получается в результате последовательных под'емов и падений огромных водяных масс и оказывается, конечно, тем больше, чем значительнее высота приливной воды в данной береговой полосе. Высота приливов на разных морских побережьях колеблется в очень широких пределах, достигая иногда у берегов Европы 6—8 метров. Устраивая на берегу моря при помощи дамб и плотин более или менее обширные бассейны для воды и выпуская ее оттуда во время отливов через водяные двигатели, можно получить известную, колеблющуюся по своей величине, мощность. Такие небольшие приливно-силовые мельницы работают уже несколько сот лет в некоторых местах английского побережья.

Разработаны также несколько крупных проектов приливных гидроэлектрических станций на побережье Бретани, в Англии и Калифорнии. Сосчитано, что на северном и западном побережьи Франции можно с выгодой утилизировать около 1.300.000 лош. сил. Составлен даже подробный проект устройства грандиозных двух морских силовых

станций около Бристоля в Англии с мощностью в 500.000 лош. сил.

Запасы внутренней теплоты земного шара с трудом поддаются даже приблизительному учету. При прорытии глубоких шахт было замечено, что с углублением в почву температура последней возрастает на 30—33 градуса по Цельсию на каждые 100 метров, так что на глубине 1 километра (до такой глубины и даже более достигают несколько шахт в Европе) окружающая температура доходит до 30 градусов, сильно затрудняя производящиеся работы.

В Италии, в Тосканском промышленном районе, уже около 20 лет идет использование внутренней земной теплоты, заключенной в горячих вулканических парах, вырывающихся там из горных расселин. Ток, вырабатываемый станцией, построенной там в 1912 году, питает окружающий район с городами Флоренция, Пиза, Ливорно, Сиенна и др. В Калифорнии в графстве Сонома пробиты две скважины, пар которых вращает турбины местной электрической станции. Там же город Хельдбург снабжается светом и теплом от такого же подземного источника энергии. В Дании недавно разработан проект использования тепла многочисленных горячих ключей и гейзеров Исландии.

С интересным проектом выступил недавно (в 1920 году) на одном из лондонских с'ездов известный инженер Парсонс, а позднее — германский инженер Леммель, предлагавший вырыть шахту глубиной около 18 километров для использования теплоты земного шара, но встретил ряд серьезных возражений. Если даже допустить, что удастся построить такие машины, которые могли бы производить рытье шахты при температуре выше кипения воды, то все-таки вряд ли можно окупить те огромные затраты, которые понадобились бы на осуществление такого гигантского предприятия, тем более, что плохая теплопроводность окружающего камня значительно уменьшит ожидаемый эффект установки.

Гораздо реальнее предположения о возможности утилизировать колоссальные тепловые запасы, заключенные в поверхностных водах тропических океанов.

В проекте Дорнига и Боджио океан рассматривается как гигантский парник, верхним стеклом которого служит атмосфера. По идее изобретателей, морская вода при температуре 25 градусов пропускается через особую камеру с трубками, по которым циркулирует легко кипящая жидкость (например, нашатырный спирт), пары которого идут в установленные рядом турбины. Отработанный пар из последних сгущается в конденсаторах и вновь поступает в котел. Конденсатор, связанный с турбиной, охлаждается холодной водой, подающейся по трубопроводу с глубины 500—600 метров. Таким образом, для работы машины используется разность температуры около 20 градусов между верхним и нижними слоями воды.

Авторы проекта предлагают установить все механизмы на солидных железобетонных понтонах, удерживаемых якорями, и передавать энергию на сушу посредством подводного кабеля.

С аналогичными проектами выступили недавно германский инженер Бройер и итальянец Тарцафальви, предлагавший использовать различную степень растворимости аммиака при разных температурах. Наибольший успех, однако, имел в 1928 году проект известных французских ученых Клода и Бушеро, доказавших в лаборатории и на опытной заводской установке техническую возможность использования энергии водяного пара при низких давлениях и температуре около 20 градусов. Работы эти привлекли уже внимание финансовых и промышленных кругов, серьезно обсуждающих вопрос о постройке мощной, в 100.000 сил, плавучей тепло-электрической станции около берегов Кубы, с попутным использованием отработанной холодной воды для охлаждения жилищ и общественных зданий.

Крупным достоинством таких станций явится регулярность их работы, чего нельзя сказать о ветровых и приливных установках. Творческую мысль инженера не могла не заинтересовать идея использования гроз и вообще атмосферного электричества.

Измерения электрического потенциала показали, что уже на высоте 1.500 метров напряжение достигает 120.000 вольт. Плаусон предлагал поднять на воздушных шарах проводящие поверхности с остриями, которые могли бы отводить значительное количество атмосферного электричества. Практика, однако, показала, что токи эти, благодаря своей слабости, несмотря на высокое напряжение, не могут представить никакого интереса для техники.

Переходим к энергии солнечного излучения. Выше мы уже говорили о том колоссальном количестве энергии, которое несут с собою солнечные лучи. В среднем можно сказать, что тепловая энергия, падающая на 1 кв. метр за год, равна 2,5 милл. калорий, что соответствует работе 0,46 лош. сил., или ок. 4.600 лош. сил на 1 гектар. Попытки так или иначе уловить хоть часть этого теплового потока делались уже с давнего времени. В этом отношении интересны работы Бюффона (1760), Хозена (1775), Соссюра (1770), Гершеля (1834), Адамса (1878), Мушо, Церасского (1890), Ланглея, Аббота и др. Сколько-нибудь удачные попытки использовать солнечное тепло в качестве двигательной силы принадлежат Эриксону, устроившему в Калифорнии в 1898 г. гигантское параболическое зеркало, нагревавшее небольшой паровой котел, питавший паровую машину. Успешны были также работы Телье и Шумана, чья солнечная паровая машина поднимала воду для орошения. Американец Уилси считает, что стоимость 1 установленной лошадиной силы его гелио-мотора обойдется не дороже 300 рублей. Берландом серьезно разработан проект крупной солнечной силовой установки в Сахаре. Заслуживают внимания также проекты Маркузе и нашего советского ученого Вейнберга. Конечно, это еще первые робкие шаги солнечно-силовой техники, и для конструкторов и изобретателей здесь огромное поле для творческого полета их мысли. Задача стоит того, чтобы над ней поработать, — ведь одни безбрежные пространства Сахары способны дать на своих 5 миллионах кв. километров до 250 миллиардов лош. сил, т. е. в сотни раз более того, что сейчас необходимо всей человеческой культуре.

В южных областях, в Закавказье и особенно в Туркестане, где небо ясно и где солнечные лучи с избытком падают на землю, — солнечные двигатели несомненно должны найти себе самое широкое применение. Но все эти вышеперечисленные источники энергии — ничто перед скрытыми еще для нас запасами внутриатомной энергии. Открытие радия и последующие работы над этим замечательным элементом приводят нас к выводу о распаде материи и ее превращении в энергию. Было высчитано, что за 2.500 лет своего распада один грамм радия может дать 3,7 миллионов больших калорий... Один килограмм угля, дающий при сжигании 7 тысяч калорий, при атомном распаде (пока еще для нас недоступном) мог бы выделить 21 миллион б. калорий тепла... Атомной энергии ¼ кг. угля было бы достаточно, чтобы провезти поезд из Ленинграда в Москву, а распад 100 тонн, т. е. 2 вагонов материи, мог бы возместить годовую затрату энергии всех двигателей на земном шаре.

Цифры эти подавляюще велики. Овладев тем «волшебным словом», которое могло бы регулировать скорость атомного распада вещества, человечество получило бы в свои руки действительно неисчерпаемые запасы энергии, которые в корне преобразовали бы всю его технику и культуру...

Люди и факты

1. БОРИС КУШНЕР. Новый сев. — 2. ВАСИЛИЙ РЯХОВСКИЙ. Земля бродит. — 3. Н. А. БАЙКОВ. Поиски жень-шеня. — 4. А. СМИРНОВ-КУТАИССКИЙ. На Вареговом болоте.

1. НОВЫЙ СЕВ

(Из книги «Южное сияние»)

Борис Кушнер

Ранней весною неплохо горожанам пробираться из столицы к степному чернозему, туда, где трактора напрягают все силы внутреннего своего сгорания и ломают блестящими отвалами древнее рабство земледельца.

Наша деловая поездка на чернозем вышла веселой и неорганизованной, как пикник. Хоть и была она решена недели за две до срока, но в обстановке нашей работы тщательно собираться и подготовляться в путь не приходится. В поездке должно было принять участие семь человек. Двое, запыхавшись, вбежали на перрон после второго звонка и ворвались в вагон уже на ходу поезда. Двоих поезд так и не дождался, сколько ни медлил, свистя и отдуваясь паром. Поехали впятером.

Ехали то как юные пионеры, со смехом и шутками, то как комсомольцы-вузовцы, с острым зубоскальством и горячими, задорными разговорами. Не замечали друг у друга ни седых волос, ни отвислой и морщинистой кожи на щеках, ни усталых глаз. Такое беззаботное игнорирование собственного возраста вовсе не было следствием личных характеров случайно сошедшихся в весенней поездке. Это общий закон для нас. Двенадцать лет напряженнейшей работы, заботы жгучие и незатухающие требуют быстрых и бурных разрядок. Веселье и смех проскакивают между нами внезапно и мимолетно, как искры между наэлектризованными телами.

За ночь в скором поезде далеко укатили на юг по прямой железнодорожной магистрали. Утром нужно было сворачивать в сторону, в весеннюю степную тишину. Пересадка была нелегка. Ждущих отправления набралось значительно больше, чем мог вместить прибывающий состав. Человеческие тела укладывались плотно одно к другому в три этажа на сплошных нарах бывшего четвертого класса. Но даже и при таком способе посадки, или, вернее, погрузки, места для всех нехватало. Дюжие черноземные мужики могуче ворочали туго набитыми мешками и крепкими деревянными сундучками. В ожесточенной борьбе локтей, плеч и боков наши ресурсы были слабы. Не только мужики, но и бабы грозили затолкать нас. Но хитер и ловок городской человек. Вне законов и правил живой очереди водворились мы при помощи поездной бригады одними из первых в дополнительно прицепленный вагон.

Под южным солнцем у станционных раз'ездов на Таловой аккуратной и не-

зыблемой серой призмой торчал большой хлебный элеватор. Бесстрастный свидетель хлебозаготовительных кампаний, то стихийно, то организованно расплескивающихся у его подножия. Ненасытный проглатыватель красных обозов, высылаемых обновленной деревней. Неумолимый соглядатай и надежный магнит, неукоснительно притягивающий к себе сокровенное содержимое кулацких закромов.

Поезд стоял на этой станции около трех часов. Не в порядке опаздывания или каких-нибудь железнодорожных неполадок, а согласно безмятежного расписания этих необозримых и спокойных просторов.

Мы ели яичницы, поглощали простокваши, мы пили чаи, — не помогало. Некуда было девать и нечем убить такую уймищу времени. А и всего-то до места нашего назначения оставалось расстояния двенадцать километров.

Наконец, доехали. Вот он, район тракторной колонны. Издали чернеет огромными прямоугольниками вспаханного чернозема, каких никогда не знало и не может знать единоличное крестьянское хозяйство, даже самое крупное. Из окна вагона видать: вдали на склоне отлогого бугра копошится что-то энергично-живое, непривычно-четкое. Пять рук, заостренных указательными пальцами, сразу выбрасываются из окна вагона по направлению к дальнему бугру, и пять голосов ударяют одновременно:

— Колонна, колонна!

На полустанке во дворе станционного домика стихийно, не уговариваясь, начинаем приводить себя в порядок: чистим зубы, бреемся и полощемся студеной водой у колодца. Быть может, к такому тщательному туалету побуждает нас близость могущественной машинной культуры? Может быть,— раздумывать некогда: нужно торопиться к колонне.

Идем. У дороги по обочине трусит суслик. Услышал он беспощадные человеческие голоса, оглянулся, увидел равнодушные человеческие лица. Свалился кубарем зверек в колею и пустился наутек со всею сусликовой прытью, мотаясь и рыская на бегу своим круглым, толстым задиком.

На степную весеннюю, еще заспанную с зимы землю пало откуда-то великое множество мелких, тонких, почти незаметных паутинок. Они протянулись таинственными серебряными проводами по прошлогодним былинкам, по кочкам, по колеям дороги, по перевернутым сырым пластам земли. В легком утреннем воздухе они дрожат и колеблются, но тихий звон их неуловим для человеческого уха. Зато ослепительно вспыхивают они далеко видными продолговатыми искрами. Восходящее солнце от края горизонта скользит по паутинным нитям низкими прямыми лучами. И каждый луч, отражаясь от миллиардов паутинок, зажигает через всю степь от края к центру, к нам, широкую серебряную дорогу.

Воздух над степью, вопреки установленному и естественному порядку вещей, не был тих и спокоен. Приживаясь в течение тысячелетий тишина первых майских дней была глубоко и неслыханно нарушена. В разных направлениях раздавался шум, необычайный для земли, небывалый в примитивном земледелии этих полей. То гудели трактора и торопливо тарахтели за ними прицепные орудия. Отсечка ближних моторов ухала низким басом, отдаленная слышалась частой дробью или раздраженным стрекотаньем кузнечиков, которые наелись где-то сказочной «пищи богов», неимоверно раздулись от нее и стали каждый в десять лошадиных сил.

На эти звуки, не оправданные исконным степным бытом, даже мы, горожане, удивленно поворачивали головы. И неожиданно увидели себя в центре оживленного и деятельного района. По всем направлениям, вблизи и вдалеке, быстро и равномерно ползали по мягкой черной земной поверхности большеколесные силачи, таская за собою широкие и короткие сеялки, сверкающие ярко-красным лаком. Люди, как серые жирные оводы, кружились вокруг машин и прилипали к их вздрагивающим от работы туловищам.

Парилась земля, клубился воздух над нею. Еще сильнее клубились наши горячие речи. Шел спор о колонне.

Четырнадцать деревень заключили договор с нею. По форме договор на обработку земли, по существу на полную перестройку всего крестьянского хозяйства. Колонна взялась вспахать всю крестьянскую землю. Поднять всю старую залежь, принадлежащую четырнадцати сельским обществам, и весь тучный чернозем, много лет втуне накапливавший плодородие, неиспользованное благодаря нищете и неграмотности, темному быту, сложившемуся в безысходный, казалось, кретинизм деревенской жизни.

Четыре года подряд в окопах, поливаемый ураганным огнем, болея тифом и дезинтерией, в смертном ужасе штыковых атак, в кровавой ржавчине отступлений и погромов учился черноземный мужик владеть винтовкой и пулеметом. Научившись, перебил помещиков и сам завладел своей землей.

Кто знает тяжелые невысказанные крестьянские думы? Ковыряя неуклюжими лемехами древней сохи засушливую корку нещедрого родимого чернозема, что думал он о революции в течение долгих десяти лет?

Не стало помещика. Избыл я вековечное рабство. Один лицом к лицу со своей землей. Вольготней ли стал мой труд, сытнее ли, счастливее ли растут мои ребятишки?

Приезжали из города агитаторы. Говорили о трудностях строительства, о капиталистическом окружении, о смычке с городом, о пользе кооперации.

Шел мужик в кооператив, свозил свой хлеб, укрепляя смычку. А звериный труд попрежнему ломал ему кости. Кому ведомы горькие невысказанные думы крестьянина?

Но вот случилось что-то. Где-то, видно, назрело, по-иному, по-новому обернулось. Впервые за десять лет по-настоящему улыбнулась революция мужицкой нужде и мужицкому горбу. Пришла на крестьянское поле тракторная колонна.

Взялась колонна по договору об'единить всю крестьянскую землю в один массив, уничтожить вековые межи, распахать поля с осени под зябь, весной взборонить, обсеменить, урожай собрать, обмолотить, крестьянам сдать. Плата за все—треть урожая с ярового клина да четверть — с озимого За такую услугу недорого. Дешевка! И еще обязались крестьяне свезти на кооперативный ссыпной пункт весь свой товарный излишек. Так это они и без колонны делают все ежегодно и добровольно, за исключением одних лишь кулаков.

Шагали мы веселой гурьбой по обновленной территории четырнадцати селений, и горячий спор вился над нами, как рой весенней мошкары.

— Колонна всю работу взяла на себя? Позвольте—ведь это не разрешает проблемы. Крестьянин отставлен от земледелия за ненадобностью. На вспомогательных работах по обслуживанию колонны, по подвозу топлива, материалов, зерна, на тракторах трактористами и на машинах—машинистами не так уж много рук будет занято.

— Труд крестьянина, освобожденный от пахоты, сева и уборки, будет направлен на развитие продуктивного животноводства, на создание и организацию перерабатывающей промышленности, словом, на усовершенствование и дальнейшее развитие хозяйства.

— Но ведь это только голая схема. Далеко не везде, где возникнут тракторные колонны, окажется возможным разведние скота в таких размерах, чтобы это могло занять освобожденные рабочие руки и рабочее время. Что до перерабатывающей сельской индустрии, то в зерновых районах на нее не скоро еще можно будет рассчитывать.

Сторонники колонн не сдавались. Они указывали на садоводство и бахчеводство, на желательность разведения пчел, на неизбежность введения в севооборот новых культур, требующих переработки в самом хозяйстве.

Сомневающиеся, однако, не переставали сомневаться и задавать недоуменные вопросы. Нигде в мире люди не сомневаются так часто, так охотно и с таким наслаждением, как у нас. Это уж исстари в нашей стране так повелось. Еще в те поры, когда отдаленные предки и предшественники наши сомневались насчет пользы иноземного просвещения—«не внесло бы

оно, дескать, смуты в единоверную нашу страну и не повредило бы православной отеческой вере». Привычка к сомнению, охранявшая боярскую феодальную Русь от просвещения, развивалась и углубилась впоследствии полицейским режимом самодержавного правительства. Она была доведена до крайнего своего выражения в мещанско-чиновничьей формуле — «как бы чего не вышло».

Так мы и не разрешили спора нашего о вреде или пользе тракторных колонн. Времени нехватило — слишком скоро подошли вплотную к одному из работавших в поле отрядов.

Землю, глубоко и равномерно вспаханную тракторами, разрыхленную стальными вогнутыми дисками, причесанную боронами «зигзаг», прицепляемыми к Фордзону гроздьями или очередями по десять штук сразу, нельзя обсеменить беспородными, плохими, слабосильными крестьянскими семенами. Ни один крестьянин, даже самый темный, не согласится в многоценную мякоть машинной пахоты бросать дурные семена. В договоре, заключенном колонной, предусмотрено, что посев производится только семенами чистосортными, наилучше очищенными и протравленными. Чтобы не разрастались на крестьянских полях сорные травы, угнетая хлеб, чтобы колос не поражала черная головля или другая какая повальная болезнь.

Мужик не очень-то привык к заботам о себе с чьей бы то ни было стороны и не очень-то им доверяет. Договор договором, однако, с пытливой зоркостью, с хозяйской настороженностью склоняется он над мешками с посевным материалом и заглядывает в них. Задумчиво потряхивает семена на ладони, пропускает тусклое пшеничье золото сквозь пальцы и качает головой.

— Да... семя, конечно, слов нет...

Видимо, в отношении качества, натуры и иных семенных статей он не может найти явных недостатков. Семя ему нравится, но похвалить он боится: как бы не стали давать похуже. Степенно подходит к другому мешку. Тут в его глазах вспыхивает огонек лукавый и негодующий.

— Нешто такими семенами под трактор сеять можно? — говорит он протестующе, протягивая к нам на ладони горсточку пшеничных зерен. Пальцем черным и заскорузлым, как сухой сучок, перебирает он их, отделяя в сторонку мелкие комочки земли, едва отличимые от зерен камушки и семена диких сорняков. Следя за безошибочным мужицким пальцем, начинает казаться, что засоренность зерна в этом мешке на самом деле несколько больше, чем в предыдущем. Даже агроном, руководящий работой отряда, вынужден сознаться, что посевной материал несколько «подгулял». Таких мешков оказывается несколько. Крестьяне об'ясняют это нерачительной работой элеватора, агроном — тем, что семенаде эти из последних партий, очищавшихся уже непосредственно перед самым севом, в спешке и потому не доведенных до нужной степени чистоты. Мужичок, обнаруживший столь существенную неисправность, торжествующе ходил вокруг мешков и расспрашивал, кому на это жаловаться.

В течение четырех весенних дней, ярких, легких и длинных, как красная ткань на праздничных знаменах, мы побывали в трех тракторных колоннах—Охочевской, Хохольской и Таловской. Все они расположены в южных округах Центральной Черноземной области. Таловская колонна — недалеко от границы Северного Кавказа. Характер степи здесь совершенно такой же, как и в прилегающих северо-кавказских округах.

Охочевская колонна старше остальных. У нее есть уже некоторый опыт. Хозяйство ее быстро налаживается. С осени была полностью проведена зяблевая вспашка. Главный ее недочет: тракторов мало и все они — маломощные. Недостает и прицепных орудий к тракторам.

Для управления тракторами колонна сама создала для себя кадр из 63 трактористов. Все из крестьян, заключивших договор с колонной. Зиму обучались они на организованных колонной тракторных курсах, а весною выехали

на машинах в поле пахать, дисковать, боронить и сеять. Среди трактористов три девушки. Их лица полыхают ярким пламенем от восторга и возбуждения, они стараются вести машину в струнку, и руководители работ отмечают более высокую точность, исполнительность и напряженность их труда по сравнению с трактористами-мужчинами.

Я расставил треногу своего фотографического аппарата и приготовился снимать движущийся на меня отряд. Головную машину вела трактористка. Фордзоны шли медленно, упираясь многолемешными плугами в тяжелый, сырой чернозем. Глаза трактористки горели такой отвагой и таким самозабвением, как у молодого красного командира, впервые ведущего отряд в атаку. Крепкие руки трактористки так надежно лежали на баранке руля, как лежат только у гонщика в мировом состязании на скорость. Преувеличенная старательность эта, разумеется, не оправдывалась требованиями работы. Она вызывалась захлестывающей волной энтузиазма, восторгом весны, солнца, молодости и машинной радости.

Земля—старуха. Вся земная кора пошла от старости морщинами и складками. Ровных мест, где бы без помехи разгуляться тракторам, не так уж много можно встретить. Степь в районе Охочевской тракторной колонны волниста, бугриста и испорчена широкими балками. Ночью, когда мы шли пешком из базы на станцию, освещая в кромешной южной ночи свой путь фонарями «Летучая мышь», изрезанность местности показалась нам зловещей, а наша невинная прогулка—таинственным похождением людей, отправившихся на поиски зачарованных сокровищ. Днем овраги и балки выступали без всякой таинственности, как простая помеха тракторам и машинам.

База колонны расположена за рекой и за оврагами в бывшей монастырской усадьбе. Степной монастырь был небогат. Известнейший черносотенец и погромщик царского времени Марков 2-й, которому принадлежали некогда все окрестные земли, также мало заботился о великолепии монастыря, как и о культурных методах ведения хозяйства. Все же в наследство от монахов колонна получила несколько домиков деревянных и даже каменных. В них разместили материальные склады, кухню, столовую и детские ясли. Главное каменное зданпе отвели под агрономическую школу. В школьном учебном зале шла работа по протравливанию семян. Применялся мокрый способ протравливания формалиновым раствором. Девочки-подростки, ученицы школы, торжественно, старательно и точно исполняли все несложные действия, требуемые работой: подливали формалиновую жидкость в бачек, подсыпали зерно в воронку и крутили ручку аппарата.

Термин «колонна» нередко порождает недоразумения. Думают, что в колонне трактора выезжают на работу и работают обязательно одновременно, выстраиваясь в ряд или один за другим. Потому, дескать, и называется «колонна». На деле подобное построение редко увидишь. Такой метод работы обычно не только не нужен практически, но и неосуществим. Речки, балки, овраги, канавы, низины, бугры—все то, что ученые землеведы называют микрорельефом местности и что встречается везде, даже в привольной, просторной и гладкой степи, — мешают работе тракторов и машин большим сплошным развернутым фронтом. Да он ничего и не дает, такой способ, так как производительность и используемость машин отнюдь не увеличивается от построения их на работе в один ряд. Только в немногих крупных и особенно сверх-крупных хозяйствах, где условия местности особо благоприятны, трактора ведут работу в поле «колонной». Что же касается всем известных фотографических снимков, помещаемых в газетах и иллюстрированных журналах, то они создаются ради эффектности, красивости снимка. Трактора, выстраиваясь в один ряд, позируют перед фоторепортером.

Обычно тракторные колонны разбиваются на отряды, работающие одновременно в нескольких местах. При хозяйстве в шесть с половиной тысяч гектаров Охочевская колонна располага-

ла к весеннему севу всего лишь 38 легкими десятисильными тракторами Фордзон и однотипной Фордзону советской марки «ФП», выпускаемой «Красным Путиловцем». Энергетическая база, как принято у нас выражаться, совершенно недостаточна, не соответствует размерам хозяйства. Однако, и с ней была развернута и выполнена огромная работа, которая резко бросалась в глаза каждому, даже совершенно несведущему в земледелии человеку. Трактора и машины в Охочевке были разбиты на пять отрядов. Они совершали различные работы, в зависимости от культуры, под которую подготовлялся участок, и от того, насколько земля на нем успела подсохнуть. В то время как в одном месте шла пахота, в другом уже дисковали и боронили, а в третьем даже приступали к севу.

Хохольская колонна в 15 километрах от станции Латная. Пришлось бы нам все это расстояние махать пешком, так как в рабочую пору сыскать лошадей не так-то легко и, пожалуй, не удалось бы. Помог шамотный завод, расположенный у станции,—снабдил нас лошадьми. Пока готовили подводы и запрягали лошадей, мы лазали по мастерским и осматривали имеющиеся непременно на каждом советском предприятии нововведения, улучшения и усовершенствования. Как полагается, все они основаны на собственной заводской изобретательности, в значительной части рабочей. В этом отношении затерянный в степи заводик не отстал от крупнейших предприятий в промышленных районах. Мы осматривали устаревшее газо-генераторное устройство. Удивлялись огромным чашам для промывки угля, вращающимся с медлительностью куполов на звездной обсерватории. Со страхом заглядывали в узкий глазок гофманской печи и умолкали, пораженные, увидев и ощутив, какой пламенный ад бушует под нашими ногами.

Путь от станции до колонны весь представлялся нам как наглядное пособие по изучению мелкого и мельчайшего индивидуального крестьянского хозяйства. Какая картина! Чувство глубокой ненависти, отвращения, обиды за человеческое достоинство и человеческий труд вызывает вид этих жалких наделов и почти идиотических способов обработки земли. Район этот сравнительно плотно населен, и обеспеченность землею невелика. На душу всего один гектар с четвертью. Такое малоземелье делает крестьянские наделы тощими и узкими, превращает их в настоящие черноземные сосиски, плотно лежащие друг у друга и разделенные лишь сомнительным гарниром меж, сплошь заросших сорными и вредными травами. Мужики пашут землю огромными деревянными сохами. И столько времени продолжается провести этим неуклюжим орудием по измученной почве жалкую царапину, что кажется: мужику до самых июньских засушливых дней не перепахать своей сосиски-полоски.

Колонна работала на огромном бугре, который почтительнее было бы назвать холмом, возвышающемся за рекою Девицей. Переезда через реку нет. Есть утлый извивающийся мосток в одну тесинку шириною, укрепленный на сомнительных жердочках и снабженный с одной стороны не менее сомнительным перильцей-поручнем. А Девица широка, быстра и мутна. С этих мостков ежегодно люди срываются в воду. Иной выплывет, а иной и утонет. Нужды нет, мосток стоит нерушимо, как нерушимо течет Девица и нерушимо еще на правом берегу ее деревянные сохи царапают деградированный чернозем.

Зато левый девичий берег охвачен технической революцией и машинотракторным энтузиазмом. Плугами, дисками и зигзагами грызут холм 32 трактора. Из них лишь шесть новых от «Красного Путиловца», остальные изношенные, изломанные и отвратительно отремонтированные американские Фордзоны. Но даже и этот машинный лом героически совершает чудеса технической реконструкции и социального переустройства. Всего в селе Хохлы более десяти тысяч жителей и семнадцать тысяч гектаров земли. Колонной

охвачена пока лишь треть этого массива. Нужно признать, что и этого слишком много, непосильно для трех десятков давно надорвавшихся на работе Фордзонов, из которых большинство давно уже утеряло значительную часть своих первоначальных десяти лошадиных сил. Будь у колонны сто тракторов, не было бы больше в селе Хохлы ни индивидуального крестьянского хозяйства, ни циклопических деревянных сох. Заметно сказывается в Хохольской колонне и недостаточность в квалифицированном персонале. Имеется всего один механик, да и тот, по отзыву инструктора Хлебоцентра, «имеет отрицательности в смысле употребления руганья на работе».

На обратном пути из Хохлов по полям не видно было больше мужиков в лаптях с деревянными сохами и боронами. Их смыли с полосок вечерние сумерки. В синеющей степной предвечерней мгле по обеим сторонам дороги четко темнели два старых кургана. Похоже, что это передовые курганы, самые северные аванпосты привольной степи. На них когда-то день и ночь держала дозор казацкая вольница, опасаясь нежданного прихода с севера московских поработителей и угнетателей. Теперь курганы отмечают северную границу степного тракторного земледелия. По весне они так же, как и встарь, пристально глядят на полночь и так же думают о Москве. Только пристальность их стала иной. Ждут они ныне оттуда вестей не об отрядах завоевателей, а о новых тракторах и машинах, о новых способах перестраивать хозяйство и жизнь.

Таловская тракторная колонна возникла в степной пустоте. Здесь нет ни села, ни монастырской усадьбы, как в Охочевке или в Хохлах. Зато больше степного простора, жарче весеннее солнце, тучней чернозем. База колонны строится на пустом месте. Пока что она состоит из одного лишь деревянного сарайчика, в котором хранится вспомогательный тракторный инвентарь — наиболее ходовые запасные части, инструменты, масло. Кроме сарая, есть еще земляной погреб для горючего.

В двенадцати километрах на станции Таловая имеется большой элеватор и только-что построенные каменные хорошо оборудованные районные тракторные мастерские. Такое соседство придает 44 тракторам колонны спокойную уверенность в своих силах. В пустой степи машина беспомощна и чувствует себя плохо. Для уверенности в себе и спокойной работы ей необходимо, чтобы поблизости где-нибудь стояли токарные и сверлильные станки и набор ручных пил лежал бы на верстаке у тисков. Тогда машина спокойна, тогда ей работается легко и не боится она перегрузки и не стоит за тем, чтобы в страдную пору износиться и израсходоваться больше положенного.

Из семи тысяч гектаров всей земельной площади об'единенной колонной под зябь были распаханы и подготовлены к весеннему севу две с половиной тысячи. Кое-где зяблевые участки лежали набухшими, мягкими, напоенные весенней полою водой. Их нельзя еще было ни дисковать, ни боронить. В иных местах дискование шло полным ходом. А на отлогом скате холма, обращенном на юго-восток, начался сев. Мы шли к этому участку.

Вдоль железнодорожной линии вытянулся большой прямоугольник поднятой под зябь целины. Я усомнился:

— Откуда целина в этом издревле обжитом районе? Вероятно, залежь старая?

— Ну, да, залежь, — согласился агроном, — это мы так уж привыкли — целина и целина. Да и разницы-то нет, залежь очень старая.

— А выяснили вы, сколько времени участок этот оставался необработанным?

— Как же, безусловно выяснили. По нашим сведениям, земля эта обрабатывалась самое раннее 120 лет тому назад.

Я рассмеялся невольно. Какими средствами в степи установил агроном такую головокружительную хронологию? Какой старожил подтвердил ее своими свидетельскими показаниями? Почему 120 лет, а не просто «с незапамятных времен»? Это было бы более в степ-

ном духе, — в степи все сложилось и установилось с незапамятного времени.

Наконец, пришли на участок, на котором шел сев. Невиданный, неслыханный, обобществленный, тракторный, чистосортный. Мужики глядели истово, с уважением, говорили не торопясь. Притихли и мы. Замолкли наши резкие высокие городские голоса и торопливая, возбужденная речь. И долго и пристально всматривались мы в развернувшийся, раскрывшийся перед нами Новый Сев.

Широкозадые двадцатичетырехрядные дисковые сеялки нарядно блестели красным лаком, золотыми буквами и, качаясь, шли за тракторами по черноземным глыбам. Играя, волочили они за собою железные кольца, заметающие дисковые борозды. Глядя на яркие сеялки с полполя, казалось, что трактора от весенней радости распустили пышные павлиньи хвосты и, помахивая ими и красуясь, ходят по полю взад и вперед.

Солнце жгло и парило в утренний час, как у нас в полдень. Земля степная, засушливая, торопясь, отдавала солнечным лучам свою влагу. Каждый луч, падая на земную поверхность, испарял несколько капель воды. А весь могучий поток проливающегося с неба южного света поднимал над степью тысячи тонн водяного пара. Пар был горяч, совершенно бесцветен, прозрачен и невидим. Но бурное его восхождение вверх колебало и струило легкий чистый воздух. И это колебание, эти воздушные струи были заметны глазу. Особенно волновались, дрожали и струились самые нижние слои атмосферы, непосредственно прилегающие к почве. От этого вся поверхность земли казалась неспокойной. Край земли по горизонту колебался вместе с воздухом быстрой мелкой зыбью. На близких рельефах почвы зыбь казалась крупней и глубже. Степь жила превращением энергии и обменом веществ. Степь дышала.

В это жаркое весеннее время солнце в течение одного дня вытягивает из степной почвы столько влаги, сколько хватило бы, чтобы обеспечить самый обильный урожай. Потому-то эти погожие дни так дороги для степного зернового хозяйства. Поэтому-то мужики, трактористы и агрономы с такой настойчивостью пробуют руками жирные пласты вспаханного чернозема, разминают его липкие комья пальцами, допытываясь всячески, нельзя ли уже боронить, не время ли сеять. Дорого время, дорог час. Упустить время, запоздать на день, на два значит, быть может, упустить весь урожай.

Работа на участке недавно еще началась. Еще не все сеялки были заправлены и пущены по полю. Одна дольше других не ладилась. Наконец, и она двинулась в путь. Я пошел за нею следом, глядеть, как высевается зерно и как заделывается дисками в землю. Строгая работа железной машины, скупо отсчитывающей зерна, предназначенные для каждой бороздки, отнюдь не показалась мне неживой и бездушной.

Я вскочил на подножку, постоял и уселся на железный ящик с зерном, заведя разговор с трактористом. Он не стал спорить со мною, как городские мои товарищи. Он не доказывал мне, что трактор полезен крестьянину, не придумывал способов рационально использовать мужицкий труд, освобожденный машиной. Он рассказал мне, как рождалась и как строилась колонна в степных селах. На первом организационном собрании за заключение договора с колонной высказалась только лишь десятая часть крестьян. Непонятно было и тревожно. Большинство не верило. На следующий день созвали собрание вторично. Гуторили до трех часов ночи. С трудом сколотили большинство голосов. Тогда принялись за работу кулаки. Одного застращали, другому дали семян, третьего еще чем-то соблазнили. Не прошло и трех дней, как все высказавшиеся на собрании за колонну стали один за другим отказываться. Пришлось вновь начинать сначала. По группам организовывали бедноту и середняков. Снова собирались два дня сряду. Крепко спорили и ругались, не расходясь до глубокой ночи. И все же порешили:

быть Таловской колонне. Однако, борьба не прекращалась, — ведется она и сейчас. Только иными методами. Клеветой и слухами, нашептыванием, раздуванием неудач и трудностей. Но машинная работа в степи хорошо спорится. Ее железная логика понятна каждому землепашцу. И ясно: уже никакими силами не отбить бедняков и середняков от тракторной колонны.

2. ЗЕМЛЯ БРОДИТ

Очерк

Василий Ряховский

Доделистые люди

Остались сзади кочковатые мочежины торфяных болот, строгие в своих густо-зеленых колпаках леса, деревянные селения. Поезд прорвался сквозь круглые, похожие на расползшиеся пироги, увалы средне-русского водораздела,—поля обрадовали глаз сочной чернотой. Начинались придонские степи. Деревни уходили взад соломенные, домовитые, и ветряки на ветросборных курганах махали вслед облакам приветливо и домовито.

Поезд повернул от главных магистралей в сторону, и в вагонах стало просторно и тихо: хлопотливые курортники и деловые люди из крупных трестов сменились кучками ездивших «до своей губернии» крестьян, деревенскими кооператорами, разговоры потянулись домашние, деловые.

Увалистый, чернолицый, весь в волосатых бородавках человек, обняв нагруженный чем-то мешок из-под угля, не отлипал от окна, вертел головой, провожал взглядом кружившиеся по горизонту ржаные поля, потом плюнул и сердито оглянулся на нас.

— Мужик, вон, работай, а есть за него чорт лысый будет!

Это прорвало между спутниками отчужденность, в вагоне взмыл говор. Через некоторое время чернолицый мужик стоял, раздвинув ноги, в дверях купе, и вскидывал перед собой грязные с толстыми протабаченными ногтями руки:

— Работали люди и хлеб ели! Да еще и другим кусать давали. А теперь, выходит, так работать не годится, по-другому надо. В колектив всех загоняют. А в колективе-то чорт рогатый даст, с небес кинет? Оберут всех, ошкурят и в колектив. Тогда всем поровну жрать нечего станет. Я верно говорю!

Но с ним пока не спорили. Укаченные долгой дорогой мужики рылись в бородах и посмеивались уголками глаз. Из соседнего купе кто-то спросил сиплым голосом:

— Откуда сам-то, земляк?

— Из-под Белева.

— Что ж, круто у вас поворачивают, что ли, так ты распинаешься-то?

— А ты думаешь! По весне все выгребли и все мало. Теперь в колектив иди, а то еще круче станет.

Белевец опять обнял мешок и рыкливо выпихнул из груди смех:

— Только нас не очень повернешь, мы сами звери тращенные. Я жил хорошо, с меня и брали, а я взял да и перестал жить хорошо-то. Поди-ка, укуси меня. У нас с сыном была лошадь, корова, и выходило, что я—середняк, первый платежник. Так мы с сыном разделились. Ему лошадь, а мне корова с женой,—вот мы и сами востpые голодающие, теперь нам давай кормежку.

Он опять засмеялся, а сиплый голос полунасмешливо выкрикнул:

— Обделист ты!

В глазах чернолицого мужика сверкнуло довольство, он разгладил усы и отозвался тише:

— Будешь доделист. На этих бедняков хрип-то гнуть не вот какая охота. Он бедняк, ему от власти почет, ему подай без короткого, и он тебя еще в глаза тычет. А он по-моему не бедняк, а чистокровный лодырь. Земли

он пахать не хочет, грязно ему, видишь ли. Его дело—наряды себе покупать. У иного вострого голодающего на себе надето больше, чем все мое хозяйство стоит. Я вот чик-брык не пойду, раз у меня в хозяйстве нужды по завязку, а ему заботиться не о чем, ему так дадут.

— Коллектив всех работать заставит.

Все обернулись в сторону выговорившего эти слова мужика и сразу же в десятки голосов вскинулись:

— Кто? Колектив?

— Ну, брат, это ты сморозил!

— Свистни хоть для верности!

А чернолицый белевец скептически плюнул на пол:

— Чорт их заставит работать. Что они, дураки? Им уж место управителей готово, нами, охряпками, командовать.

— Вот это в самый раз!

— Самое для них молье будет!

— У нас вот...

Начались рассказы о деревенских случаях,—стало неинтересно.

А за окнами мелькали поля, кучерявые перелески. Дубняк, пляшущие в зеленых хороводах березки. Увалы, карточки полей, стада на взгорках и лиловая на горизонте пыль: черноземная житница, будущий плац для сказочных зерновых фабрик. Как-то встретят меня родные места, встречу я здесь живых людей или темные силы породили сплошь таких вот, как этот белевец, доделистых людей, камнями лежащих на пути обновления тутошней соломенной жизни? И когда поезд гуднул, приближаясь к давно знакомой станции, мне стало несколько жутко.

Кто кого?

«...Побежала Красивая Меча вдогонку за Доном, наткнулась на Юр-камень,—нет ей путя в эту сторону. Обозлилась красавица, заметалась второпях, туда вильнула, там махнула косой, мечется по степу, а все дальше от Дону-реки. И оттого, что мечется она, режет хвостом в разные стороны, прозвали ее Меча. А за нею, в сторонке, Птань тишкой тихой прожурчала, обмыла долинки, залила омутки,—и поросли по ней вековые дубовые леса».

Мой приятель Ермил—рыжебородый, бессносный кряж—показывал мне волосатой рукой округу, чмокал тронутыми синью первой старости губами и крякал:

— Земли в наших местях богатенные, а мужику раньше были не к руке. Где пальцем ни ткнешь,—экономия, куда ни глянешь—заказная земля, барская. Были им тут большие угодья, чистое блаженство: и реки, и леса, и дубравы. А теперь мы корябаем сохою, да до золота не докапываемся. Наша земля, а не вот как богатеют села, собираем только на еду себе, а в ней, в земле этой, неисчисленная сила хлеба лежит, поднять мы ее не в силах.

Упадали поля пестрыми коврами в донскую низину, взбирались на покатые плечи курганов, опоясывали темные шапки полуободранных барских садов и парков, и серыми пятнами на просторе к степи лежали никлые деревни. Золотое дно, проклятое Буниным, придавленное тяжелой стопой Толстого, вдоль и поперек исхоженное Тургеневым. Далеко в пепельном тумане тонкой стрелкой маячил памятник на Куликовом поле.

— Сюда бы машину да людей потолковей,— эх, и вышло бы дело!

Ермил брезгливо ловил глазом ползающие по черноте паров точки пахарей, кружившихся в тисках межников, поросших рябинником и седыми хвостами полыни.

— Почти как и раньше. Разве это модель?

Эта мысль мучила нас обоих. Как-то дико было мне глядеть в наши дни на скрипучие сохи, на острокостные хребты измотанных лошадей, на пахарей, пропитанных потом и пылью, с тяжелым взглядом утруженных глаз.

Я каждый вечер подолгу просиживал с мужиками «на дубах» (своеобразный деревенский клуб), вслушивался в их медлительные речи,— они были все об одном: о труде, о земле и о способах выжать из этой земли избавление от непереводной нужды и нехваток. С первого же вечера меня поразила непроходимая разница между речами

мужиков «тогда» и теперь. Не стало совсем этой крайней надоедной жалобы на «горькую долю», бессильной и делающей жизнь еще невыносимее. На смену жалобе пришло крепкое сознание того, что до зарезу надо искать иных путей, искать самим. И почти в словах каждого мужика (особенно из молодых) проступало то, что было чуждо «довоенному» мужику, — это неиссякаемая жадность. Не алчность скаред, желающих жить лучше других и, если можно, прибрать этих «других» к рукам, нет, а жадность до земли.

Мне надолго запомнится горячая речь белоусого, с согбенными плечами, недавно женатого Петра:

— Ясно, что дело во мне самом. Я пашу, сею, — но как? Поелозил и ладно? Что сею? Что деды велели — рожь и овес? В том мы корысти не найдем никогда, хоть надорвись! Надо выколачивать из земли золото умеючи! Рожь плоха, сей пшеницу. Семена плохи, заводи лучше. Мы посеем, бросим горсть в землю, и прощай полюшко до осени. Родишь — не родишь, — воля божья. А надо...

Он сжал кулак и закусил губу. Всем было понятно.

— Ухвойка земли — дело великое. Я, например...

И недавний красноармеец Василий рассказал, как он превысил максимальную норму урожая с гектара картофеля.

— А почему? Я землю всю по зиме увалил золой, навозом, вспахал добром, уходил за ней, — вот и получилось.

Это звучало, как утверждение победы, и все молчанием подтвердили правильность его слов.

И эту жадность до земли я видел на каждом шагу: ранние пары, взметка земли под зябь, поиски чистосортных семян, опыты с выращиванием кормовой свеклы, разведение садов, страсть к улучшению породы лошадей, жадность до машины. И во всех этих поисках не было и тени прежнего корыстолюбия, словно люди какими-то неведомыми путями дошли до мысли, что пахарь может приказать земле родить в сто крат больше, он вышел на единоборство с ней, и человек громко утверждает:

— А все-таки я сильнее!

В том была радость и озноб восхищения: человек победит.

Колхозная болезнь

Колхоз поглотил все мысли. О колхозах говорят и на собраниях, и в каждой избе за обедом, и на поле, в отдыхе, за закуркой, колхозом ругают неслушенников.

— Чорт лежень! Тебя, дьявола, в колхоз надо!

Любопытно, что самая мысль о колхозе не вызывает противодействия. Она не оспаривается, но пугает всех безвестностью будущего.

Мне, по долгу «приезжей культурной силы», приходилось говорить о колхозе сотни раз — и на собраниях, и за вечерними беседами, и в одиночку. Всякий разговор неизменно переходил на это:

— А скажи, пожалуйста, как это колхоз, стоящее дело, выйдет что-нибудь из него, или так, проформа одна?

О том, что в колхозе «придется работать на чорта», давно перестали говорить. Всякому хочется заглянуть в будущее, приподнять завесу, за которой скрыто недалекое счастье, светлая жизнь и избавление от вечной колготы.

И я заметил, нет большего удовольствия для мужиков, как разговор о том, что будет. Машины, распределение труда, чистые, светлые избы, учащиеся дети, школа, больница, клуб и потоки золотого зерна, — все это кладет на лица слушателей «блаженненькое» выражение, они радостно смеются и восторженно глядят в лица своих соседей. И потом заботливо качают головами:

— Вот это бы дело! Только разве народ на это пойдет? Чорт их уговорит! Да и силов у государства нехватит, чтоб поднять все это.

— Да вы начинайте, вот и найдутся силы. Не сразу Москва строилась.

— Мы? Да мы что ж? Мы крупинка. Да мы и не постоим. Все пойдут, и мы за ними.

— Кто же все-то? И другие так же говорят.

— Да... мало ли людей-то. Нам начинать... кабы хуже не было.

Заколдованный круг. Но он понемногу рвется на части, главная плотина почти разрушена: деревня поняла силу машины, поняла, что без машины нет выхода, золотое дно будет лежать нетронутым, и на нем проклятием старого будет цвести горюха-лебеда.

— В деревне всякая новина глаз всем режет, — сказал мне как-то Ермил. — К примеру, щиблеты. Сейчас все в них ходят, а первого человека, что надел брюки навыпуск, засмеяли совсем. Да что ни возьми. Впервинку страшно всем, а потом спасибо говорить станут. Так и колхоз этот. Всем страшно своего барахлишка лишиться. Как это так, что будет общее все, а мое-то где же?

— И я тебе скажу, мужик по природе своей — вор. И природа науку всегда одолевает. Мужику как ни долби, а он никому не верит. Он привык весь век голодать, привык сшибать тайком все, тишком, эта в нем заправка уцелела и не скоро ее вышибешь. К примеру, он тебе не поверит, если ты ему дашь паросу ни с того ни с сего. Он выкурит и дня три будет голову ломать: зачем он мне дал, нет ли у него намерения на чем другом меня обжулить? Так и в колхозе. Ты говоришь ему, — хорошо будет, а он это себе на заметку: беспременно какая-нибудь махинация подводится, чтоб меня охмурить...

Ермил глядел заросшими рыжим волосом глазками в небо, жевал синими губами и бубнил ровно и глухо. На деревню ложился вечер, с поля доносило рваные голоса приближающегося стада, на Дону гулко лопались удары вальков. И голос Ермила сливался с предвечерними звуками деревни, казалось, шел из земли.

— И еще скажу я тебе, что мой сгад в таком роде выходит такой: колефтив большое принесет мужикам облегчение. Ему не надо будет голову ломать, где бы чего чужого прихватить. Тогда он с поля может итти покойно, без думы. Ему не надо будет тащить чужих копен. Гумна своего у него не будет и продать некому, кругом тоже колефтивы. Чуешь?

А на какую землю вы сели?

Покойная излучина реки, нарядно закутавшаяся в ракитник и камыши. Вековой парк. Дуб, липы, лапчатые клены. Остатки снесенного барского гнезда, руины в'ездных башен. Место, где не одно лето живал Лев Толстой. Здесь им исхожены все тропинки, здесь каждое дерево помнит сереброголового старца-мудреца. Тут была его база во время кормления голодающих в холерный 1892 год.

Революция прорвала кольцо барских владений. За садом, к гумну, выросли выселки. Вышли на эти береженые места отчаянные люди: молодежь, не побоявшаяся бросить старый корень и не верившая в скорый приход барина.

И эта молодежь создала первый в округе колхоз. Рьяные попались люди, напористые. Они не побоялись насмешек, не испугались «греха» (им говорили: «Эх, и много же греха у вас будет, ребята!»), начали хозяйничать по-новому.

Об этом колхозе говорят в окружных деревнях много и по-разному. И эти разговоры сразу определяют «лицо деревни», отчетливо проводят линию разделения мужиков на два лагеря, обнаруживают темную силу, кулака, сеющего в рядах молодняка смуту.

— Разбегутся, поди. Поканителятся и разойдутся.

— Я слышал, они давно рады разойтись, да не знают, как вырваться из этой ловушки. Близок локоток...

— Чудишь, нынче картошку сеяли к троице! Не едет никто и семян не дают. Спасибо, надоумил кто-то землю на дворы разделить, — ну, и всяк свою тут же посеял.

— Вот тебе и колхоз!

Мне часто тыкали в глаза этим колхозом. Один раз на поле мужики крупно поспорили, и мы решили пойти, убедиться на месте. Бросили на парах сохи, пошли прямиком на колхозное поле. Колосились ржи. Голубой туман бродил по полям. Земля дышала парью.

Когда подходили к колхозному клину, было страшновато: а вдруг вместо хлебов мы найдем у колхозников тощие пустыри?

Пробыли мы там до вечера и были поражены образцовым порядком поля, чудесными посевами, ровными, не разрезанными швами межников.

Мои сторонники молча торжествовали. Председатель колхоза доказал нам, что все «басни» о разногласиях и о дележке земли по дворам—вымысел «дотошных» людей.

Тогда наши противники подступили к председателю и горячо выкрикивали:

— А на какой земле вы сели?

— Тут брось в борозду зуб из бороны — и тот вырастет!

— Погодите хвалиться-то!

Но эти выкрики были лишним доказательством их бессилия, беззубой злобы на то, что у них вырван из рук главный козырь.

Здесь же кстати я узнал любопытную новость. В этой деревне колхоз не один, а целых три. Председатель колхоза (интересный человек, с небольшим образованием и выходец из крепкой трудовой семьи), поглаживая осекшиеся черные усы, рассказал мне так:

— Когда мы организовались, то нам решили выделить лучшую землю, около самой деревни. Ну, остальные мужики взвыли. Как так? А нам за три версты пахать ездить? Потолкались туда-сюда, не получается у них, по всем законам мы должны получить лучшую землю. Тогда они пошли с последнего туза. Чтоб не давать нам хорошую землю, взяли да и создали еще два колхоза. Ну, и пришлось землю делить на три холста, всем поровну. Только мы-то знаем цену их коллективам, они только и ждут, когда мы лопнем, а у них уж все к тому готово. Вот это-то и тормозит нашу работу. Наиболее колеблющиеся из наших все на тех озираются, ну и приходится потому выдерживать борьбу.

Вечером я, проводив своих односельчан, сидел у председателя в избе. Пили чай. Пришел учитель, брат председателя, мой давнишний приятель. Беседа вышла необычайно оживленной и интересной.

Оба брата—настоящие энтузиасты колхозного строительства. Они, может, единственные из своей среды, отдавали полный отчет в том, какое великое изменение в жизни деревни происходит с коллективизацией. У них грандиозные планы, в них много от чистой фантазии, но они в своих планах не отрываются от почвы. Сейчас колхоз еще не имеет общего амбара, общего скотного сарая, но к этому ведется энергичная подготовка, вернее, «обрабатывается материал».

Учитель говорил веско, отчетливо произносил каждое слово:

— У нас, к примеру, тридцать лошадей, тридцать коров. Сколько теряется корма, сколько лишнего труда убивается. Все заняты со своим скотом, каждый делает ту же работу. Утечка времени и рабочей силы.

Председатель его перебил:

— Да нам и лошади в таком числе без надобности. Заведем трактор, и двадцать лошадей на базар. Вот те и полтрактора!

— И так можно.

В сумерках с поля пришли колхозные пахари. Они под'езжали к сараю председателя и отцепляли здесь плуги.

— Начальник! Эй! Оставили! Гляди, в сыхранности!

Председатель, улыбаясь, оглядывался на меня:

— Коллективные... Блюдем их. И пока все в порядке.

Обратно я шел длинной луговиной, поросшей по верху мелким дубняком и беспокойными осинками. Падала роса. Небо лежало вверху глубокое, и густо разбросанные по зеленоватому небосводу синие клоки облаков делали его похожим на одеяло из шелковых лоскутков, и звезды похожи были на стежки золотых ниток.

Учитель шел со мной нога в ногу—темный, сутулый, завесивший глаза широким козырьком кепки, и говорил гулко и тепло:

— Все говорят, что в колхозы гонят насильно. Кому-то, дескать, вверху это надо, и вот местная власть об этом старается. Все это ерунда. И народ это понимает. Другого выхода у нас нет. Или коллектив или еще на века нищенство и темнота.

И покрутил головой:

— Нищенство! На этой-то земле!

А земля эта дышала нам в лицо росной влагой, куталась в шелка небесного одеяла, уходила во все стороны— тучная, нарядная и плодоносная.

На бабьем фронте

Бабы в деревне—непреодолимая сила. Упорства бабы мужику не сломить. Я много раз наблюдал, как хозяин, податливый среди мужиков, согласный, на утро, «обработанный» женой, говорил совсем другое, проклинал то, что вчера защищал напорно.

Баба блюдет быт. Баба властвует среди тысячи мелочей избы, она несет всю тяготу жизни, полной лишений и недохваток. Оттого баба более упорна, когда дело идет о ломке заведенного порядка.

Участь женщины-крестьянки в наших местах революция почти не улучшила, обошла ее мимо. Она все так же топчется целые сутки среди вороха мелочей, не спит вовсе, успевает за день сделать то, что не под силу пяти женщинам города. Коровы, цыплята, полка огорода, длинный затоп печи, тысячи заплаток, новые холсты занимают все сознание женщины, порабощают ее целиком. Ей неведомы часы отдыха, разумные удовольствия, она не может думать ни о чем, не мечтает о лучшей доле. Рабство, отупение и отсюда непроходимая косность.

В наших краях женщина почти не тронута революцией, если не считать десятка комсомолок—ровесниц Октября. «Довоенная» женщина сохранила все признаки своей косности, религиозного отупения и мелочности. Пробовали их собирать для бесед, они приходили один раз с тем, чтобы больше не приходить:

— А ну вас всех к пралику!

И я за все лето не видел в селе ни одного женского организатора, говорил об этом в совете, в ячейке, даже писал в райисполком. Все жалуются на недостаток женработников.

Это крупный прорыв фронта. Женщины не разделяют земляной тоски своих мужей, они клянут колхозников, походя ругают мужиков:

— Глядели бы в дело лучше, чем головы-то забивать. Втемяшилось вам в башку колхоз, вот вы и ходите, как овцы чумовые!

Моя соседка Марфа—речистая с ленцой баба так рассказывала мне о женском собрании:

— Собрали нас. Сидим мы, слушаем и ни родимца не понимаем. Кончили речь, и все молчат, все равно рты всем зашили. Я и говорю: «Зачем вы нас собрали? Сидим мы, как темные бутылки. Говорите лучше мужикам, они в этих делах уж зубы все с'ели. А наше дело печь да тряпки».

В соседней с нами деревне Дубках на первом собрании по организации колхоза, на котором были одни мужики, решено было вступить в колхоз всей деревней. Сто пятьдесят домов! Это было событием на всю округу. Застрельщики колхозов в прилегающих деревнях получили крупный козырь в руки. беседы о колхозах начались оживленнее. Казалось, почин сделан, деревни одна за другой перейдут на колхозный полоз. Но все дело испортили бабы.

В каждом доме получилась война: бабы отчитывали мужиков:

— Какие решители! Колектив вам занадобился! Выписывайся без короткого! Если не откажетесь, то мы вас из домов выгоним. Сейчас же раздел учиним. Идите в колектив, а нам и без него хорошо!

Бабы сходились кучками, вопили на всю деревню, переходили из дома в дом. Брань висела в воздухе целые дни. Отыскивались старые счеты, вышли на свет все из'яны и обиды.

Одна пугала другую, и колхоз в бабьем представлении получался бездной, куда их бросают мужики на мученическую муку. Нужна была война, и бабы дружно выступили на своих противников.

Решающую роль в этой войне имели бабьи тряпки. Какой-то злой язык пустил слух, что в коммуне (они отожествляют колхоз с коммуной) все будет общее и даже бабьи сундуки разделят по всем. Ну, и поднялся повсеместно вой:

— Да для кого же я пряла-ткала? Для лежох, непрях, нетках? Да я сдохну у своего сундука, а не отдам его никому!

Они начали перетряхивать содержимое своих сундуков—полуистлевшие тряпки, из'еденные молью бабушкины юбки, серые свитки холстов, словно прощались с ними, оплакивали собранное не одним поколением.

И бабы победили. Мужики поодиночке прибегали в сельсовет и, смущенно роясь в бородах, просили:

— Видно, выпишите меня. А то баба поедом с'ела. Пожалуйста, выпишите.

Никакое убеждение не действовало. В колхозе осталось всего сорок хозяйств.

Тоска по культурной силе

По общему мнению местных работников, революция в деревне только началась. И это так на самом деле, если иметь в виду не разрушение, не захват земли, а начавшуюся грандиозную ломку быта, понятий, отношений и, главное, изменение подхода к земле, к своему труду.

«Один в поле не воин». Эта старинка прочно укореняется в крестьянском обиходе, подрывает основы собственнического хозяйствования, истинного ненавистничества к соседу.

Деревня раскололась на два лагеря, непримиримых, вступивших в смертную борьбу, которая окончится только поглощением одного лагеря другим. Сельские собрания неизменно завершаются обострением отношений. Передовая часть крестьян теснит своих противников, затыкает им рты и решает дела по-своему. И сторонникам нерушимости дедовских порядков, бессильным вступить в открытую схватку, остается только язвить, покусывать исподтишка.

В нашем селе собрание по вопросу об организации колхоза шло всю ночь. Сошлись почти поголовно все, включая и женщин. Вопросов агроному задавали не одну сотню. И самый характер вопросов с точностью выявил друзей и врагов колхоза.

— Как будет учитываться труд?

— Если у меня два плужка, будет ли мне это зачитываться?

— Поможет ли нам государство семенами и машинами?

— Что будут делать в колхозе вдовы и малосильные старики?

Это—по существу. То, что надо знать. И—другое:

— Ежели я встаю с солнцем, а мой сосед к обеду, то по ком же будем равняться в колхозе?

— А коммунисты тоже будут пахать или с карандашиком будут расхаживать?

— Не получится ли в колхозе так, что мы работай, а чужеспинник нам будет указывать?

— Мы сейчас много слышим о бюрократах,—а не развивают ли колхозы эту бюрократию? Сто учетников, сто распорядителей,—всем жалованье,—не плодите ли вы еще захребетников на наших спинах?

Каждый такой вопрос тяжким грузом тянул поднятое вверх назад, сбивал собрание с толку. Нужно много терпения, выдержки, чтобы ответить каждому такому «вопрошателю», погасить злорадный смех подзуживателей и не дать остынуть горячим головам.

Когда начали составлять список членов будущего колхоза, страсти разгорелись. «Крепкие» люди чувствовали, что каждая внесенная в список фамилия ложится зарядом под их основы с тем, чтобы или взорвать их или втянуть в свой круг. Они стояли в стороне и сторожко оглядывались. Более невоздержанные кричали:

— Пишись-пишись, чорт за тебя все равно пахать не поедет!

— А кто пишется-то? Кто век не работал? Коммунисты пишутся по приказу, а другие в надежде, что их государство кормить будет. Работники! Да я с своими ребятами в сто раз больше изделаю!

С собрания шли под утро. И все жалели, что мала ночь, у каждого был еще нерастраченный запас слов, доводов и ожесточения. Всплывали над головами кулаки, гремели в коробках спички.

— Ведь это вот только и остается!

— Тогда уж лучше приходите, возьмите все, а меня в батраки!

— Сам пойдешь. Только примут ли потом-то?

— Мы никого насильно не тянем!

— Как же это не примешь-то? Аль я не такой же, как ты?

— Выходит, не такой, коли общей пользы не хочешь понять.

— Мы понимаем! Понима-а-а-ем! Только кабы вы раньше нас не поняли!

Голоса взмывали в протоке улицы, расползались по темным от росы крышам. Во дворах кричали петухи.

Со мной рядом шел Иван Гнутый и, раздирая рот на сторону, говорил:

— Пришло время, и нас хлестанула революция. До этого все города трясла, теперь к нам пробралась. Боимся мы хорошей жизни. И так жить уж невмоготу стало. Вот нынче агронома послушал, все равно квасу молодого напился, в голове тесно стало. Его бы к нам навсегда поселить, он бы нас сразу своротил, а то увидишь в год два раза.

И я почувствовал в словах Ивана подлинную тоску по хорошему руководителю, советчику деревни. Ибо много перед мужиком колдобашин глубоких и неизведанных, а сам он не может найти обходных путей.

Мне припомнились рассуждения по этому поводу Ермила. Он имел обыкновение говорить обо всем определенно и без всяких туманностей.

— И в коллективе не все сразу будут командовать. Указчики нужны, хорошие головы. И, слыхать, не везде эти головы есть. Попадают плевые людишки,—начинают тащить под себя, всякие творят беззаконности,—вот это-то и раздружает народ. И коллективы идут под ноготь. После этих управителей судют, на скамейку сажают,—а какой от этого толк? Напуганный народ уж больше не с'ютишь.

— И я тебе скажу,—вся сила в эфтим. Найдется честный человек, правильный, какому народ доверится, будет и коллектив цел. Если он чист, как зеркало,—он может и твердо поступить: на кого подкрикнуть, кому рот заткнуть,—ему не ткнешь, он себе нехватает и, значит, трудится для общего блага. Опять же, начитанный должен быть указчик, чтоб у него на поле, как у хорошего писаря, было,—буква к строке льнула и в сторону не виляла.

— Люди нужны. Ох, как нужны! А где они?

Колхозные типы

— Вы забудьте думать, что мужик своей пользы от коллектива не понимает. Его не обманешь, коли он самого бога может обмануть. Слыхали эту баланду?

— Дело так было. У одного крестьянина корова заболела. Что делать? Околеет, ведь это живой убыток. Вот он и обрек свою корову: «Если поправится, продам и все деньги отдам на церковь». Глядь, корова стала на ноги подниматься и поправилась совсем. Ломает мужик голову: отдавать корову жалко, и обреченная скотина—не животина. Думал-думал и нашел лазейку. Повел корову на базар, а к ней привязал петуха. Спрашивают его: «Сколько ж корова стоит?»—«Пятиалтынный,—говорит.—Только она у меня без петуха непродажна, берите вместе с петухом».—«А петух сколько?»—«Пятьдесят рублей». Били-били и на сорока пяти с пятиалтынным за пару поладили. Поставил мужик свечку за пятнадцать копеек и вздохнул свободно: и денежки в кармане и корову обреченную богу отдал, долг справил.

Монгольское лицо рассказчика расползлось в выжидательную улыбку. Это колхозник Иван Садок. Каждое собрание он тешит своими рассказами, «поднимает дух». Он—бывший сельсоветчик, кооператор, растратчик и пьяница. В колхоз он вступил первый. Каждый день его можно видеть в обществе кузнеца Никиты, они гуляют по селу, обходят шинки, присаживаются на крыльца, ведут длинные беседы с хозяевами крылец, еще пьют, пока не сваливаются где-нибудь в крапиве.

Когда появляются из-за угла кепка Садка и нахлобученная на глаза фуражка кузнеца, мужики полузавистливо, полунасмешливо кивают в их сторону головами:

— Вот жисть людям! Все горб на поле гнут, а у этих каждый день масленица.

— Он, Садок-то, ходит по своей причине. Сбивает всех в коллектив, а свою цель преследует. Ему в колхозе и судимость снимут и он в управители проберется.

— Для них и колхоз сладок!

— Вот как же итти-то с ними?

На собраниях Садок речист, разъясняет колхозникам все порядки, он на виду у организаторов, но, по правде говоря, большинство крестьян уклонилось от колхоза через него:

— Вырви эту дурную траву, тогда и мы пойдем.

— Тоже и кузнец! Его вписал сын коммунист, а на самом деле он — глот первосортный. Ему не в колхозе, а в болоте место.

— Вон Ваня...

И все со скрытой любовью смотрят на Ваню Плахова—комсомольца, письмоносца и единственного в семье работника.

— Такому малому не хочешь, а поверишь, коли он с пеленок трудовик.

Ваня не многословен, но каждое его слово камень, и, когда, поглаживая свои выгоревшие вихры, начинает говорить, его слушают старики. Ваня со своими товарищами составляет прочное ядро колхоза, и, глядя на них, многие из мужиков чешут в затылках:

— Ай и нам вписаться?

Мужик любит прямоту. Он требует ото всех искренности и отрицает всякие тайные соображения. Итти в колхоз для него значит отречься от всяких личных расчетов и беззаветно влиться в общее дело. И потому он поистине нетерпим к людям «себе на уме».

— Они свою выгоду ищут. Им на общее дело наплевать, себя бы только ублаготворить. И находят: тот через колхоз хочет детей своих продвинуть в школу, тому жаль породистую лошадь —хочет, чтоб за него пахали другие. иные, как Садок, хотят стряхнуть с себя судимость и стать «друзьями» советской власти.

Деревня знает цену всему. И толки здесь ходят из двора на двор, всякий слух получает свою оценку.

Кулацкие поправки

Он остановил меня среди улицы и, дергая себя за приспущенный к самому носу козырек картуза, сказал:

— К твоей я милости. Советик один хочу от тебя получить.

Мы сели с ним на бревна. Я узнал его. Он был все тот же—аккуратный, пиджак в накидку, с палочкой и с несходящей с птичьего лица улыбкой. Такой он был и в те времена, когда у него был собственный хутор, десяток батраков, когда окружные деревни зависели от него и ему был от мужиков почет.

На мое недоуменное по сему поводу замечание он хитро осклабился, отчего его тощие бачки поехали на сторону:

— Чего ж нам делается? Правда, обидели нас несколько, но закваска в нас еще цела. Дух-то сохранился.

Потом он сразу перешел к делу:

— Теперь ты мне скажи, я тебе поверю,—могу я жаловаться на своих сукиных детей, на колхозников? С'ютились они в колхоз, отрезают себе первую землю, да еще нас по параграфам разнесли. Ведь, думается, какое им дело? Мы не идем к ним, мы сами свои дела разрешим. А они что сделали? Собрали бедноту, совет и разбили нас, не пошедших в их партию, на три категории: бедняк, середняк и кулак. Какой-такой кулак, где он? Они нашли, и меня в эту категорию приписали. И теперь что же? Приедет земномер, вырежет им клин, а наше поле тоже разрежет на три части: беднякам вокруг колхоза, середнякам—подальше, а нас—в степь, на запольную землю, где снопа не соберешь. Теперь скажи мне, есть у них такое право и можно ли подать жалобу Калинину?

Я об'яснил ему, что право такое есть и все жалобы будут бессмысленны.

— Что ж тогда нам делать-то? Сталобыть, на них никакой управы нет? Ведь это получается тугая петля. Зачем они нас-то трогают? Мы им не препятствуем, делай свой колхоз и к нам не касайся, мы сами разберемся.

Мы беседовали не один час. Пекло солнце, куры поднимали в кучах золы фиолетовые хвосты пыли, и распаренный Пухлый долго рассказывал мне, как он хозяйничает, сколько надо было ему ума, чтоб удержаться после того, как отняли хутор.

— И я опять житель! Отчего? Голова на плечах. У меня и косилка, и веялка, и лошади. Отчего же у них-то ничего

нет? Помогают им, не берут у них ничего, куды ж они девают-то?

Я видел, что его словами говорит «сильная» часть деревни, прижимистая, алчная, делающая все для себя и ведущая глухую безмолвную войну с нищетой.

— Пойду в колхоз. Мне чорт с ними. Я сыт буду, а уж на них голову ломать не стану. Нынче же подам заявление.

Мы расстались. На утро я узнал, что колхоз Пухлого не принял.

Сказал мне об этом молодой мужик, по весне бойкотированный за довывоз хлеба. Он—герой среди своих. О нем говорят, как о труженике, обиженном беднотой и советом.

— Голову с мужика сняли. Всю душу вынули. Разве он теперь станет так работать? Он бросит все и только б прокормиться.

С Васильем мы столкнулись на картофельных бороздах, и он, рассказав мне о неудаче Пухлого, завел разговор «по существу».

— А в колхоз итти не миновать. Мы это сами понимаем. И вот осенью, уберемся с полем, начнем это дело. Всем селом соединимся. Тогда уж у нас бедняк не вывернется. Хлеб ровно есть будем, но и работать ровно.

Чувствовалось, что Василий, как и Пухлый, выражает мнение какой-то группы, у которой на коллективизацию свои взгляды, есть свои поправки к мероприятиям, проводимым властью.

Осень покажет, удастся ли им эти «поправки» осуществить.

Слово — машине

Лето радовало обильными дождями, теплынью и росливыми зорями. Поля щедро питали хлеба, выгнали седохвостые овсы, голубоглазо зацвели зажировшие картофельные посевы. Люди были добродушны, весело глядели на ширившиеся по курганам поля и были покойны за предстоящий год.

Рожь низко клонили головы, неохотно качались вслед пробегавшим ветрам, зрели, дожидаясь косы.

Вплотную к нашим полям подошли посевы Полибинского совхоза, обосновавшегося в родовом гнезде Нечаевых, владельцев почти всей степи и придонских земель. Первые годы совхоз вызывал в мужиках только насмешки, всякий спор с приезжими работниками завершался ссылками на совхоз.

— Вы глядите на свое хозяйство. Землю взяли, хлеб в землю вгоняете, а разводите советский овес (полынь).

— Двенадцать рублей пуд хлеба вам обходится.

Нынешний год этим толкам положен конец. Совхоз твердо стал на ноги, на поля выпустил трактора, прибрал к рукам сад, огород, и хлеба в совхозе неизмеримо лучше крестьянских.

Нынешний год крестьяне ходят в совхоз учиться. И машина, порядок работ в совхозе являются лучшими агитаторами. Мужиков поражает сила машины, безлюдье на обрабатываемых совхозом полях им страшно.

— Сколько ж делов можно дома приделать, если такая штучка будет по полю стрекотать!

Они завистливо оглядывают тяжко вздымающие пласты земли трактора, вздыхают и оглядываются на свои сохи.

— Другое царство будет, если нам бы эту пустяковину!

Работники совхоза теперь в деревнях—желанные гости. Отчитываясь в работе совхоза на крестьянских собраниях, они пробивают одну брешь за другой, круг друзей машины и колхоза ширится с каждым днем, и вполне можно верить совхозовской ячейке, которая уверяла меня, что к будущему году во всех прилегающих селениях будут колхозы.

— Сейчас,—сказал мне управляющий совхозом,—от крестьян отбою нет. Идут шеренгой. Одному чистосортные семена нужны, другой просит прививок для сада, третий требует раз'яснения, как мы сеем картофель, потому что у нас урожай в пять раз выше крестьянского. Вот только теперь видно, что крестьянин по-настоящему проснулся, теперь он глотает всякое слово по агрономии, ищет выхода из своего тупика.

О том же мне говорил здесь и районный агроном по колхозному строительству:

— Если б мы могли двинуть сюда тракторную колонну, то к будущей

весне ни одного крестьянина за бортом колхоза не осталось. Их убеждаем в этом не мы, а машина и урожай. Машина лишила их сна, они начали ненавидеть старые формы хлебопашества. Денег вот только нет...

— Постойте,—перебил его управляющий совхозом,—будут и деньги. Вот к будущей весне мы построим у себя сыроваренный и маслоделательный заводы, создадим десятка два пунктов для слива молока,—деньги потекут в деревню волною. Да дадим им улучшенные сорта картофеля, законтрактуем посевы...

— Тогда дело будет, — отозвался агроном и шумно вздохнул.

Мимо нас шли с работы трактора, и у запыленных трактористов, сухоскулых и с крепкими мускулистыми руками, белесо мерцали усталые взгляды, в них чудилась решимость пропахать всю землю из края в край.

Голос полей

В совхозовском клубе шел пленум районного исполкома. В тесный зал густо набились лучшие представители крестьянства из окружающих деревень: сельсоветчики, колхозники, кооператоры, партийцы, учителя. Седобородые землеробы рядом с розовыми юнцами в майках, в заношенных тюбетейках. Собрались они затем, чтобы дать ответ: выполнит ли деревня свое задание по пятилетке, сможет ли она вместе с индустриальным пролетариатом итти в ногу в этом грандиозном шествии к социализму.

Я долго наблюдал лица присутствующих, пока с помоста на их головы падали цифры, лозунги, отрывочные картины той жизни, которую сулит пятилетка. Я видел, что для слушателей эти цифры не пустые слова, в их головах они принимают живую форму, увязываются с их хозяйством, с плугом, с землей. Они примеряют пятилетку к своим плечам, гадают: выдержат ли?

Дороги, мосты, больницы, школы, колонны тракторов,—все это мелькало перед ними, как осколки чудесного сна. Но это будет явью, стоит им только понять возложенную на них задачу и с честью ее выполнить.

Прений было мало. Все казались придавленными, оттого безмолвствовали. В перерыве делегаты пленума осматривали совхоз. Они прошли по чудесным ржаным полям, долго ходили длинными аллеями образцово содержащегося сада, дивовались плодовым питомникам, знакомились с работой тракторов, щупали все своими руками, расспрашивали и возбужденно встряхивали головами.

Они ходили, эти хозяева земли, по былому барскому гнезду, где еще помнил старый парк иные времена, и полуослепший дворец бредил еще голосами ушедших обитателей, охваченные деятельной тоской. Советское хозяйство с его коллективным трудом, в котором рабочий имеет и свободное время, и чистую комнату, и свой клуб,— оно бередило мужиков, не знающих отдыха в чортовом колесе своего единоличного хозяйства.

Агрикультурные лозунги они видели здесь в их воплощении. Сортовая «лисицинская» рожь сулила совхозу до 2½ тонн с гектара в то время, как прекрасные крестьянские посевы едва-едва дадут 1⅓; «шатиловские» овсы в десять раз лучше доморощенных мужицких; ранние пары, разделанные трактором, говорили о том, что в нынешнем году брошенное в землю семя даст потоки золотого зерна.

И, как ни странно, после перерыва делегаты пленума, вместо того, чтобы говорить о достижениях совхоза, снова вернулись к пятилетке. Советское хозяйство дало им новые слова.

— Мы сейчас убедились наглядно, что с машиной мы задачу свою выполним. Совхоз нам доказал, что только через ломку дедовских приемов, с коллективизацией труда мы можем заставить нашу землю давать нам в десять раз больше.

И, — наконец:

— Товарищи мужики! Рабочие об'явили социалистическое соревнование. Мы можем крикнуть им: «Товарищи, мы с вами!» Мы на этой земле сделаем все, чтоб вместо миллионов хозяйств были крупные колхозы, мы позовем на

эти поля стальных коней и положим конец нашей нищенской, варварской жизни. Пятилетка будет нами с честью выполнена.

...Мне, знавшему этих людей не один десяток лет, было до озноба странно слышать эти слова. На наших полях, где друг на друге сидели помещики, выделив мужикам каменистые взлобки и неродивые буераки, где плотно держался слеглый быт шестнадцатого века, зацвели новые слова, за ними стоит гигантская сила, которая возродит это золотое дно. Здесь будет подлинная радость и искреннее прославление жизни.

И мне хотелось крикнуть этим пионерам колхозного движения:

— В добрый час!

1929 г.

---

3. ПОИСКИ ЖЕНЬ-ШЕНЯ

Н. А. Байков

I

Ни одно из растений на земном шаре не пользуется такою легендарною славой и таинственностью, как жень-шень. С самых древнейших времен, исчисляемых тысячелетиями, растение это известно в тибетской и китайской медицине и славится как радикальное средство от многих тяжелых хропических болезней и расстройства всего организма. Корень этого растения в различных формах входит в восточную фармакопею. Без сомнения, в корне этом заложено какое-то действенное начало, которое дает ему такую значительную силу и целебные свойства. В настоящее время этим растением заинтересовалась и европейская медицина: в Америке, Франции и Германии производятся опыты в лабораториях — по химическому составу, и в клиниках — по терапевтическим его свойствам. Оно принадлежит к семейству аралиевых (Araliacea) и растет дико в очень ограниченной области Дальнего Востока: в Уссурийском крае, в Гиринской провинции Манчжурии и в северной Корее. Родственные ему виды встречаются в горных лесах восточных Гималаев. Это многолетнее растение с травянистым, до 75 см. длины тонким стеблем, на конце которого сидят 3—4 длинночерешковых пальчатораздельных листа; на стебле они расположены, как пальцы раскрытой руки человека. По внешнему виду оно напоминает «Чортово дерево» (Aralia mandjurica), но листья жень-шеня отличаются тем, что они гладкие и края их черешков мало зазубрены. Число листьев очень редко достигает 5—6. Толщина стебля не превышает 1—1½ см. в поперечнике. Цветет в августе; цветы мелкие, находятся в соцветии в 5—7 см. длины; соцветие—простой зонтик с 15—20 цветами; завязь двухгнездная; плоды — светло-красные ягоды; семена белые, плоские; цветы нежно-розовые, редко — белые. Корень желтовато-белый, толстый, диаметром до 5 см. и длиной до 50 см., с черноватою сердцевиной и многочисленными мелкими отростками. У основания стебля находится характерная чешуйка, которая не отпадает и с годами увеличивается, по мере нарастания ежегодных слоев. Эта чешуйка особенно ценится и тщательно предохраняется от порчи при выделке корня. Знатоки разделяют корни на мужские и женские, определяя это по внешнему виду; сходство это, конечно, весьма отдаленное. Ближайшим родственником женьшеня на Дальнем Востоке является чубышник, элеутерококус (Eleuterococus senticosus), встречающийся в большом количестве в горных лесах. Растение это, как более сильное, вытесняет жень-шень; вот почему последний растет только там, где нет чубышника.

Жень-шень является древнейшим растением, реликтовым остатком тропичной флоры; встречается он чрезвычайно редко и растет только в са-

мых глухих горных лесах, на северных склонах, среди густых зарослей папоротника и кислицы. Солнечных лучей он не переносит, ему вполне достаточно тех лучей, которые проникают сквозь чащу. Кедровый лес ему, повидимому, необходим, по крайней мере его находят только там, где растет сплошной кедровник или смешанный лес. Вследствие уничтожения кедровых лесов на Дальнем Востоке, а также от лесных палов и истребления его человеком он относится к вымирающим растениям местной флоры, и недалеко уже то время, когда это драгоценное таинственное растение исчезнет с лица земли. Чрезвычайная его редкость и непрерывно возрастающий спрос подняли цену на «корень жизни» до невероятных размеров: высший сорт жень-шеня оценивается иногда в две, три тысячи золотых рублей за один корешок. Такова цена дикого корня, но в продаже имеются еще другие сорта жень-шеня, — культурного или искусственно возращенного из семян или из саженцев на особых плантациях. Такой культурный корень ценится значительно дешевле и также делится на сорта по возрасту, внешнему виду и качествам. Цена культурного — от трех до пятидесяти рублей за штуку. Разведением такого женьшеня в последнее время в больших размерах занялись в Америке, в Японии, а также в Корее. Восточная медицина не признает культурного женьшеня, отрицает его целебные свойства. Научное название дикого жень-шеня — Panas Ginseng.

II

У китайцев и у всех народов Дальнего Востока существует множество легенд о жень-шене. Происхождение этих легенд и народных сказаний теряется во тьме веков. Растение это одухотворено и обладает сверхестественной силой, присущей божеству. Оно может превращаться в любое животное, в человека, в растение и во что угодно. Поэтому найти его может только «достойный». Такой ореол таинственности, славы и обаяния, соединенный с этим растением, свидетельствует о том значении, какое имеет «корень жизни» для народов Восточной Азии. Сравнительная редкость и дороговизна дикого жень-шеня выработали в продолжение многих веков особый интересный тип «искателей жень-шеня». Большею частью это бездомные люди, выходцы из внутренних провинций Китая, ушедшие в горы и леса от «суеты мирской» и посвятившие себя этому трудному промыслу под влиянием внешних неблагоприятных условий современного социального строя. Многие из них занимаются этим делом почти всю свою жизнь — с юношеских лет до глубокой старости. Внешность их так же типична и оригинальна, как и внутреннее содержание.

Отличительными признаками этих лесных бродяг являются: промасленный передник — для защиты одежды от росы; длинная палка — для разгребания листвы и травы под ногами; небольшая кожаная сумочка — для носки необходимых вещей и предметов промысла; деревянный браслет на левой руке и барсучья шкурка, привязанная сзади к поясу. Шкурка позволяет садиться на сырую землю и бурелом. На голове обыкновенно конусообразная берестяная шляпа. На ногах — улы из невыделанной кожи кабана. Среди толпы китайцев искателя жень-шеня всегда можно узнать по этим признакам: кроме того, блуждающий взор его, опущенный книзу, выдает его ремесло. Жизнь, полная лишений, тревог и опасностей в дремучих лесах наложила на этих людей особый отпечаток аскетизма и подвижничества. Это — человек, превратившийся в особое существо с хитростью и умом китайца, чутьем волка, глазом сокола, ухом зайца и ловкостью барса. Человек и зверь соединились в нем в одно целое, создав интересный, оригинальный тип лесного скитальца, в душе которого развились поэтические струны любителя природы. Весь мир его — в тайге; миросозерцание его не выходит за ее пределы. Здесь провел он свою долгую скитальческую жизнь, здесь же сложит он свои кости в не-

престанной борьбе за существование, одинокий, оторванный от людского мира, на лоне дикой, прекрасной природы. Как истый сын Востока, верящий в рок и предопределение, суеверный до мозга костей, он безропотно и безмолвно несет бремя подвижнической жизни, не стремясь к улучшению ее условий.

Опасное и трудное ремесло его не обогащает. Продукты промысла сдаются обыкновенно за бесценок в главную в этой местности торговую фирму, имеющую колоссальную прибыль в этом деле. Почти каждый дикий корешок жень-шеня омыт потом и кровью полудикого таежника и имеет свою историю, чреватую глубоким, непередаваемым драматизмом. Ежегодно с начала июня искатели жень-шеня отправляются в тайгу за драгоценным корнем. Идут в одиночку и, редко, вдвоем, без всякого оружия, с одной только верой в успех и надеждой на милость великого властелина гор и лесов (могучего тигра). В лохмотьях, полуголодные и изможденные, они скитаются по дебрям тайги в поисках таинственного «пан-цуя» (так называют местные манчжуры жень-шень). Много их погибает от голода и пропадает без вести, еще больше делается жертвой диких зверей; но это нисколько не уменьшает их рвения и стремления уйти в леса. Чем больше лишений и опасностей, тем больше надежды найти корень. По их убеждению, для человека вооруженного, порочного и безнравственного найти жень-шень невозможно, так как от такого человека корень уходит глубоко в землю, горы начинают колебаться, лес — стонать, и из зарослей выходит «Ван», грозный владыка тайги, хранитель жень-шеня — тигр — и разрывает дерзкого искателя.

Такова сущность поверья, связанного с добыванием пан-цуя, великого корня жизни. Слово «жень-шень» в буквальном переводе означает «человек-корень», т. е. корень, обладающий человеческими качествами. Существует сказание о зарождении жень-шеня из молнии. Если молния ударит в чистую прозрачную воду горного источника, последний исчезает и уходит в землю, а на месте его вырастает жень-шень, который хранит в себе силу небесного огня, силу неиссякаемой мировой энергии. Вот почему жень-шень иногда называют «шань-дянь-шень», т. е. корень-молния. В Китае и в Тибете легенд и сказаний о жень-шене великое множество, ими можно было бы наполнить об'емистые тома, но мы ограничимся вышесказанным и перейдем к моим личным наблюдениям и впечатлениям, вынесенным из скитаний по необозримым девственным лесам Восточной Манчжурии, совместно с искателями, в поисках таинственного «корня жизни». Во время моих экспедиций и странствований по краю в целях охоты по крупному зверю и исследования его природы, мне неоднократно приходилось встречаться с этими лесными бродягами, но, благодаря их замкнутости и скрытности, мне не удавалось познакомиться поближе с их жизнью и бытом, а потому, в конце концов, у меня явилась идея побродить по тайге совместно с одним из этих интересных тружеников, предложившим мне свои услуги и давшим свое согласие.

III

В кедровнике верховьев реки Лянцзухэ в те времена жил древний старик-зверолов по прозванию Хо-син, — несколько лет под ряд я останавливался в его фанзе, когда приходил в те места на охоту, и старик, очень расположенный ко мне, рассказывал часто о своей жизни, о прошлом и о таежном быте. Между прочим, от него же я узнал, что летом он, как и все звероловы, занимается исканием жень-шеня. Это было двадцать лет назад. Тогда там стояли еще дикие, нетронутые кедровики. Всякого зверья водилось много. Жень-шень также встречался довольно часто в глубоких ущельях и падях Лао-лина. Теперь там вырублен почти весь кедр концессией Ковальского, и жень-шеня нет и в помине, но в старину окрестности скалы Балалазы и горы Тиколазы отличались обилием жень-шеня. Зверовая фанза Хо-сина находилась у под-

ножия Тиколазы. В конце июня 1910 г. к этой фанзе, отстоящей от линии КВЖД в 40 километрах к северу, мы и отправились вместе с хозяином ее ранним летним утром со станции Ханьдаохэцзы. Никакого оружия, согласно указаний Хо-сина, я с собой не взял, только на поясе у меня висели небольшой охотничий нож и походный топорик, — на случай заготовки дров в тайге и постройки шалаша. Не буду утомлять читателя подробным описанием наших скитаний по бесконечным горам и лесам Шу-хая (Шу-хай — лесное море); интересных таежных встреч с дикими его обитателями, зверями и хунхузами; многочисленных ночевок у костерка, на берегу горных речек; поисков таинственного жень-шеня в густых зарослях лесной чащи и других эпизодов нашей скитальческой жизни, полной захватывающего интереса и непередаваемого очарования. Таким образом странствовали мы вдвоем с Хо-сином в продолжение четырех недель, обходя все укромные уголки тайги и исследуя каждый распадок в поисках пан-цуя. Идя поперек западных отрогов Лао-лина, мы дошли почти до Сунгари, но, выйдя из тайги к возделанным полям, повернули назад, направляясь вверх по течению Лянцзухэ к фанзе Тиколаза. В берестяной коробочке Хо-сина, аккуратно завернутые в шелковую бумагу, лежали уже три корешка жень-шеня. Старик был доволен своей добычей, так как такое количество корешков взять за один сезон считается исключительной удачей. Последний корешок найден был в одном из глубоких ущелий северо-восточного склона Тиколазы. Мы предварительно долго и упорно блуждали по зарослям, разгребая палками листву и сплошную сеть вьющихся растений, покрывавшую землю, в надежде увидеть знакомые листья и цветы растения, но поиски наши были тщетны. Старик ходил на самую вершину Тиколазы, где у него построена была небольшая кумиренка на выступе скалы. Там совершал он моления и приносил жертвы великому духу, но могучий Ван был неумолим и не показывал нам охраняемый им пан-цуй. Ночуя у костра в каменных трущобах Тиколазы, мы неоднократно слышали голос грозного владыки и слабые голоса его детенышей. В те времена в пещерах горы тигры выводили своих детей, и в ясные летние ночи можно было слышать, сидя у огонька, жалобные голоса тигрят и довольное мурлыканье взрослых. Иногда, очевидно, из любопытства, звери подходили к нашему костру, но держались все же на почтительном расстоянии. Фосфорический свет их глаз мелькал тогда блуждающими огоньками на темном фоне зарослей, и слышны были их мягкие, крадущиеся шаги по камням и скалистым утесам, при чем на нас сверху сыпались с характерным звуком щебень и мелкие камешки. Опытный искатель корня несколько дней водил меня в районе горы, говоря, что здесь непременно должен быть пан-цуй, по определенным, одному ему известным, признакам. И действительно, после нескольких молений горному духу и тщательных поисков мы подошли к высокому гранитному утесу, на вершине которого вековые кедры вздымали свои темные ветви к голубому небу. Внизу, среди густых зарослей папоротника и актинидий, скромно приютился невзрачный стебелек жень-шеня. Отличить его в этой массе листьев, травы и зелени мог только опытный и зоркий глаз таежника.

Увидев драгоценное растение, старик остановился, как вкопанный, отбросил от себя палку в сторону, закрыл глаза рукою, упал на землю и стал произносить молитву для умилостивления божества. Молитва эта приблизительно такова:

— Великий дух, не уходи! Я пришел сюда с чистым сердцем и душой, освободившейся от грехов и злых помышлений! Не уходи!..

Произнеся эти слова, Хо-син решился взглянуть на растение. Я стоял немного поодаль и наблюдал всю эту процедуру. Затем старик тщательно исследовал окружающую местность, перебрал руками все соседние растения и, только убедившись, что поблизости нет другого пан-цуя, приступил

к выкапыванию корешка, для чего у него имелись всевозможные специальные инструменты, в виде особых лопаточек, шильев, ножей, скребков, ножниц и палочек. Возраст жень-шеня был настолько значителен, что он представлял уже большую ценность. Надо сказать, что молодые экземпляры растения не выкапываются из земли, а оставляются на месте на год, два и более, чтобы корешок «дошел». Цветочного стебелька у растения не было, он оказался обломанным и торчал на вершине стебля в виде пенька вышиной в 3 см.

Длина корня вместе с мочками не превышала 27 сантиметров. Листьев было 4 шт., каждый — пятипальчатый. Длина стебля — 36 сантиметров. Отряхнув его от песку и земли, Хо-син тщательно завернул драгоценный корешок в тряпицу и положил в берестяную коробку, находящуюся в походной сумке. Затем, опять совершив благодарственное моление горному духу, сделал на корне дерева заметку, поставив острием ножа какой-то знак на таинственном языке «Ши-хуа». Знак этот обозначал, что здесь найден был панцуй. Часа через два мы были в фанзе старика. Солнце склонялось к западу. Вечерело.

Наскоро поужинав, похлебав жидкого супа из чумизной крупы, мы занялись приготовлениями к ночлегу при свете примитивной лампы, состоящей из кусочка скрученной ваты, положенной на край глиняного черепка, на дне которого темнела густая масса бобового масла. Копоть и дым от этого светильника наполняли всю внутренность фанзы, так что у меня от непривычки в носу щекотало и я принужден был выйти на свежий воздух. Таежная ночь приближалась. Ночные тени легли на долину горной красавицы Лянцзухэ, на пади и ущелья Тиколазы. В глубине темного неба заискрились звезды. В приречной уреме кричали козы и из чащи лесной доносилось уханье горного филина.

Войдя в фанзу, я застал старого Хосина за очисткой корня от остатков земли. Промыв все мелкие корешки и мочки, он положил его на чистую бумагу на теплых канах — для просушки. Дальнейшая обработка корня состоит в его консервировании впрок; в этом виде он поступает в продажу. Этим делом занимаются уже специалисты, сохраняющие свое искусство в глубокой тайне. Окончив чистку корня, старый искатель вышел из фанзы, притворив за собою дверь. Я улегся на теплых канах, подложив под себя пушистую шкуру горала, и стал прислушиваться к ночным звукам, доносившимся с реки из чащи дремучего леса, стоявшего со всех сторон непроницаемою черною стеной. Предположения мои, что Хо-син молится у своей домашней кумирни, стоящей на опушке леса, оправдались, так как вскоре металлические звуки чугунного колокола нарушили торжественную тишину таежной ночи и, вибрируя на одной ноте, понеслись над затихшею землей, то усиливаясь, то ослабевая; и далекое горное эхо вторило этим звукам, отражаясь в глубоких падях и ущельях Тиколазы.

Долго молился старый лесной бродяга, благодаря могучего горного духа за богатую добычу. Звуки чугунного колокола, рокотавшие в лесной чаще, постепенно замерли в далеких тайниках угрюмой тайги. Я стал уже засыпать и сквозь одолевшую меня дрему слышал, как пришел Хо-син, раскурил у очага свою длинную трубку и затих. Не будучи в состоянии преодолеть сна, я мельком взглянул на старого таежника и увидел его сидящим на корточках перед очагом; во рту его дымилась трубка и взор его был обращен на тлеющие угли; красное пламя последних отражалось в его глазах; мысли мои путались, — я видел перед собой, не то на яву, не то во сне, гигантскую фигуру труженика леса, освещенную красными лучами нарождающейся зари.

4. НА ВАРЕГОВОМ БОЛОТЕ

(Из студенческой краеведческой экскурсии)

А. Смирнов-Кутаческий

Если вы от'едете от Ярославля километров 35 по направлению к Рыбинску и свернете еще на пять в сторону налево от дороги, проселком, вы попадете в область Варегова болота.

Оно, в шутку сказать, совсем небольшое, всего километров 70 в диаметре. Из него берут начало две приличные речонки: Печегда, впадающая в Волгу около Константиновского завода, в 30 километрах от Ярославля, и Черемуха, впадающая также в Волгу в Рыбинске. Обе речки с бассейном болота представляют собой довольно об'емистый мешок, на дно которого никто не заглядывал. Сулят там большое золотое дело и снутри и снаружи, а пока здесь только болото.

Когда в 1920 году началась было общая горячка по использованию производительных сил страны, несколько инженеров взялись за обследование и эксплоатацию болота, но все кончилось маленькой шахтинской историей и тюрьмой. Прогорел также до войны, выжигая уголь, один предприниматель, выехавший на жительство на островок среди болота. Так и ждет Варегово болото своих варягов.

Болото пока обслуживает дичью, покосами, в сухие годы и в сухих местах и ягодами. Лес плохой. Дичи сократилось, а до войны было в изобилии. Лоси стадами ходили. Как пришли с войны с винтовками, со всех концов болота всех лосей переняли. Много дичи водяной и сейчас, разноперой и разполикой. Идем мы у края деревни, два журавля за домом, совсем близко. «Как жеребята ходят», пояснила нам баба. Ярославские охотники наезжают сюда и во-время и без времени.

Болото манит к себе вглубь и покосника, и охотника, и ягодника, но оно очень коварно. С виду мшистое, затянутое местами травой, больше осокой, с редким, жалким леском, оно опасно «окнами». Идет ягодница или охотник уже изведанной, знакомой тропкой, на чистом мшистом местечке небольшое стеклянное пятнышко. Но бойся вступить на него: оно без дна. Но что всего опаснее — при падении окно раздастся и, как мухоловка, плотно закроется, не пронырнешь. Так нередко здесь пропадают без вести в подводных-подземных глубинах, и не в каких-либо Пинских болотах или в тундре, а, можно сказать, в подмосковном углу, в Ярославской губернии. Лосям—тем болота ни по чем, мчатся с необычайной силой, руководимые чутьем и инстинктом, а ягодницы гибнут в окнах, чему содействует еще одуряющий запах баговника.

Местность в окрестности болота слегка холмистая. Высокие ребрышки — берега былого озера — заняты деревнями и пашнями.

Уж как наша Шелшедома
На высоком месте,

— поют ребята.

Населенность довольно густая: 35 селений на пяти квадратных километрах. А чуть пониже, самый пустяк, и уж топко: непролазная грязь на дорогах в торфяном илу и лужи на лугах. Словом, и тут на небольшой глубине болото; деревни и хутора на маленьких островках, на торфяниках. Повидимому, вся эта округа вместе с болотом—площадь старого озера, покатой террасой спускающегося к Волге и теперь просачивающегося к ней большими и малыми речками, продолжение Переяславского-Ростовского бассейна. Если человеческая техника для этих озер ставит задачей улучшение гидрологических условий (в направлении чего уже предприняты работы), для Варегова болота ближайшая очередь — ускорение осушительного процесса. Ботанически болото значительно обследовано; биологически-геологическое изыскание ждет местных специалистов.

Первыми насельниками здешних мест были ярославцы. Старинное село на краю болота Шелшедом имеет память о шести мелкопоместных помещиках, когда-то здесь хозяйничавших. Потому ли, что места были барские, или потому, что болото было плохим

жильем, ярославцы некрепко сидели на здешних местах.

Земля хлеба не родила,
Почитай, что каждый год,

— жалуется девица в частушке... Исконно вся округа, едва поддерживая связь с родными местами, а то и совсем забрасывая их, уходила на «легкую» работу в Петербург и Москву. И теперь, кого ни спросишь из взрослых, все это старые торговцы: лотошники и приказчики, служащие в трактирах и самостоятельные предприниматели. Сейчас это население переживает острый кризис. Вернувшись после революции домой, оно вынуждено взяться за землю, которую никогда не любило, да и не за что было любить это болото. «Ковыряемся», так характеризовал свое хозяйство один из шелшедомцев. С трудом идет это приспособление. Вообще, здесь больше средств и планов, чем результатов. Нет недостатка в примерах культуры. Имеется шеф — богатый Константиновский завод по соседству. Совсем рядом совхоз из б. монастыря Ивана Кронштадтского, предмет завистливых взоров. Народ все развитой, интеллигентный, разговорчивый; молодежь хорошо, по-городскому чисто одета. Внешность приглядна во всем. Есть и многополье, которое, впрочем, кажется «пестрополье»; широкие планы на льноводство, романовскую овцу. А пока что — нет денег, по всей округе болота, не знают никаких промыслов. Безденежье ощутительно остро: нет десяти копеек сходить посмотреть «Броненосец Потемкин», демонстрировавшийся здесь на Троицу; тайно пару яиц от бабы приходится уносить в кооператив, чтобы получить махорки. Прислушаться к разговорам пожилых — обида старых горожан на свое подневольное деревенское житье. «Все городу, все городу, а нам ничего». «Там все есть: и хлеба всякого и муки». Приехал я, спрашиваю... «Только рабочим по карточкам, а нам ничего». Особенно чувствительно переживался здесь мучной кризис. «Белой муки дают только семь с половиной фунтов на пай или увеличивай пай, а где взять». И это отсутствие белой муки—самое больное место. «В городе по всякому дают: и мукой и хлебом, а тут и в праздник без муки». Странно звучат эти настойчивые жалобы на отсутствие белой муки при наличии более острых нужд. Но понятно все это в устах ярославца, издавна привыкшего к «легким харчам».

Хорошо передает некоторые черты этой психологии одна свадебная песня:

На курганчике курган так и курган,
На кургане кипяченый самовар...
Там пила ли душка Сонечка чай,
Пропила ль она кормильца папеньку
Со родимою со маменькою...

«Никто власть не обиждает»—дипломатично стараются прикрыть свою речь жалобщики, смутно чувствующие больше свою вину неприспособленности, глядя, как цепко и твердо устраиваются другие. Эти другие — новые пришлые насельники в окрестностях Варегова болота. Когда старые аборигены, ярославцы, не дорожа землей, начали уходить в города, иногда совсем закидывая крестьянство и во всяком случае не стремясь его расширить и улучшить путем культуры неудобных земель, здесь в дореволюционные годы был избыток земли с низкою на нее ценою. Это вызвало приток сюда ближних и дальних хлеборобов. Ближними оказались тверичи из соседнего Бежецкого уезда, дальние — могилевцы. Тверичи, напр., организованными группами родичей купили здесь землю и прочно устроились своим хозяйством. Сейчас в округе Варегова болота это три резко обособленные, живущие своим бытом и складом «нации»: ярославцы, тверичи и могилевцы. Наиболее выгодное впечатление оставляют тверские. Внутренно организованные, как выходцы и пионеры нового дела, считающие себя американцами, они крепко держатся за свое крестьянское хозяйство. Они любят землю. У них все хозяйственно устроено, и в выплате повинностей они всегда на первом месте. Выросшие в коллективизме, они дружнее в общем деле и отзывчивее на всякое новое передовое предприятие, живо откликаются на всякие интеллигентные интересы; до войны дружные с духовенством, сейчас тянутся к школе. Их молодежь

знает больше песен (на это указывают) и вообще кажется более передовою. Совсем другого типа насельник-могилевец. Более чуждый по языку и по быту, он является здесь как бы представителем низшей культуры. Всего показательней выступает это в брачных отношениях. Чтобы ярославец женился на могилевке,—разве это допустимо! Это чуть не оскорбление рода. И вообще про могилевцев слава худая,—может, и преувеличенная, — что они грубы, не знают настоящего обращения, матершинничают; молодежь — с хулиганскими замашками, буйствует; идет даже дурная молва о разных их темных делах. Настоящая конкуренция — между ярославцами и тверичами. Ярославец культурнее, внешне обходительнее, чище в костюме и быту, подлинные «чистоплюи», по старой пословице.

Шелшедомские артисты,
Они мажутся духами,
Гримируются за сценой,
А гуляют с пастухами...

Это из здешних сатирических выпадов...

Тверич — организованнее, хозяйственнее; его интеллигентность более основательная, углубленная. Характерная сценка. Одна ярославка упрекнула тверичку, что у нее подол нечистый. «У меня подол нечистый, а у вас везде чисто»—бросила та в ответ. Ярославцы берут внешней культурностью, красно-байством, обходительностью; тверичи— прочностью своего быта и жизнеспособностью. Во внешнем складе отношений и обыденности все эти особенности трех «наций» сглаживаются, выравниваются. И мы видели тот путь, по которому идет это выравнивание. Это — язык.

Господствующий говор — ярославский. «Ну, а как говорите вы?» — интересовались мы у одного интеллигентного передового «тверича».—«Язык у нас ярославский, все говорим, как ярославцы» — как бы подчеркивая общеизвестный, не имеющий возражения факт, ответил он. Это нивеллирующее, культурно об'единяющее влияние языка характерно. Словоохотливый, бойкий на язык ярославец, быстрее могилевца или тверича облекающий мысль в живое слово, завладевает прежде других речью и вниманием. Нам пришлось наблюдать интересного представителя этого господства ярославской речи, ее доминирующего здесь голоса. Это — Е. П. Канарейкин, семидесятилетний старик, старый раешник. Нам его рекомендовали, как знаменитого песенника, рассказчика и мастера на всякое слово. Он пришел к нам с праздника веселый, немножко подвыпивший. На вид щупленький, худенький старикашка, с степенной бородкой и уже со старческим заплетающимся языком и голосом; но он становился молодым и сильным и действительным мастером своего дела, когда начинал петь, на разные лады, на разные голоса, актерски выполняя разные роли. Когда-то он бродил со своим райком, получив его в наследство от тестя, с ярмарки на ярмарку, имея определенное место на ярославских базарах, показывая в своих семи стеклах разные картины—и божественные и небожественные, всех приохочивая, приманивая к себе бойким словом.

С горечью вспоминает он, как в голодное время пришлось ему продать раек. Теперь своим талантом он щеголяет, как мастерской дружка на свадьбах. Он верховодит всем свадебным весельем. Здесь он желанный гость. Его дело — уметь занять гостей по чину, по карману, по родственному положению. В тесной толпе публики, набравшейся в избу, он проделал несколько номеров из своего искусства. Тут разные песни, прибаутки. Но, повидимому, самое главное, ударное место в его свадебной артистической роли—«молебен». «Это мне самое главное, — говорил он. — Что горло-то драть да языком болтать! Выгоды нет. Вина? Да, в вине на свадьбе я первый хозяин. Хоть облейся. А что же заработать? Вот и вам — хоть пою, а что толку? А молебен — это мне выручка. За молебен платят, и мне должны платить». И он, охорашиваясь, расшаркиваясь, приглаживая и расправляя бороденку, показывая все время, как держит рогожную ризу, провел свой молебен. Это шутливая пародия на пасхальный церковный молебен. Идет несколько песен:

Воскресения день, гулять буду целый
день.
На божественной страже украл мужик
пряжи...
Светися, светися, пирог испекися...
Сомона, Сомона,
Сидит Сомона
На высокой яблоне
Пришел огородник
О длинными вилами...

Но самый главный номер в этом молебне — чтение, на манер дьяконского евангелия, «Сказки о лисе и куре доброгласном». Все повышая голос, развертывает наш дьякон благочестивую историю:

Не в которой роще сидел кур на древе.
И пришед к нему лукавая лисица
исповедати его
О, куре прекрасный и дремогласный,
когда ты жил у крестьянина богатово,
имел жен 20 и 30 и более...
Кур же заслушался и задумался
и стал с ветки на ветку спущатися вниз.
А хитрая лисица распущаше свои кохти и
впився в ёго.
Кур же,—гремит уже силою многою дьякон,—
закричал неистовым гласом...
Услыхали в деревнях:
маленькие ребята бегут с дубинами,
и большие с тележными шелыгами
и хотят лису злой смерти предать
и шкуру снять да шубу сшить,
да и бобром опушить...

Е. П. Канарейкин (и фамилия подстать) был типичным примером, открывавшим торжество и успех ярославской культуры пред другими в здешнем крае. Бойкость мысли, искусство речи, преодоление жизненных трудностей изворотливостью, часто облеченной в удачное слово, словом, это искусство жизни в трудных условиях Варегова болота сделало ярославца передовым в здешнем краю, а его искусство речи — культивирующей, об'единяющей, господствующей силой. Могилевцы — простая чернорабочая сила, тверичи — ее организующая форма, а ярославцы — бродильный фермент.

В хозяйственной жизни на Вареговом болоте сейчас кризис. В ней, действительно, больше средств и возможностей, чем осязательных жизненных результатов. Вслушаешься ли в степенную, складную, литературно-грамотную и разносторонне-толковую речь взрослых, или всмотришься в культурно-щеголеватый городской вид, обхожденье, развлеченье, разговоры молодежи, — так не гармонирует со всем беспромысловое одно серенькое крестьянское житье-бытье, с поисками копеек на табак, с планами, расчетами и поисками лучшей жизни. Как и всегда в таких случаях, они прорываются стихийно, как назревшая потребность жизни. Любопытно здесь это обнаружилось в женской половине. При чем, вдобавок, эти культурные усилия жизни здесь, на Вареговом болоте, даны в интересной контрастной картине. Остаток глубокого прошлого и современное настоящее; от чего ушла и уходит все больше жизнь около Варегова болота и куда направляются ее современные усилия. Остановимся на первом. Представитель этой былой старины, быть может, последний из могикан, местный охотник П. А. Потапов. Всю свою жизнь он провел в охотничьем промысле на болоте. И отец и дед, которого он помнит, — все были здесь охотниками, все промышляли, жили зверем. Это потомок тех давних насельников здешнего края, которых весь интерес, и личный и хозяйственный, был связан с промыслом на зверя. Тогда его было в изобилии. Еще на памяти болото кишело зверем и птицей; теперь все ослабело. Все давно покинули этот промысел, а он еще все идет по следам отца и деда. Даже выехал из родной деревни и в необитаемом, неудобном месте, на берегу болот, основал свое хуторное хозяйство. П. А. — это остаток прошлого, последний из наших предков, всю жизнь проводивших в лесу в погоне за зверем. Для соседей он кажется оригиналом. И действительно, он подлинный лесной человек с таким глубоким опытом жизни, знанием своего болота и зверя. Его рассказы про охоту совсем не «охотничьи» рассказы: в них нет ничего приключенского, сказочной охотничьей сюжетности. Но зато в этих простых рассказах столько метких, тонких замечаний, практической, деловой характеристики о повадках зверя, о его борьбе с человеком, что получается необыкновенно простая, но живая картина охотничьей драмы на Вареговом болоте. «Волк... у них такая нация: на

ходу берет, так и срежет. И как чудно. Схватил он один раз овцу, держит ее за шиворот, бежит, и овца с ним бежит. Куницу в дупле поймал, покусала, привязал на веревочку, с ревком бежит, радуется в роде... А это в детстве было. Чумный волк в деревню забежал. Праздник. Весь народ на улице. Дедушка прибежал с ружьишком. Пьяный. Все смотрят, смеются. Ружьишко плохое, дробовое. А ведь застрелил волка». Сейчас охота пала. Старый охотник занимается дрессировкой, натаскиванием собак. На дворе целая свора разных пород. «Давайте какую угодно испорченную собаку, в два месяца натаскаю, будет хоть куда». Я позавидовал таким педагогическим способностям. А вместе он «натаскивает» сейчас и своих ребят, обучая своему ремеслу. Из его тринадцати детей есть такие, которые схватили от отца эту прадедовскую чуткость к зверю, к лесу, к природе, к родному болоту...

За рубежом

1. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету. 2. ВЛАД. АВАРИН. — Харбин революционный. 3. ВЛ. БРАУДЕ. — Япония на перепутье.

1. ПО ВСЕМУ СВЕТУ

Очерки международной политики

С. Гальперин

Там, где не критикуют правительства. — Гендерсон, наконец, решился. — Трубка мира в Вашингтоне. - Наследство Штреземана. — От Отто Бауэра до Шэбера. — Провал гоминдановской „стабилизации". — Конец одной авантюры.

Там, где не критикуют правительства

Рабочая партия—правящая партия в Британской империи. С'езд этой партии должен был бы поэтому носить характер самого широкого обсуждения важнейших политических проблем, чтобы дать основные директивы правительству, которое именем этой партии правит империей. С таким мерилом, по крайней мере, подходит к оценке с'ездов правящей партии в СССР советская общественность. С'езды ВКП(б) являются моментами, когда трудящиеся Союза с особенным вниманием прислушиваются к голосу партии, ожидая от этих с'ездов ясных и точных указаний, по какому пути должна итти политика правительства, облеченного доверием партии.

Но у пас ведь, как известно, диктатура. В Британской же империи царит демократия. С точки зрения буржуазных государствоведов разница между двумя этими системами управления заключается в безответственности правительства при диктатуре и его ответственности в демократических странах. Практика, однако, показывает, что в стране пролетарской диктатуры правительство помимо своей ответственности перед избранниками трудящихся на с'ездах советов несет еще дополнительную ответственность перед руководящей партией, имеющей большинство во всех представительных органах Союза.

Иное дело в Англии. На состоявшемся в октябре месяце брайтонском с'езде британской рабочей партии критика правительства Макдональда в принципе была исключена из программы работ с'езда. Министры кабинета Макдональда подчеркнули, что они не намерены «отчитываться» перед с'ездом, а президиум с'езда подчеркнул, что делегатам надлежит обсуждать деятельность исполкома партии, но не деятельность британского правительства.

Такого рода установка была вполне логична с точки зрения рабочей партии, которая рассматривает себя не как классовую, а как национальную партию. Правительство Британской империи считает поэтому ниже своего достоинства получать директивы от той партии, от имени которой оно правит, — наоборот, в качестве носителя верховной власти оно дает руководящие указания своей партии.

Результатом этой демократической «логики» явилась, однако, полная бес-

цветность брайтонского с'езда. Среди всех с'ездов рабочей партии за последние годы он привлек к себе всего меньше внимания.

Брайтонский с'езд не обсуждал по-настоящему ни одного политического или экономического вопроса. Как докладчики, так и оппоненты скользили по поверхности, руководствуясь в своих выступлениях стремлением избежать всего того, что могло бы стеснить свободу деятельности правительства Макдональда.

Все же три министра — Гендерсон, Томас и Сноуден — выступили на с'езде с заявлениями программного характера. Но именно их выступления вполне оправдали нежелание заправил с'езда допустить критику деятельности «рабочего» правительства. Ибо критика могла бы оказаться очень неблагоприятной для правительства.

Больше всего разочаровала делегатов речь Томаса. Если оставить в стороне его рассказы о том, как он выступал в Канаде в роли комми-вояжера английских углепромышленников, то сводилась его речь по существу к следующему. Программа правительства в деле борьбы с безработицей сводится к ассигнованию 6 миллионов фунтов стерлингов муниципалитетам на коммунальные работы; 10 миллионов фунтов стерлингов на осуществление пятилетней программы дорожного строительства и 28 миллионов фунтов стерлингов на улучшение существующих дорог. В общей сумме это составляет 44 миллиона фунтов стерлингов, что может обеспечить работу для 176 тыс. человек, ибо, по указанию самого Томаса, каждый миллион фунтов стерлингов может дать работу 2.000 рабочих непосредственно и 2.000 рабочих — косвенным путем. При полутора миллионах безработных перспектива обеспечить работой 176 тыс. человек представлялась по меньшей мере скромной.

С полным основанием указывает «New Leader», орган независимой рабочей партии, на «полное отсутствие в этой программе даже намека на разрешение проблемы безработицы конструктивным путем», подразумевая под этим продуманную программу капитального строительства, которое могло бы дать работу огромной массе безработных, подымая в то же время народное хозяйство Англии. И даже архиумеренный лидер союза железнодорожных кочегаров Бевин должен был указать Томасу на целый ряд работ капитального характера: тоннель под Ламаншем, тоннель под Темзой, развитие сети железных дорог в малонаселенном северовосточном районе Шотландии, что оживило бы весь этот край, и т. д.

Томас умолчал об этом совершенно сознательно. Экономическая программа «рабочего» правительства преследует другую цель: рационализировать существующую английскую промышленность, а эта рационализация в условиях капиталистического строя не сможет не привести к обострению безработицы.

С довольно обоснованной критикой программы Томаса выступила и либеральная печать. Еженедельник «New Statesman» в интересной статье «Работа или милостыня?» пишет, что «проблема безработицы имеет две стороны — восстановление высокой производительности труда в индустрии и создание этим путем обеспеченного спроса, с одной стороны, и использование рабочей силы безработных — с другой... Правительство концентрирует все свои усилия на первой части проблемы, оставляя в стороне вторую часть» («New Statesman», от 5 окт.).

Либеральный еженедельник указывает, что рационализаторские устремления правительства Макдональда хотя и необходимы для под'ема английской промышленности путем повышения ее конкурентоспособности, но они явно недостаточны. Ибо все же миллион безработных в течение ряда лет будет жить за счет пособий для безработных. Правительство должно было бы смело ассигновать многомиллионные суммы на капитальные работы, ибо предпочтительнее давать рабочим работу, а не милостыню. Затраченные суммы окупятся за счет сокращения пособий безработным и повышения внутреннего спроса на продукцию английской промышленности.

Либеральный автор, конечно, обходит вопрос о том, в какой степени возможно в рамках капиталического строя рационально развертывать капитальное строительство. Но мы не имеем в виду полемизировать с «New Statesman» и хотим лишь отметить ограниченность—даже с точки зрения буржуазных экономистов — экономической программы «рабочего» правительства, ограничивающего свои задачи содействием капиталистической рационализации.

Не менее любопытно было и выступление другого министра, небезызвестного Филиппа Сноудена. В качестве руководителя финансовой политики он остановился на вопросе о произведенном Английским банком повышении учетного процента с 5½ до 6½. Мера эта, которая означала значительное сужение кредита для промышленности, а значит и сужение размаха английской промышленности, вызвала большое негодование в рабочих кругах Англии. Бен Тиллет заявил, что английское правительство должно было бы уволить директора Английского банка и начать по этому поводу судебное или административно-правительственное расследование.

Сноуден выступил с длинной речью, в которой, обходя экономическую суть вопроса, защищал необходимость принятой Английским банком меры в виду огромного отлива золота из Англии первоначально в Германию и Америку, а в последние месяцы — во Францию. Несмотря на безапелляционный характер финансово-технических аргументов Сноудена, речь его не убедила делегатов. Чтобы избежать неприятной дискуссии, председатель с'езда под предлогом недостатка времени прекратил прения по этому вопросу. Это вызвало протесты со стороны многих делегатов, членов независимой рабочей партии, которые внесли резолюцию, в которой они «обращали внимание с'езда на гибельные результаты повышения учетного процента для торговли и промышленности, могущие лишь обострить существующую в стране безработицу, и предлагали правительству установить контроль государства над денежным рынком, банками и кредитными предприятиями».

Однако, эта «левизна» английских независимцев оказалась чисто показной. После некоторых пререканий с председателем лидер независимой рабочей партии Мэкстон снял предложенную им резолюцию. Эта тактика—пошуметь, а затем подчиниться большинству — характеризуют вообще линию независимцев. Они выступили с резолюцией в защиту арестованных в Индии работников революционного профсоюза «Красный Флаг», но быстро стушевались, когда товарищ министра по делам Индии Шильс сделал противоречащее фактам заявление, что арестованные по Мирутскому процессу работники «Красного Флага» преданы суду не за профсоюзную работу, а за попытку свержения индийского правительства, и что с арестованными обращаются хорошо. Об этом «хорошем обращении» лучше всего свидетельствует тот факт, что один из обвиняемых Дас умер после длившейся 61 день голодовки протеста против грубого обхождения тюремной администрации.

Мекстоновцы выступили с несколькими гуманитарными фразами в защиту арестованных, но никто из них не решился поставить во всю ширь вопрос о сущности британского империализма и о всей его политике в Индии. Ибо эти псевдо-левые социалисты в этом коренном для оценки деятельности правительства Макдональда вопросе ничем не отличаются от социал-империалистического большинства рабочей партии.

Гендерсон, наконец, решился

Настоящий успех на брайтонском с'езде имел только Гендерсон. Употребляя его выражение, он «был счастлив» сообщить делегатам, что им подписано с представителем СССР Довгалевским соглашение, на основе которого английское правительство немедленно по открытии парламентской сессии предложит палате общин возобновить с советским правительством дипломатические отношения в полном об'еме, включая обмен послами, после чего

начнет с СССР переговоры по всем спорным между обоими государствами вопросам. Под гром аплодисментов со стороны с'езда он закончил свое сообщение выражением надежды, что ему удастся добиться такого соглашения по этим вопросам, которое упрочит экономическую связь и дружественные отношения между СССР и Англией.

Не предрешая сейчас вопроса о будущих взаимоотношениях между обеими странами, необходимо отметить, что заключенное между Довгалевским и Гендерсоном соглашение полностью соответствует той позиции, которой держалось в этом вопросе советское правительство. Возобновление дипломатических отношений произошло в полном об'еме без каких-либо предварительных условий — разрешение пресловутого вопроса о пропаганде и расчетов по взаимным претензиям и контрпретензиям отложено до того времени, когда между обеими странами произойдет обмен послами.

Немудрено, что печать всего мира охарактеризовала это соглашение как победу советской дипломатии. И, разумеется, именно это обстоятельство вызвало особое озлобление со стороны английских твердолобых и вторящих им правых кругов французской буржуазии. «Times» поместил ядовитую статью против Гендерсона, в которой выступает уже не столько против возобновления дипломатических отношений, как такового, а против формы, в которой Гендерсон принял свое решение. «Почему соглашение Гендерсона с Довгалевским было заключено таким путем, который больше всего дискредитирует английскую дипломатию? — спрашивает консервативная газета. — Если бы Гендерсон заявил в палате общин немедленно после выборов, что его партия всегда требовала признания Советов и что правительство решило исполнить это требование, то против этого мало что можно было бы возразить... Но правительство Макдональда сделало все возможное, чтобы сделать дипломатический успех Советского Союза возможно более полным и ощутительным. Если в августе разногласия Гендерсона с большевиками казались ему настолько серьезными, что он оборвал переговоры, то что изменилось в сентябре?» («Times» от 8 окт.).

По существу «Times», конечно, прав. Четырехмесячные влияния «рабочего» правительства Англии привели лишь к тому, что вполне естественное выполнение правительством требования правительственной партии в Англии приняло форму дипломатического поражения Гендерсона.

Оставляя в стороне эти вопросы «престижа», следует констатировать, что заключенное между Гендерсоном и Довгалевским соглашение знаменует прежде всего победу рабочих масс Англии над лидерами рабочей партии. В то время как пролетарские низы рабочей партии, движимые классовым инстинктом, рассматривали возобновление дипломатических отношений с СССР как свое кровное классовое дело, лидеры рабочей партии с Макдональдом во главе относились к нему более чем прохладно. Свое стремление сорвать или, по меньшей мере, оттянуть момент возобновления дипломатических отношений они проявили достаточно явно. Но удержаться на этой позиции им не удалось. Тот факт, что даже профбюрократический по своему составу с'езд трэд-юнионов напомнил правительству Макдональда о необходимости выполнить по «русскому вопросу» предвыборные обещания рабочей партии, показал министрам, что дальнейшие проволочки вызвали бы прямое недовольство рабочих масс. Гендерсону пришлось срочно итти на попятный и принять в октябре то, что в августе казалось ему неприемлемым.

5 ноября британский парламент большинством 320 голосов против 190 утвердил соглашение, заключенное между Гендерсоном и Довгалевским о безоговорочном возобновлении дипломатических отношений между Англией и СССР в полном об'еме. Ко времени выхода в свет настоящей книги обмен послами между обеими странами будет уже совершившимся фактом.

Трубка мира в Вашингтоне

Самого министра-президента на брайтонском с'езде рабочей партии не

было. Накануне с'езда океанский пароход «Беренгария» умчал его в далекую Америку. «Беренгария» — бывший германский пароход «Император», доставшийся Англии в качестве военной добычи. Как буржуазная, так и реформистская печать отметили, что апартаменты, предназначавшиеся некогда для кайзера Вильгельма, были использованы для своей поездки членом британской рабочей партии, что, наверное, никогда не снилось ни кайзеру, ни владельцам парохода.

Реформистская печать видела в этом своеобразный перст судьбы и подчеркивала, что, в противовес воинственным устремлениям свергнутого германского кайзера, занявший его место на пароходе «рабочий» премьер Англии одушевлен идеями мира и разоружения, которые и вызвали его поездку в Соединенные Штаты.

Интерес к поездке Макдональда в буржуазных и социал-демократических кругах всего мира был огромный: империалистическая буржуазия Англии относилась с некоторым подозрением к этой поездке, опасаясь, как бы Макдональд не пошел на слишком большие уступки Америке; американские судостроители опасались, как бы соглашение с Англией не сорвало намеченных планов военно-морского строительства САСШ; французские патриоты подняли вой о попытке создать англо-американскую гегемонию над всем миром; в Германии с интересом следили за видимой переменой курса внешней политики Англии; социалисты во всех странах славословили миротворческую миссию Макдональда.

Но гора родила мышь. После того как была опубликована совместная декларация Гувера и Макдональда, наступил момент тягостного молчания. Больше всего были разочарованы журналисты,—декларация была составлена в таких общих выражениях, что о ее практическом содержании просто нечего было сказать. «New Leader» (от 11 октября) поместил на первой странице картинку, изображающую Гувера и Макдональда в виде индейских вождей с перьями на голове, курящих трубку мира. Но дальше «трубки мира» дело не пошло.

Оба контрагента торжественно заявили, что «война между Англией и САСШ немыслима» и что это открывает новые перспективы в деле разрешения всех конфликтных вопросов между обоими государствами. Но никакой ориентировки в конкретном разрешении этих спорных вопросов не было дано. Недвусмысленно сказано было лишь о паритете английского и американского военных флотов по всем категориям военных судов, но это было известно еще до поездки Макдональда в Вашингтон. Некоторое расхождение в определении тоннажа американского крейсерского флота (Америка настаивала на доведении его до 330 тыс. тонн, тогда как Англия выдвигала цифру в 300.000 тонн) также не нашло своего разрешения в декларации выкуривших трубку мира «вождей» Англии и Америки.

Орган рабочей партии «Daily Herald» с торжеством отмечает то место в обращении Макдональда к американскому сенату, где он говорил, что речь идет не об установлении союза между Англией и Америкой, что представляло бы угрозу для других наций, а о сотрудничестве между обеими этими странами, к которому могут присоединиться «все цивилизованные и честные нации мира».

«Daily Herald» видел в этом, конечно, начало новой эры в истории международных отношений, эры, характеризующейся отсутствием каких-либо военных союзов между отдельными странами, но более дальновидная в данном случае французская буржуазная печать, также с удовлетворением отметившая эту фразу Макдональда, сделала из нее более простой вывод, что стремления Макдональда установить более тесный контакт с Америкой в области мировой политики не нашли отклика со стороны Гувера.

Редактор «Matin» Стефан Лозанн называет англо-американский союз «великой иллюзией» и указывает, что шумный прием, оказанный Макдональду в Америке, мало чем отличается от приветствий по адресу заокеанского цеппе-

лина и что все основные вопросы, разделяющие Англию, — свобода морей, экономическое соперничество и т. д., — так и остались неразрешенными. «Temps» в передовой от 13 окт. констатирует, что Макдональд имел в Вашингтоне лишь моральный успех, поскольку ему удалось добиться опубликования декларации, говорящей о том, что правительства Англии и Америки одушевлены доброй волей к сохранению всеобщего мира. Но, поучает Макдональда французский официоз, «если бы дело зависело только от взаимной доброй воли, от искреннего подхода к задачам дипломатии, от доверия к делаемому усилию, то обширная проблема организации мира была бы уже давно разрешена. К сожалению, наряду с этим существует противоречие интересов, — есть коварные вопросы, вытекающие из особенностей положения каждой державы, на которые наталкиваешься даже при горячем желании сделать решительный шаг».

«Temps» подчеркивает в частности, что вашингтонская декларация ничего не говорит об *исторической проблеме* свободы морей. Но некоторыми органами английской печати был сделан намек, что наметился будто бы следующий подход к разрешению этой проблемы: Англия должна отказаться от права морской блокады в отношении нейтральных судов во время войны, а Америка должна обязаться не вести торговлю с той страной, которая будет признана нарушительницей пакта Келлога.

Не трудно видеть, что такого рода соглашение, если бы сведения о нем оказались правильными, означало бы фактически капитуляцию Англии перед Америкой, ибо отказ Англии от своей концепции морской блокады во время войны имел бы огромное практическое значение, тогда как обязательство Америки носило бы совершенно теоретический характер, поскольку признание какой-либо страны нарушительницей пакта Келлога связывало бы Америку лишь в случае трудно достижимого единогласия на этот счет всех держав, подписавших пакт Келлога. К тому же Америка фактически могла бы снабжать и эту страну через другое государство, имеющее с злосчастной «нарушительницей» сухопутную границу. На деле в силу этого соглашения Америка отказалась бы от торговли лишь с той страной, которой она по тем или иным причинами сама не хотела бы помогать.

Вообще говоря, если соглашение между Макдональдом и Гувером имеет какое-либо практическое значение, то лишь значение капитуляции Англии перед американскими требованиями. Это особенно сказалось в вопросе о морских вооружениях. Как бы ни разрешился окончательно спор о трех добавочных крейсерах, на которые претендует Америка, практически это соглашение имеет некоторое ограничительное значение лишь для Англии. Американский пацифистский еженедельник «Nation» констатирует, что «Соединенные Штаты получают 36 новых крейсеров, что в три раза превышает крейсерский флот, который она имеет в настоящее время. Таково морское разоружение гуверовского стиля. Оно означает полное осуществление морской программы, принятой американским конгрессом» («Nation» от 2 окт.). Этот характер англо-американского соглашения был резко подчеркнут в резолюции с'езда американской федерации труда в Торонто, происходившего как раз во время пребывания Макдональда в Америке. Лидеры американской федерации труда по своим политическим симпатиям примыкают к наиболее реакционному крылу американской буржуазии, поддерживая самые воинственные стремления северо-американского империализма. Они неизменно выступают против прогрессивной группы сенаторов, стоящих за признание советского правительства, они не считают возможным примкнуть даже к Амстердамскому Интернационалу в виду его чрезмерной, по мнению с'езда в Торонто, «левизны», они остались недовольны выступлением в Торонто делегатов британских трэд-юнионов за то, что те в своей приветственной речи восхваляли британскую рабочую партию (для

АФТ и она является слишком «левой»). Но даже эти зубры сочли нужным одобрить вашингтонскую декларацию за то, что она оставляет полный простор для выполнения программы строительства Большого Флота в Америке.

Есть лишь один пункт в англо-американском соглашении, который, по мнению империалистов Франции и Италии, таит в себе угрозу навязать волю двух англо-саксонских держав всему миру. Это пункт, говорящий о намерении обеих держав добиваться полного запрещения подводного флота. Для Франции, Италии и отчасти Японии, не могущих состязаться с Англией и Америкой в крейсерах и броненосцах, подводный флот является основным орудием борьбы. Но именно вашингтонская декларация рассеяла опасения Франции на этот счет. Поскольку декларация эта говорит о том, что соглашение Англии и Америки должно явиться лишь частью соглашения пяти крупнейших морских держав, которые смогут отстаивать свою точку зрения в вопросе о морских вооружениях, и поскольку нет перспективы подлинного союза между Англией и Америкой, постольку занятая ими позиция в вопросе о подводном флоте не представляет собой серьезной угрозы. Тем не менее между Францией, Италией и Японией уже ведутся закулисные переговоры об единстве выступления против предложений Макдональда и Гувера (в вопросе о подводном флоте) на предстоящей в январе месяце 1930 г. конференции Америки, Англии, Франции, Японии и Италии.

Наследство Штреземана

«Испытываешь всегда некоторое чувство меланхолии, когда видишь, как с мировой сцены сходит человек в разгаре борьбы, в полном расцвете своих жизненных сил» — такими словами начинается посвященная смерти Штреземана статья лидера французских социалистов Леона Блюма в газ. «Populaire». «С его именем будет связан в истории, — продлжает Блюм, — целый критический период в германской политике — от прекращения пассивного сопротивления до освобождений Рейнских провинций».

Отдав таким образом должное заслугам скончавшегося 3 октября германского министра иностранных дел, Блюм, однако, быстро утешается тем, что и после смерти Штреземана германская политика останется неизменной: «Локарно подписано, пакт Келлога подписан, Германия вошла в Лигу Наций, план Юнга скоро войдет в силу, через несколько времени последние отряды союзнических войск очистят германскую территорию... Франко-германское сближение и умиротворение Европы не могут быть более поколеблены, если только ошибки нашей дипломатии не придадут зарейнскому национализму силы, которой он не обладает сам по себе».

Леон Блюм — социалист, член II Интернационала. В этом качестве он не может «беспартийно» восхвалять германского мин. ин. дел, который в роли вождя народной партии представлял собою одну из крупнейших фигур германской буржуазии после войны. Леон Блюм указывает, что «каковы бы ни были ум и энергия Штреземана, он не мог бы завершить своего дела без поддержки организованного пролетариата. Штреземан оплодотворил и собрал в конце концов то, что германская социал-демократия сеяла в трудных и опасных условиях».

Леон Блюм прав только наполовину: действительно германская социал-демократия больше всех содействовала локарнскому курсу германской политики и сближению Германии с версальскими победителями. Но Блюм — неправ, во-первых, когда он проводит знак равенства между социал-демократией и пролетариатом, и, во-вторых, когда полностью отожествляет политику Штреземана с политикой германской социал-демократии.

Штреземан несомненно осуществлял тенденцию германской буржуазии к сближению с капиталистическим Западом и был сторонником политики выполнения Версальского договора. Но он проявлял гораздо больше политического реализма, чем социал-демократические сторонники этой политики, и

достаточно много раз подчеркивал, что политическое и географическое положение Германии требует от нее соблюдения некоторой середины между ориентацией на Запад и на Восток, и — в отличие от германских с.-д. — старался поддерживать дружественные отношения с Советским Союзом.

Смерть Штреземана вместе с урегулированием вопросов, связанных с исполнением Версальского мира (план Юнга и эвакуация Рейнских провинций), должна была отразиться на судьбе германского коалиционного правительства. Именно соображения внешней политики вынуждали большинство германской буржуазии поддерживать коалицию с с.-д., которая в настоящее время отжила свой век. Германская социал-демократия оказала германской буржуазии огромную услугу, сдерживая недовольство пролетариата в трудные моменты перехода от инфляции к золотой валюте и в последующие годы капиталистической рационализации. С'езды промышленников еще пару лет тому назад расточали по адресу социал-демократических вождей массу комплиментов и проповедывали сотрудничество с социал-демократическими профсоюзами в деле налаживания промышленной жизни.

Но этот переходный период кончился. С помощью социал-демократов германская буржуазия неплохо укрепила свои позиции. Поддержка с.-д. им более не нужна и лишь стесняет свободу их действия. Правда, социал-демократические министры не вносят никаких реформ или бюджетных проектов, направленных к улучшению положения пролетариата. Но они еще пытаются, для того, чтобы не растерять последние остатки своего влияния на пролетарские массы, ослабить натиск буржуазии. Они согласны на ухудшение законов об обеспечении безработных, но не в такой степени, как этого требует крупная буржуазия.

Внесенный социал-демократами проект изменения о социальном страховании понижает ставки социального страхования для ряда категорий сезонных рабочих и квартирников: он предусматривает снижение ставок или даже полное лишение права на пособие для рабочих, которые не имеют стажа непрерывной 52-недельной работы; он устанавливает снижение пособий для безработных, живущих в сельских местностях, хотя бы раньше они работали в городах и делали взносы в страхкассу по более высоким ставкам. В общем итоге социал-демократический законопроект означает для германского бюджета экономию в 100 миллионов марок за счет безработных. Но для германской буржуазии этого недостаточно, она требует решительного разрыва с прежними тенденциями заигрывания с пролетариатом.

Германская буржуазия давно уже создала бы министерство без участия социал-демократов, если бы не необходимость закончить переговоры с союзниками, для успеха которых участие социал-демократов в правительстве предпочтительнее участия националистов, по демагогическим соображениям выступающих против политики выполнения Версальского мира. Участие Штреземана в правительстве Мюллера было живым олицетворением этого примата внешней политики над внутренней.

Период этот кончается, и смерть Штреземана могла бы быть достаточным поводом для общего правительственного кризиса в Германии. Но националисты сами продлили жизнь кабинета Мюллера. Их требование отвергнуть план Юнга заставляет придерживающиеся локарнского курса группы буржуазии еще держаться за коалицию с социал-демократами.

Все германское правительство в целом вело борьбу против проводимой националистами кампании об устройстве плебисцита по вопросу о принятии плана Юнга. Давление правительства, агитация социал-демократов и «республиканского флага», манифест против плебисцита, выпущенный католическим епископатом, воззвание, подписанное виднейшими представителями науки и литературы — Энштейном, Гауптманом Томасом Ман-

ном и др.—все это заставляло думать, что вряд ли затея националистов увенчается успехом. Необходимо отметить, что и германская компартия, хотя она и против локарнской политики и утверждения плана Юнга, не поддерживала требования об устройстве плебисцита, ибо считала, что с версальским закабалением германского народа может покончить лишь пролетарская революция.

Тем не менее, хотя и с большим трудом, националистам удалось набрать требуемые для проведения плебисцита 4 миллиона голосов. Но это лишь предварительная фаза,—для того, чтобы предложение националистов об отклонении плана Юнга стало законом, необходимо, чтобы, во-первых, при плебисците за него высказалось большинство голосов, и, во-вторых, чтобы в плебесците приняло участие большинство избирателей (не менее 21 миллиона человек). Противникам предложения националистов достаточно вести кампанию бойкота плебисцита, чтобы вносимый националистами проект отклонения плана Юнга провалился просто в силу недостаточного числа участников плебисцита. Те трудности, с которыми националисты набрали 4 миллиона голосов, необходимых для требования плебисцитарного обсуждения вопроса, показывают, что об окончательном отклонении плана Юнга не может быть и речи.

Плебисцитарная кампания националистов является с их стороны шахматным ходом, направленным не к провалу плана Юнга, а лишь к сложению с партии националистов ответственности за утверждение этого плана. Когда он вступит в силу, националисты будут лойяльно его выполнять и станут опорой правительственной коалиции. Но это будет уже новый период послевоенной Германии, период, когда наступление буржуазии на пролетариат уже не будет осложняться соображениями внешней политики и пойдет поэтому полным ходом. Вместо с тем сойдет с авансцены политической жизни и германская социал-демократия, ибо у буржуазии не будет больше нужды в ее посреднических услугах.

От Отто Бауэра до Шобера

Трагедия, которую германским социл-демократам предстоит пережить в близком будущем, для их австрийских собратьев стала уже совершившимся фактом. Австрийская социал-демократическая партия, находившаяся всего несколько лет тому назад на вершине политического могущества, стоит сейчас у порога своей гибели, вдобавок гибели, в которой повинна она сама.

Поистине трагична история этой партии. Трагична и вместе с тем поучительна для оценки социал-демократической тактики во всех странах. Ибо история возвышения и падения этой партии представляет собой классически чистый пример беспомощности социал-демократии пред лицом суровой классовой борьбы.

Австрийская социал-демократия была относительно (в процентном отношении к населению страны) самой сильной социал-демократической партией в мире. В стране с 6-миллионным населением она и сейчас насчитывает 700.000 членов. В одной Вене она имеет 420 тыс. членов, тогда как число голосов, поданных в Вене за все буржуазные партии вместе, на последних выборах не превышало 350 тысяч человек.

Австрийская социал-демократия была самой левой из всех социал-демократических партий. Она имела в своих рядах лучших теоретиков Второго Интернационала с Отто Бауэром и Фридрихом Адлером во главе. Она в течение ряда лет стояла во главе австрийского правительства. Она и сейчас безраздельно господствует в Вене и имеет даже несомненные достижения в некоторых областях муниципального хозяйства, в особенности в области жилищного строительства для рабочих. Еще два года тому назад она держала в своих руках венский арсенал, занимала командные посты в венской полиции и пользовалась влиянием в австрийской армии, сохранив за военнослужащими право участвовать в политической жизни страны. Реформисты всех стран неизменно ставили в

пример коммунистам австрийскую социал-демократию, которая-де сумела добиться без всяких потрясений командного положения в стране и должна была полегоньку, помаленьку привести эту страну к социализму.

И вот эта «примерная» социалистическая партия оказалась политическим банкротом. Несколько лет тому назад она сдала правительственную власть буржуазной коалиции, утешаясь тем, что на ближайших выборах она соберет большинство голосов и тогда легально, опираясь на прочное парламентское большинство, будет постепенно вести Австрию к социализму. Но буржуазия не стала ждать этого момента. Буржуазия не проявила ни малейшего пиетета к легальности и предпочла иметь в своих руках более осязательные козыри.

Сменивший социал-демократов у кормила правления лидер христианско-социалистической партии прелат Зейпель из'ял из рук венских рабочих арсенал, вытравил социал-демократический дух из венской полиции, потребовал разоружения социал-демократического «шутцбунда» (союза защиты) и принялся вооружать фашистский хеймвер («союз защиты домашнего очага»). Этот процесс наступления на все опорные пункты социал-демократии продолжался три года: шаг за шагом отступала австрийская социал-демократия, не решаясь дать бой буржуазии, хотя тогда на ее стороне были еще большие шансы на победу.

В июле 1927 г. социал-демократам был брошен прямой вызов: венский суд оправдал фашистов, напавших на с.-д. рабочих и убивших нескольких из них. Австрийский пролетариат стихийно бросился в бой — баррикадные бои и всеобщая забастовка, во время которых сотни рабочих поплатились жизнью, ознаменовали эти июльские дни в Австрии. Вместо того, чтобы сделать выступление рабочих исходным пунктом для пролетарской революции, социал-демократы предпочли призвать рабочих к успокоению. Движение было сорвано, и венский полицмейстер Шобер, усмиритель восстания, стал героем австрийской буржуазии.

Мы не станем описывать все последующие этапы наступления фашизма. Достаточно указать, что в настоящее время фашисты оказались уже достаточно сильными, чтобы, по примеру своих итальянских собратьев, открыто выступить с требованием установления в Австрии фашистской диктатуры. Коалиционному буржуазному правительству было пред'явлено требование преобразования страны на фашистский лад под угрозой того, что иначе фашисты произведут это «преобразование» сами. Коалиционное правительство Штеерувица поспешило выйти в отставку, уступив место кандидату фашистов Шоберу.

Австрийские с.-д. пытались и образование правительства Шобера представить чуть ли не как свою победу, ибо прямые главари хеймвера не были введены в состав правительства (вошли только «сочувствующие»). Но Шобер не замедлил раскрыть свое фашистское лицо. Он немедленно внес законопроект, сужающий права парламента и расширяющий за их счет права президента республики, который должен отныне избираться всенародным голосованием (метод наполеоновских плебисцитов). В то же время правительственный законопроект предусматривает отмену муниципальной автономии Вены и подчинение этой социал-демократической цитадели непосредственному контролю правительства.

Для социал-демократов, как политической силы, этот законопроект был равносилен смертному приговору. Они заявили, что окажут ему решительное сопротивление. В их руках еще оставались легальные возможности, поскольку для изменения конституции требуется две трети голосов в парламенте, а этих двух третей у всех буржуазных партий, вместе взятых, нет. Но фашистов это не останавливает. У них реальная сила. Новый министр внутренних дел Шуми заявил категорически: «Социал-демократам надлежит выбирать между войной и миром, быть может, между демократией и диктатурой и, во всяком случае, между сохранением внутреннего мира и гражданской войны».

Социал - демократическая венская «Arbeiter Zeitung» отвечает на это: «Мы отказываемся уступить шантажу. Страхом нельзя воздействовать на рабочий класс. Мы откажемся обсуждать реформу конституции под угрозой гражданской войны и диктатуры». Но и в этих «героических» словах заключается предложение сделки: не говорите прямо о гражданской войне и о фашистской диктатуре, и тогда мы согласимся «обсуждать» фашистскую реформу.

Комично это зрелище партии, которая еще в прошлом году на с'езде в Линце приняла программу, в которой фигурировали слова «диктатура пролетариата» и которая вопит теперь о недопустимости гражданской войны и разговоров о диктатуре. Правда, еще совсем недавно Отто Бауэр пытался успокоить буржуазию, заявляя, что диктатура пролетариата фигурирует в программе его партии лишь как «аргумент против большевиков, упрекающих социал-демократию в том, что она тормозит боеспособность пролетариата».

Но буржуазия не интересуется этими словесными аргументами. Она прекрасно знает, что австрийская социал-демократия ни о какой гражданской войне не помышляет, что она даже будет идеологически разоружать пролетариат (после того как она дала разоружить его в прямом смысле этого слова), когда коммунисты будут звать рабочих на борьбу. Но именно поэтому, учитывая бессилие и дряблость социал-демократии, она сама грозит гражданской войной и, разумеется, не остановится перед ней, если пролетариат пойдет против нее в бой.

«Ты этого хотел, Жорж Дандэн» — эти мольеровские слова написаны как-будто прямо для Отто Бауэра. Отказавшись от борьбы за диктатуру пролетарпата, он подготовил почву для диктатуры фашистской буржуазии.

Провал гоминдановской стабилизации

Бессмысленная авантюра, которую нанкинское правительство затеяло на Восточно-Китайской жел. дороге, оказалась началом краха той гоминдановской «стабилизации» Китая, честь которой империалистическая пресса всего мира приписывала Чан Кай-ши. Восстание так называемой «железной армии» одного из виднейших генералов бывшего уханского правительства Чан Фа-гуя, выступившего против Чан Кай-ши под лозунгом «реорганизации гоминдана» на основе возвращения в гоминдан изгнанных из него под давлением Чан Кай-ши «левых» лидеров, открытая война с «народными армиями» Фын Юй-сяна; сомнительной дружелюбности по отношению к Нанкину нейтралитет Ен Син-шана и Чжан Сюэляна; восстание гарнизона в Вуху; полная ненадежность подчиненных Нанкину генералов, в роде старого интригана Тан Шен-чи, который ныне командует армиями, отправленными против Фын Юй-сяна — все это делает позицию нанкинского правительства очень ненадежной.

Так расценивает положение в Китае «Times» и считает основными причинами этого провала гоминдановской «стабилизации» «неуменье Нанкина улучшить экономическое положение и устранить соперничество между генералами и политиканами, считая в том числе и самого Чан Кай-ши». Такую же характеристику ситуации в Китае делает и американская печать, с тою лишь разницей, что у американских органов печати преобладают нотки сожаления, а у «Times» — нотки злорадства. Но ни английская, ни американская печать не указывают основной причины провала попытки Чан Кай-ши обеспечить спокойное буржуазное развитие Китая под управлением «очищенного» гоминдана.

Отойдя от выдвигавшейся в 1925—1926 гг. платформы освобождения Китая от империалистической зависимости, заменив дружбу с Советским Союзом угодничеством перед империалистами, Чан Кай-ши уничтожил экономическую базу освобождения Китая. Пока над Китаем тяготеет господство империалистических держав, он не может экономически развиваться. Тщетны и попытки добиться установления внутреннего государственного единства Китая, пока Китай является об'ектом домогательств и интриг империа-

листических держав. Если Нанкин ориентируется на помощь со стороны Соединенных Штатов, генералы Южного Китая получают поддержку со стороны английского Гонконга, а мукденцы в той или иной степени считаются с давлением Японии.

Уже несколько месяцев тому назад, когда на юге вспыхнуло восстание гуансийцев, а на северо-западе Нанкину грозило выступление Фын Юй сяна, было совершенно ясно, что Чан Кай-ши может справиться со всеми своими конкурентами лишь благодаря недостаточной их сплоченности между собою.

Однако, блок против Чан Кай-ши продолжал если не крепнуть, то ширится. Уже сейчас выяснились очертания этого блока. Чан Фа-гуй поставил себе задачу пробиться на юг, об'единить вокруг себя не только так называемых левых гоминдановцев, но и остатки гуансийской группировки, и, пройдя через провинцию Гуанси в провинцию Гуандунь, сделал главный город этой провинции Кантон столицей «реорганизационного» правительства. Нанкин несколько раз сообщал о том, что армия Чан Фа-гуя окружена правительственными войсками, но сведения эти оказались преувеличенными. Хотя пробиться в Гуандунь Чан Фа-гую не удалось, но он довольно крепко обосновался на границе провинций Хунань и Гуанси, получая, повидимому, поддержку от местных войск.

Но центр тяжести борьбы против Нанкина перенесен в провинцию Хэнань, откуда началось наступление «народных армий» Фын Юй-сяна. Последнему удалось занять первоначально гор. Лойянь на Лунхайской жел. дороге и, продвигаясь по этой дороге, начать наступление далее на восток для захвата Ченчжоу на Пекин-Ханькоусской жел. дороге, которая является главной коммуникационной линией нанкинских войск.

В настоящий момент трудно сказать, как разовьются дальнейшие операции, но одно можно сказать с полной определенностью: Чан Кай-ши рискует в этой борьбе больше Фын Юй-сяна. В случае неудачи он лишь отойдет в свою исконную провинцию Шеньси, откуда его выбить можно было бы лишь при содействии Ен Си-шана, но последний не обнаруживает ни малейшего желания помогать нанкинцам против Фын Юй-сяна. В случае же успеха Фын Юй-сян может прочно обосноваться на Пекин-Ханькоусской жел. дороге, начать наступать на Ханькоу, а затем, — если Ен Син-шан окажет ему поддержку, — то и на Пекин.

Мы присутствуем при начале новой большой гражданскои войны в Китае, которая из фазы войны между генералами может перейти в настоящую освободительную войну трудящихся Китая против империалистов и всех генеральских группировок.

Конец одной авантюры

Октябрь месяц ознаменовался падением власти Бача Сакао — впоследствии эмира Хабибуллы, — который в начале этого года сумел низвергнуть падишаха Амануллу, возглавлявшего в Афганистане партию прогрессивных реформ и установившего дружественные отношения с Советским Союзом.

В советской печати была достаточно выяснена роль англичан в этом низвержении прогрессивного главы государства в Афганистане. В частности в нашем обзоре в февральской книге «Нового Мира» мы указывали, что у Амануллы было много врагов, особенно среди мусульманского духовенства и феодальных князьков, но единовременность и планомерность их выступления, а также измена некоторых частей армии Амануллы могли иметь место лишь при наличии опытного руководства со стороны.

Добившись изгнания Амануллы, англичане не могли, однако, ставить ставку на прочную власть Бача Сакао, за которым шло в сущности лишь фанатически настроенное крестьянство кугистанской провинции. Немногочисленные, но влиятельные круги афганской интеллигенции и купечества никогда не примирились бы с господством этого вождя реакционно настроенных крестьян, пользовавшегося у них репутацией простого бандита. Хорошо разбираясь во внутриафганских отношениях, англичане не хотели компро-

метировать себя открытой поддержкой этого властителя, не имевшего никаких шансов на продолжительное пребывание на посту эмира.

Очень знаменательно в этом отношении, что победитель Бачe Сакао принц Надир-хан (дядя Аманyллы-хана) прибыл в Афганистан через Индию и начал свое наступление на Кабул именно со стороны индийской границы. По сведениям «Daily Mail» успех Надир-хана об'ясняется отчасти тем, что его сторонники в Кабуле через тайную радиостанцию сообщали о всех передвижениях войск Бачe Сакао в Пешавар, в Индию, откуда эти сведения передавались в штаб-квартиру Надир-хана.

Все эти факты заставляют думать, что англичане если не прямо содействовали воцарению Надир-хана, то во всяком случае не препятствовали ему. Надир-хан пользовался славой умеренного афганского националиста и долгое время жил в Париже в качестве афганского посла, при чем назначение это рассматривалось как своего рода почетная ссылка. При таких условиях англичане могли рассчитывать, что сговориться с ним будем легче, чем с его племянником Аманyллой-ханом, слишком афишировавшим дружественные отношения Афганистана к СССР.

Сейчас еще трудно говорить об ориентации афганской политики при Надир-хане. Однако, первые его шаги уже успели возбудить неудовольствие английских консерваторов. Его первым шагом было обращение к советскому правительству с заявлением, что его правительство будет проводить прежнюю политику по отношению к СССР. Он образовал новое правительство, куда вошло большинство министров Аманyллы, в частности на пост министра иностранных дел он назначил министра народного просвещения в правительстве Аманyллы-хана.

Консервативная «Morning Post» немедленно выразила свое беспокойство по поводу того оборота, который приняли события в Афганистане. Она вспомнила, что именно Надир-хан был главнокомандующим афганских войск во время победоносной войны с Англией в 1919 г., при чем дважды вторгался в пределы Индии, и сочла это плохим предзнаменованием для будущих англо-индийских отношений.

Не предугадывая будущего, можно с достаточным основанием утверждать, что Надир-хан будет во всяком случае твердо отстаивать независимость Афганистана от Англии, ибо именно его победа над англичанами в 1919 г. является основой его популярности.

---

2. ХАРБИН РЕВОЛЮЦИОННЫЙ

Влад. Аварин

За Харбином прочно укрепилась слава очага белогвардейщины. Кто не слыхал о его фешенебельных кабаках, обслуживаемых бывшими графинями, о его букете черносотенных листков, издаваемых на деньги различных королевских правительств, о его обилии царских песочниц-генералов в роли кладбищенских сторожей и швейцаров, колчаковских и иных бандитов-офицеров в роли ассенизаторов и китайских полицейских,—кто не слыхал?!. Побывавшие в Харбине проездом советские журналисты по закону контрастов легко замечали все белогвардейское.

Другой Харбин—Харбин советский, рабочий Харбин—у нас мало известен, пожалуй, до последнего времени был совсем неизвестен широкой публике. Только недавно газеты заговорили о рабочем Харбине. Тысячи харбинских рабочих и служащих заключены по воле манчжурской военщины в концентрационные лагеря, многие сидят в китайских средневековых застенках, многие подвергаются пыткам или уже убиты озверевшими палачами.

Из газетных сообщений последнего периода мы узнаем также, что советское население Харбина твердо стоит

на своем пути, и никакие дикие угрозы и расправы не смогли заставить харбинских рабочих сойти с этого пути.

Но краткие газетные сообщения могут дать лишь самое слабое представление незнакомому с харбинской действительностью о том, что там в настоящее время творится.

Советский Харбин ведь значительно многочисленнее и мощнее белогвардейского. Большинство населения европейской части Харбина составляют советские граждане. Советских граждан имеется около 70.000, белогвардейцев — около 40.000, японцев — 3½ тысячи, остальных национальностей лишь сотни и десятки. Это значит, что большую половину населения целого города в настоящее время терроризирует бело-хунхузское меньшинство, поддерживаемое китайской военщиной. Это значит, что из семидесяти тысяч ни один человек—ни мужчина, ни женщина, ни старик, ни ребенок—не может быть уверен, что через день или через час его не убьют, не разграбят его имущества, не выбросят на улицу из жилища.

Можно представить, что делается в Харбине, если в прошлые годы, во время существования «нормальных» отношений с китайскими властями, банды белофашистов нередко избивали, а иногда и убивали на улице советских граждан за то, что они советские граждане. Фактически помогавшая белым китайская полиция тогда делала хоть вид, что разыскивает нападавших бандитов. Но тогда, кроме того, была возможность ходить группами, и советская молодежь иногда давала такой отпор белым, от которого не поздоровилось.

Теперь, в условиях ужаснейшего террора со стороны китайской военщины, хозяевами не только улицы, но и любой квартиры советского гражданина являются белобандиты. Неудивительно поэтому сообщение об обнаружении обезглавленных тел советских граждан, о разграблении всех пожитков рабочих белыми и китайской солдатней. Кровожадность и садизм белогвардейских кокаинистов и морфинистов широко известна...

Советские граждане, рабочие и служащие Харбина и всего района КВЖД стойко переносят кровавый китайско-белогвардейский террор. Харбинские трудящиеся имеют свои крепко укоренившиеся революционные традиции, твердо хранят боевые заветы, оставленные погибшими из их среды борцами и мучениками за светлое рабочее будущее.

* * *

Революционное рабочее движение в Харбине имеет свою историю, насчитывает без малого столько же лет, сколько и сам город.

Уже 1905 год дал свои отклики в Харбине. При этом надо вспомнить, что Харбин тогда считал только первый десяток лет своего существования, что он находился в прифронтовой полосе, где существовало военное положение и полновластными хозяевами являлись озлобленные, разбитые японцами царские генералы и жандармские офицеры.

Движение вышло на улицу в Харбине в октябре 1905 года. Демонстрации с красными флагами, ежедневные митинги будоражили население, будили сознание рабочих и солдатских масс. На митингах и демонстрациях,— отмечает «историк» КВЖД Нилус,— «стали приобретать доминирующую роль мастеровые и рабочие, примыкавшие в большинстве к социал-демократической партии».

В середине ноября забастовали некоторые цехи, а 25 ноября харбинский забастовочный комитет об'явил о присоединении КВЖД ко всеобщей железнодорожной забастовке. В воззвании к рабочим забастовочный комитет призывал «отнестись сознательно и с доверием к забастовщикам, которые борются за общее дело освобождения рабочего класса; это дело—ваше дело, ибо сегодня вы в мундирах, а завтра вы—такие же рабочие и крестьяне». Забастовочный комитет постановил, однако, не прекращать перевозок по отправке на родину солдат, наводнявших в огромном количестве Харбин. Но вскоре забастовочный комитет раскололся. Рабочая часть, требовавшая

более радикальных мер, разошлась с представителями служащих, трусливых и скорей тормозящих забастовку, чем содействовавших ей.

Это обстоятельство, а также карательные меры генералов привели к скорому прекращению забастовки. Второго декабря на КВЖД так же, как и на Уссурийской и Забайкальской дорогах, восстановилось полное движение.

Из эпизодов этой забастовки можно отметить отказ рабочих пропускать в числе воинских поезда с генералами и офицерами. Главный начальник тыла генерал Надаров даже улепетнул на лошадях в Россию.

В октябрьские дни 1905 года был также сорганизован первый профсоюз в Харбине—союз печатников, который об'единил большую часть рабочих полиграфического производства и сумел провести восьмичасовой рабочий день.

За время наивысшего под'ема движения—конец ноября, декабрь и первая половина января—харбинский комитет СДРП выпустил листовки: «Отчего бастуют рабочие», «Что такое черная сотня», «От матроса к солдату», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Были выпущены также три бюллетеня «Стачечного комитета» и другие печатные материалы революционного характера.

В январе под давлением усиленных репрессий движение пошло на убыль. В середине января рабочие главных механических мастерских явочным порядком еще пытались отстаивать восьмичасовой рабочий день. В ответ на это управляющий дорогой Хорват отдал распоряжение уволить свыше двухсот человек и закрыть мастерские.

Хорватом был издан также приказ, воспрещающий под угрозой строгих репрессий железнодорожным служащим состоять в профсоюзах. Профсоюзная жизнь замерла, но лишь на короткий период.

Революционное движение 1905 года захватило не только Харбин. Волна демонстраций и митингов прошла и по другим поселкам и станциям КВЖД. Везде рабочие организовывались, везде выставляли политические и экономические требования. Особенно решительное настроение было среди рабочих ст. Манчжурия. Здесь на митинге собравшиеся заставили жандармского полковника Корякина сорвать с себя погоны. Стачечный комитет Манчжурии захватил оружие из участкового склада и передал его рабочим Забайкальской дороги. 9 января при нападении на демонстрацию полицией и солдатами был зверски убит служащий дороги — подросток — и ранено много рабочих.

Трудящиеся Харбина, перенесши в начале 1906 года первые жестокие удары реакции, постепенно приступили к новому собиранию сил.

В начале 1907 года вновь организовался профсоюз печатников. Он приступил к работе явочным порядком, так как власти не изволили регистрировать его устав. Вслед за печатниками вскоре начали легальную работу свыше десятка других профсоюзов.

Первое мая 1907 года показало, насколько сильны революционные настроения в харбинском пролетариате. В этот день город замер, ни одна мастерская не работала, ни один магазин не торговал. Свыше 5.000 организованных в союзы трудящихся переправились на Крестовский остров на реке Сунгари, где была устроена грандиозная массовка. По окончании массовки возник стихийный митинг в городском саду под носом полиции. Полицмейстер Харбина вызвал войска, которые обстреляли залповым огнем летний театр в саду.

В ноябре 1907 года на нелегальной конференции представителей всех рабочих организаций Харбина и линии было избрано Центральное Бюро (нелегальное также), которое стало руководить рабочим движением во всем районе КВЖД. Печатным органом ЦБ являлась газета «Новая Жизнь». В последующие годы рабочие организации вступили в упорную систематическую борьбу за улучшение положения своих членов, в борьбу, которая нередко приводила к забастовкам.

Активность рабочих организаций была бельмом на глазу царских правителей. В 1910—11 гг. репрессии обиль-

но посыпались на профсоюзы. Арестовывались руководители, один за другим закрывались союзы. Пионер харбинского профдвижения—союз печатников — прожил наибольший век: он дотянул до марта 1912 г.

Все дальнейшие годы до Февральской революции в Харбине свирепствовала своя особая харбинская реакция, возглавляемая управляющим дорогой генералом Хорватом. За малейшую активность, за попытки к организации рабочие подвергались жестоким репрессиям вплоть до арестов, выселения из района КВЖД и тюремных приговоров.

В марте 1917 г., в ближайшие дни по опубликовании (4 марта) первых сообщений о Февральской революции, организовались в Харбине Советы Рабочих и Солдатских Депутатов, вскоре об'единившиеся. Русскую армию в Харбине и на линии КВЖД в то время представляли 12 дружин ополченцев, прибывших из России в 1915 году, и 6 кадровых сотен заамурских полков. В организации и работе Совета Рабочих и Солдатских Депутатов наибольшую инициативу и активность проявляли рабочие главных механических мастерских.

В об'единенном Совете Рабочих и Солдатских Депутатов большинство постепенно приобретали большевики. После октябрьского переворота и харбинский Совет пытался практически встать на путь лозунга «вся власть Советам». Однако, специфические харбинские условия (в чужой стране) и некоторая нерешительность, проявленная руководителями Совета, не дали возможности полностью захватить права и власть, которые принадлежали русскому генеральному консулу и управляющему дорогой генералу Хорвату. Совет ограничивался в течение некоторого времени резолюциями об отстранении Хорвата, генконсула и некоторых других реакционных лиц, практических же мер не принимал. Был период (ноябрь—начало февраля), когда сила и власть в сущности были в руках Совета. Арест или изгнание при помощи вооруженной силы, которая была в распоряжении Совета, представителей царско-керенского правительства, — Хорвата, консула в других, — занятие их мест товарищами, назначенными Советом, закрепило бы власть Совета и, поставив китайцев перед совершившимся фактом, в условиях того времени могло бы совершенно поиному повернуть ход событий. Но руководители Харбинского Совета не решились на вооруженное выступление. Хорват имел возможность, ведя переговоры с Советом и делая вид, что соглашается на его требования, в то же время интригуя против него среди местных китайских властей, спасти на время свое теплое местечко управляющего ценой предательства всех русских войск и русских рабочих в Харбине. Хорват сговорился с китайскими властями о вводе китайских войск в Харбин и о нападении их на русские ополченские дружины. Чтобы отвлечь внимание руководителей Совета, он до последнего момента вел переговоры с ними о передаче власти.

12 декабря многочисленные китайские войска внезапно окружили казармы русских дружин, вооруженных в большинстве старыми берданками, и после перестрелки разоружили силы, на которые опирался Совет Рабочих и Солдатских Депутатов.

Среди жертв нужно отметить командовавшего 618-й Томской дружиной подполковника Давыдова, убитого китайцами, случайных жертв — учеников, направлявшихся в школы и т. д.

Предательство Хорватом русских войск в 1917 году было не первой и не последней его подлостью. Хорват в 1905—6 гг., как впоследствии было установлено, организовывал систематические поджоги зданий управления КВЖД, чтобы уничтожить документы и скрыть хищения, которые он с ближайшими сподвижниками успел произвести за несколько лет управления дорогой. Много он нажил всякими жульническими махинациями и за последний период управления дорогой — со времени Февральской революции до передачи дел другому мошеннику. Остроумову (Хорват сидел на хлебном месте управляющего и директора-распорядителя КВЖД с июля 1903 г. по ноябрь 1920 года).

В настоящее время этот мерзавец—«вождь дальневосточной белой эмиграции». Так рекламируют его некоторые белогвардейские газеты и так заявляет он в своих «манифестах» к «русскому народу на Дальнем Востоке».

Правда, Семенов и другие «вожди и вождики» оспаривают у Хорвата право на «руководство». Как один из наиболее прожженных мошенников, Хорват безусловно имеет известные основания на главенство в шайке белобандитов. Он и сейчас оказывает китайским генералам всяческие услуги по притеснению советских граждан в Манчжурии и организации бело-хунхузских банд для налетов на территорию СССР.

Из истории последнего периода существования Харбинского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов нужно упомянуть о получении следующей телеграммы от Владимира Ильича:

«Телеграмма Председателя Совета Народных Комиссаров.

Петроград, 21 ноября. Именем Совета рабочего и крестьянского правительства предписываем взять всю власть в свои руки и поставить комиссаров в Манчжурской, Пограничной и Хабаровской таможне. № 541.

Председатель Совета Народных Комиссаров Ленин».

После устных переговоров с китайскими властями о признании ими представительством российского правительства Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, не приведших ни к каким результатам, Совет послал письменную декларацию Даотаю, в которой заявлял:

«Господин Даотай.

Русский народ совершил в октябре вторую революцию. Во главе государства стоят новые люди с новыми идеями. Харбинский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, выполняя предписание правительства из Петрограда, об'явил себя официальным учреждением. Все представители старой власти не имеют права говорить именем русского народа, так как русский народ им не доверяет. Пользуясь международным положением, местные официальные лица не хотят уходить мирно со своих мест, ссылаясь на протесты Китая. Эти лица пользуются всеми средствами, чтобы удержаться у власти против воли русской демократии,— они запугивают китайское население и китайские власти погромами и грабежами. Это неверно, г. Даотай. Уверяем Вас и Ваших граждан, живущих в полосе отчуждения Кит.-Вост. жел. дор., что ничто не угрожает Вам от русских жителей. Совет Рабочих и Солдатских Депутатов принимал и будет принимать самые решительные меры для охранения спокойствия, личной и имущественной безопасности всех граждан Харбина. Одновременно сообщаем, что генерал Хорват лишен полномочий по административным и дипломатическим делам. Временно эти обязанности выполняет Товарищ Председателя Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, гражданин Борис Славин. Если между Империями Китайской и Русской были когда-то осложнения, то между Великими Республиками Китая и России никаких недоразумений быть не может. А свободолюбивым народам нашим не за что ссориться.

Примите, господин Даотай, наше уверение в совершенном уважении и миролюбии к китайскому народу».

Вероломное нападение китайских войск явилось ответом на декларацию и положило конец существованию Харбинского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Наиболее активному руководителю Совета тов. Рютину (быв. прапорщик в одной из дружин) удалось скрыться в последний момент, хотя его головы больше всего жаждали контрреволюционеры.

Тяжелые страдания выпали на долю разоруженных ополченцев. Они были китайцами отправлены якобы через границу, а фактически отданы на расправу Семенову, который на ст. Манчжурия со своей бандой ожидал

эшелоны. Красные ополченцы неслыханно избивались, подвергались порке, были раздеты до белья (бандиты Семенова нуждались в обмундировании). Многие были уведены в сопки и расстреляны.

Так китайские генералы и русские белогвардейцы закончили расправу в конце 1917 года над революционными трудящимися Харбина. Но это было только началом тяжких страданий, выпавших на долю харбинских рабочих.

При поддержке китайских генералов и различных интервентов в Харбине обосновала свою тыловую базу контрреволюционная белогвардейщина. Терпя систематические поражения на фронтах, спасавшиеся в Харбин белобандиты вымещали свою злобу на местных рабочих. Много имен трудящихся Харбина и поселков КВЖД занесено в списки жертв белогвардейского террора за годы с 1918—1923.

Как в калейдоскопе менялись белые «вожди», интервенты и потоки белогвардейцев, вышвыриваемых из России красной метлой. Авантюрист сменял авантюриста. Полковник Кадлец, соратник Гайды, и тот, проезжая с отрядом через Харбин, не преминул об'явить, что ему «принадлежит вся власть в полосе отчуждения». Харбинские рабочие бодро переносили белый террор, продолжая вносить свою лепту содействия в борьбу против контрреволюции.

Белогвардейщина, обладая гораздо большими силами и средствами, чем рабочие, выходила в большей или меньшей мере победителем из отдельных схваток.

Так, об'явивший в 1918 году забастовку протеста против убийства белогвардейцами учителя Уманского Главный Исполнительный Комитет железнодорожных служащих росчерком пера Хорвата был выслан из района КВЖД.

В самом начале своей кровавой деятельности Семенов убил на ст. Манчжурия семь местных рабочих, «заподозренных в большевизме».

Группой белогвардейских офицеров в июне 1920 года в Харбине днем на Соборной площади был растерзан на глазах полиции студент Чернявский. Каждый житель знал имена убийц, но «следствием виновники не были обнаружены».

Белый террор при благосклонном содействии китайских властей в эти годы свирепствовал во всю.

Легче вздохнули трудящиеся Харбина лишь после открытия советского консульства. Тысячами они осаждали консульство, желая поскорее выбрать советский паспорт и получить таким образом формальное право на защиту от своего представителя. Десятки сотрудников работали непрерывно по выдаче паспортов, и все-таки очередь в консульство тянулась за несколько кварталов, не уменьшаясь в течение многих месяцев. Среди этого потока, помимо коренных харбинцев, были и белоармейцы, несознательно увлеченные в свое время вожаками или же раскаявшиеся и «менявшие вехи».

Русские трудящиеся в далекой Манчжурии задышали одной грудью со своими товарищами на родине. Почти совсем легально развили деятельность по улучшению культурного и экономического уровня рабочих и служащих профсоюзы, работал кооператив железнодорожников, советская молодежь сорганизовалась в свой союз; появились в Харбине даже пионерские отряды. Белогвардейщина, как побитая собака, запряталась в подворотню и злобно скулила, делая лишь редкие вылазки.

Такой сравнительно благополучный период для советских граждан продолжался недолго. Уже к концу 1925 года со стороны китайских властей стал усиливаться реакционный нажим, в значительной мере провоцируемый белогвардейщиной.

Нажим этот, за малыми передышками, из года в год крепчал. Белогвардейские бездельники, сорганизовавшись в фашистские союзы, вновь бандами принялись нападать на советских граждан даже на улицах. Если при этом рабочие давали отпор, от которого страдали хулиганы, китайцы судили защищавшихся, сажали в тюрьму. Обыски в квартирах советских граждан, беспричинные аресты, особенно профсоюзных работников, всяческие

насилия над советскими гражданами вплоть до избиений и пыток постепенно входили вновь в порядок вещей. Протесты консульств мало помогали, китайские власти всегда находили какие-нибудь отговорки, а иногда просто отрицали имевший место акт насилия.

Распоясались во-всю белогвардейцы, служившие у китайцев полицейскими, сыщиками и т. п.

Около 120.000 советских граждан, проживающих в Манчжурии в районе КВЖД, вынуждались жить так, как захочет «левая нога» какого-нибудь царского держиморды.

Работницам запрещали стирать белье в воскресенье, — не демонстрируйте, мол, антирелигиозности. Какой-нибудь «за пристава Юркевич» давал распоряжение: «Постановку спектакля по случаю первой недели великого поста не разрешаю». «Ставить спектакли перед праздниками не разрешаю».

Белогвардейщина следила особенно, чтобы у отдельных граждан, не говоря уже о клубах, не появлялась советская газета или книга. Сама питаясь смрадными страницами черносотенных листков, она стремилась заставить и советских граждан дышать зловонной атмосферой этих выгребных ям «от литературы». Лица, у кого обнаруживали «нелегальщину», — «Известия», «Правду», — арестовывались и избивались.

Гонение на профсоюзы иногда доходило до курьезов. Памятен случай с Археологическим обществом. На заседание Общества был прислан представительствовать полицию русский полицейский. Но в участке досужий переводчик перевел на русский язык иероглиф, обозначающий «археологи», словом «священники». Можно представить удивление ретивого полицейского, когда вместо длинногривых он увидел людей в штатском. «Тайное большевистское собрание под видом заседания священников» — решил прозорливый блюститель порядка. Был вызван усиленный наряд полиции, и седовласые археологи, в большинстве даже не советские граждане, in corpore отправленные в участок, долго не могли оправиться от страха и изумления.

Но гораздо чаще имели место «курьезы», вызывавшие сжимание кулака, заставлявшие нервы вздыбиться для ответного удара.

Такие «курьезы», как избиение полицейскими или китайскими солдатами советского гражданина за то, что его ребенок гонялся за голубями китайского офицера, или его дети не поладили во время игры с детьми полицейского, или просто за то, что не понравился нос советского гражданина, были частым явлением. За малейшее сопротивление, за требование «справедливости» китайские и русские держиморды заковывали избитого в кандалы, заключали в подвал, применяли пытки — подвешиванием и т. д. Помнится, в 1928 году харбинское консульство в течение только нескольких месяцев заявляло китайским властям протесты по поводу избиения и пыток граждан Киселева, Хмелева, Самойленко, Лобанова и Подгурского в Пограничной, Иванова в Ханьдаохэцзы, Коновалова в Манчжурии, Ушакова в Цицикаре, Савченко и Саврасова в Мулине.

Доведение репрессий до отказа — закрытие профсоюзов, которые об'единяли в Харбине и по линии свыше 25.000 трудящихся советских граждан, арест 39 граждан в самом харбинском консульстве, закрытие одна за другой газет советского направления («Молва» и «Новости Жизни». «Молва» имела около 10.000 подписчиков) — предвещало генеральскую авантюру с захватом дороги, за которой последовали неслыханные насилия над советскими гражданами: заключение тысячами в концентрационные лагеря, грабежи, убийства и т. д.

Верные революционным традициям рабочего класса, закаленные долголетней борьбой против реакции и контрреволюции, трудящиеся Харбина мужественно переносят тягчайшие страдания, выпавшие на их долю. Они знают: рано ли, поздно ли — будущее за ними. Испытания только крепче закаляют волю к победе. «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Пробьет час и для китайских генералов, как он пробил для русских.

3. ЯПОНИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ

Вл. Брауде

Напряженная международная политическая обстановка на Дальнем Востоке, острая борьба интересов Англии, САСШ и Японии за гегемонию на Тихом океане, депрессивное состояние современной японской экономики явились теми трудностями, с которыми пришлось столкнуться новому японскому кабинету.

Он пришел к власти три месяца назад в результате ожесточенной борьбы последних лет между основными буржуазными политическими партиями Японии—Сейюкай и Минсейто, закончившейся поражением Сейюкая, отставкой реакционного кабинета недавно умершего генерала Танака, и назначением нового правительства во главе с 72-летним премьером Хамагуци.

По своему социальному облику побежденная партия нисколько не отличается от победителя. Различие между ними заключается лишь в связях с теми или иными крупнейшими в Японии банками и торгово-промышленными фирмами, играющими руководящую роль в японском хозяйстве и политике.

В то время как Сейюкай является по преимуществу партией торгово-промышленной буржуазии, связанной с сельским хозяйством, Минсейто представляет интересы торгово-промышленного класса и опирается на городскую буржуазию и буржуазную интеллигенцию.

В этой междупартийной борьбе неизменно острой является конкуренция крупнейших торгово-промышленных и банковских концернов с их полумиллиардными капиталами и теснейшей связью с политическими партиями и правительственными кабинетами.

Новое правительство получило тяжелое наследство от своего предшественника генерала Танака.

Сейюкайский кабинет Танака появился в условиях напряженной обстановки, создавшейся в Японии весной 1927 года, во время финансового кризиса, превратившегося весьма быстро в общеэкономический кризис и охватившего почти все отрасли японского народного хозяйства.

В это время в Японии в связи с крахом нескольких десятков банков и крупнейшего концерна Сузуки, обладавшего полумиллиардным капиталом, одно за другим об'являют себя несостоятельными мелкие и средние предприятия. Интенсивно работает печатный станок государственного казначейства, катастрофически падает ценность японских бумажных денег, вкладчики требуют от банков свои вклады и настаивают на конфискации личного имущества зарвавшихся банковских воротил. Хозяйственная жизнь страны находится в крайне подавленном состоянии. В стране растут безработица и общее недовольство масс.

Новый избирательный закон, вступающий в силу в этот сложный для Японии момент, выдвигает на арену политической жизни страны 30 миллионов новых избирателей из среды крестьянства и городского пролетариата, лишенных ранее избирательных прав.

Буржуазные и реакционные политические группировки Японии, державшие власть в течение пятидесятилетий существования японской конституции, должны теперь искать такие формы общения с новой массой избирателей, которые позволили бы вовлечь эти тридцать миллионов рабочих и крестьян в политическую жизнь страны без ущерба для себя.

На почве экономического кризиса возникает кризис политический. В апреле 1927 года уходит в отставку кенсекайский кабинет Вакацуки и его место занимает сейюкайский кабинет генерала Танака.

Получив власть, новый кабинет осуждает методы управления страной его предшественником и декларирует основные принципы своей политики, которую Сейюкай называет «позитивной».

Эта политика, в первую очередь, предусматривала борьбу с последствиями экономического кризиса, широкую ин-

дустриализацию Японии и усиление ее экспансии за пределами японских островов.

Попытки Танака упорядочить японское народное хозяйство после кризиса, который со времени мирового экономического кризиса в 1920—21 году является третьим по счету, сказались лишь в рационализации отдельных участков хозяйственной жизни.

Правительство усиленным темпом проводит слияние банков, которых в Японии было около 2 тысяч. В результате этой реформы денежные вклады перекочевывают из мелких и средних банков в наиболее крупные банки страны.

Однако, ценность японских денег попрежнему падает, сокращается золотая наличность и растет национальный долг. Авторитет Японии на мировом хозяйственном рынке, взлетевший на огромную высоту за годы империалистической войны, быстро падает. В то же время попытки рационализации некоторых отраслей японской промышленности выбрасывают на улицу новые десятки тысяч безработных.

Экономические «реформы» кабинета Танака наталкиваются на серьезные препятствия, созданные его внешней политикой. Этими препятствиями оказалась «китайская» политика Сейюкая, толкнувшая Японию на двукратную отправку войск в Китай для оккупации Шандуня. В результате—антияпонский бойкот с его тяжкими последствиями для японской экономики.

При таких неуспехах Сейюкая в его попытках улучшить хозяйственную жизнь Японии неизменными остаются органические дефекты японской экономики: хронический недостаток риса в стране при весьма быстром росте населения и ограниченность запасов нефти, угля и промышленного сырья, необходимых для разросшихся японской промышленности, военного и торгового флота.

Неудачи во внутренней экономической политике, вызвавшие лишь общее ухудшение хозяйственного положения Японии, маскируются кабинетом Танака стремлением с помощью иностранных займов расширить деятельность уже существующих государственных предприятий и создать ряд новых в различных сферах хозяйства. В связи с этой тенденцией кабинет уделяет особое внимание деятельности японских предприятий, находящихся за пределами Японии.

В этом отношении Южно-Манчжурская железная дорога, стержень японской политики в Манчжурии, достигает наибольших результатов. Дорога, которая является южным отрезком Китайско-Восточной железной дороги, перешедшим к Японии в результате русско-японской войны, представляет собой весьма мощный концерн, с полумиллиардным капиталом, вложенным не только в железнодорожный транспорт, но и в разнообразные производственные и другие предприятия. Концерн эксплоатирует богатейшие угольные копи в Южной Манчжурии, снабжает электрической энергией и газом всю Южную Манчжурию, руководит работой огромного Дайренского порта (бывший Дальний), в последнее десятилетие ставшего одним из самых больших портов Дальнего Востока, владеет пароходными линиями, связывающими Манчжурию с Японией и т. д., и т. д.

За годы правления сейюкайского кабинета Южно-Манчжурская дорога и ее предприятия под руководством Ямамото, ныне ушедшего в отставку председателя правления дороги, развивает свою деятельность до исключительно широких размеров.

Увеличивается продукция принадлежащих дороге предприятий, создается ряд новых производств и необычайно усиливается влияние дороги, как базы и проводника японского империализма в Манчжурии.

«Позитивная» экономическая программа кабинета Танака терпит крах, и в связи с непрерывно растущим недовольством в стране правительство начинает уделять особое внимание борьбе с «опасными» мыслями.

Под этим своеобразным термином японское правительство в течение последних лет разумеет рост революционных настроений в среде рабочей и крестьянской молодежи.

Не пытаясь искать корни растущего революционного движения в самой Японии, где гнет капитала достиг своих наивысших степеней, где жалкая подачка массам в форме куцого «всеобщего избирательного права» не могла разрядить революционной атмосферы, сейюкайский кабинет обращает свои взоры к СССР и в нем ищет главные причины растущих в Японии социальных конфликтов.

В этой борьбе с «опасными мыслями» правительство Сейюкая также терпит полный крах: несмотря на непрерывную сеть политических процессов, на тысячи осужденных по обвинению в участии в тайных политических организациях, революционное движение в Японии не только не затихает, но еще более усиливается. Учащаются забастовки, заостряется борьба между дробящимися реформистскими группировками рабочего движения и его левым крылом, и одновременно с пышным расцветом политической реакции и фашизма еще глубже уходит в подполье численно растущая японская компартия.

Еще более неблагоприятны последствия «позитивной» программы Танака в Китае. Двукратная посылка войск в Шандунь вызвала затяжку в урегулировании напряженных экономических взаимоотношений с Китаем. Антияпонское же движение в Китае причинило серьезный ущерб японским интересам.

Воспользовавшись результатами этой неудачной политики Японии, английский и американский капитал производит решительную атаку, направленную к восстановлению своего пошатнувшегося положения на китайском рынке. Оно было поколеблено за годы империалистической войны, когда Япония, воспользовавшись уходом с дальневосточных рынков своих конкурентов, оказалась в Китае в монопольном положении.

Рост англо-американских противоречий, непримиримость японо-американских интересов и безнадежность попыток империалистов договориться о сокращении морских вооружений вызывают у сейюкайского кабинета стремление изменить существующие англо-японские отношения.

В условиях напряженной борьбы на Тихом океане между империалистами за рынки сбыта и сырья «позитивная» политика генерала Танака делает ставку на Англию. Не лишенной интереса в связи с этим должна явиться краткая история англо-японских отношений.

Англо-японский союз, заключенный в 1902 году, дал Японии возможность выступить против царской России в 1904—5 годах и разбить ее на голову. Этот союз почти двадцать лет сдерживал как натиск царского империализма, так и наступление германского капитала на Дальнем Востоке.

Невозобновление англо-японского союза в 1921 году в результате Вашингтонской конференции, где с неприкрытой остротой выявилась борьба интересов Англии, САСШ и Японии, было вызвано естественными причинами. На Дальнем Востоке уже не было ни Германии, с ее разросшимся влиянием на Дальнем Востоке в довоенные годы, ни царской России, вышедшей к концу имериалистической войны из строя союзников. К тому же к концу войны была слишком ощутительна материальная зависимость Англии от САСШ, а иммиграция японцев в британские владения—Австралию и Канаду—наталкивалась, как и теперь, на враждебное отношение правительств этих стран и их населения.

Под давлением этих обстоятельств англо-японский союз, игравший столь крупную роль в истории могущества Англии и Японии в последние десятилетия, прекратил свое существование.

На фоне растущих англо-американских противоречий, где Китай с его рынками играет самую существенную роль, «позитивная» политика, провозглашенная партией Сейюкай, была основана на уверенности, что рост англо-американских противоречий даст возможность свободных действий Японии в Китае. К тому же реакционное сейюкайское правительство сближал с английским кабинетом твердолобых единый антисоветский фронт на Дальнем Востоке.

Ставка на сближение с Англией, однако, оказалась битой. «Позитивная» политика Сейюкая заставила Китай принять по отношению к Японии непримиримую позицию и создала длительную обостренность японо-китайских отношений. Этим не мог не воспользоваться английский капитал, и несомненным является то, что в течение последних лет английское, как и американское, влияние в Китае непрерывно растет за счет падения японского.

При попытках сейюкайского кабинета вывести из тупика свою английскую политику, при недвусмысленном стремлении Японии вовлечь Англию в орбиту политики, направленной против САСШ, японо-американские отношения не выявили, однако, существенных сдвигов в сторону ухудшения.

Попрежнему остается неразрешенной острая проблема японской иммиграции в САСШ, попрежнему идет соревнование между японским и американским флотом и так же безнадежны попытки сокращения тоннажа военного флота империалистов. Но это не помешало мировому банкиру—САСШ—в течение последних лет вкладывать в японскую электропромышленность огромные суммы и «дружески» помочь увеличению японского национального долга.

Итоги этой внутренней и внешней «позитивной» политики вызвали ухудшение японо-китайских отношений, сокращение японо-китайской торговли, увеличение национального долга, рост дороговизны, что, в конечном результате сказалось на значительном ухудшении кон'юнктуры японского народного хозяйства в его целом и отразилось на положении широких масс населения. Эти «итоги» вызвали всеобщее недовольство и явились основными причинами падения кабинета Танака.

Поводом отставки явилось нарушение кабинетом некоторых формальных моментов во время присоединения Японии к пакту Келлога. Это вызвало протест реакционных групп в Тайном Совете, верховном органе японского правительства; и советом кабинет Танака был обвинен в подрыве авторитета императорской власти.

Формальным же поводом послужило «сокрытие» перед общественным мнением страны результатов обследования, которое было произведено специальной комиссией, посланной кабинетом, по вопросу о причинах смерти Чжан Цзо-лина, игравшего столь крупную роль во всей японской политике в Китае в течение ряда последних лет.

Результаты этого обследования не были опубликованы, но вызвали перемещение в японском высшем командовании в Южной Манчжурии, и это явилось последним толчком, предрешившим судьбу Танака.

«Негативная» программа кабинета Хамагуци, сменившего правительство Танака, представляет значительное отличие от «позитивной» программы Сейюкая.

В своей «китайской» политике кабинет Хамагуци является представителем настроений той части японской общественности, которая считает необходимым сглаживание японо-китайских противоречий, в противовес Сейюкаю, с его стремлением разрешать все конфликты с Китаем вооруженной силой.

Разрешение японо-китайских проблем является основной задачей внешней политики нового кабинета. Уже идет подготовка к новым торговым переговорам с Китаем, ждут разрешения вопросы о японском железнодорожном строительстве на китайской территории, о китайской задолженности Японии и т. д.

В своей политике по отношению к СССР кабинет Хамагуци является наследником того самого кенсекайского кабинета виконта Като, который, несмотря на противодействие реакционных элементов Японии, под давлением внутренней и международной обстановки, сложившейся в Японии пять лет назад, все же пошел по пути установления нормальных отношений с Советским Союзом, завершенных советско-японским договором в Пекине в январе 1925 года.

В других вопросах внешней политики новый кабинет уже успел выявить свою точку зрения. Так, в вопросе о

сокращении вооружений очень недавно Япония выставила категорическое требование сохранения за ней 70 проц. крейсерского флота Англии, САСШ и свободного строительства подводных лодок.

Этим решением нового кабинета определилась его позиция во взаимоотношениях с Англией и САСШ.

Япония деятельно готовится к новой конференции о разоружении, намечаемой в Лондоне в январе будущего года, и уже назначила при своем лондонском посольстве, в помощь морскому атташе, особого «атташе по разоружению».

Сложный список вопросов экономического характера приковывает внимание кабинета с первых же дней прихода к власти. В первую очередь ждут приведения в порядок расстроенные финансы Японии.

В то время как большинство стран, оправившись от финансовых потрясений, вызванных империалистической войной, уже успело стабилизовать свою валюту, Япония до сих пор сохраняет запрет на вывоз золота, тяжело отражающийся на ее экономическом положении, и страдает от хронических колебаний валюты.

Новый кабинет напряженно готовится к сложной финансовой операции—снятию запрещения на вывоз золота. С этой целью производятся разнообразные мероприятия, охватывающие разные стороны японской экономики.

Жесткой хирургической операции подвергнут государственный бюджет текущего года, урезанный на 150 млн. иен. Одновременно намечаются весьма крупные сокращения в бюджете будущего года.

По всей стране идет напряженная пропаганда режима экономии. С этим лозунгом правительство выступает везде, как с основой своей экономической программы.

Об'является война гейшам, неизменным участницам всех официальных и неофициальных банкетов, что составляет существенную статью в расходах на «представительство» государственных и частных учреждений.

Кабинет официально издает приказ о запрещении пользоваться казенными автомобилями государственным чиновникам рангом ниже товарища министра. Снимаются казенные телефоны на частных квартирах государственных служащих и передаются государству.

В борьбе с роскошью кабинет намечает мероприятия к улучшению «общественной морали» Японии. Необходимо отметить, что общественные нравы в этой стране с точки зрения их классических образцов в японском понимании сделали в последние годы значительные сдвиги в сторону легкомыслия.

Разбогатевшая на исключительно обильных за годы империалистической войны прибылях японская буржуазия привыкла к роскоши. Широкий образ жизни, траты на женщин, утонченный комфорт в европейском и национальном стиле, все особенности праздной жизни индустриальных центров Европы и Америки быстро привились в послевоенной Японии.

После землетрясения 1923 года японскими кабинетами были сделаны попытки внедрения режима экономии и улучшения общественной «морали», но без каких-либо результатов. Острие борьбы направлено не против проституции, бича современной Японии, а против городского населения страны, усвоившего европейскую привычку посещать кафе и рестораны, как и против японской буржуазной молодежи и богемы с их увлечением фокстротом и чарльстоном.

Новый кабинет в своей политике «оздоровления нравов», начав с гейш и женского персонала в кафе, вводит жесткую дисциплину в правительственных учреждениях, несколько расшатанную в последние годы.

Одновременно разрабатываются меры контроля общественных настроений. В Японии последних лет это не является новым. Попытки борьбы с полевением молодежи, не говоря уже о борьбе с рабочим и крестьянским движением, были сделаны кабинетом Танака. При Хамагуци же попрежнему непрерывно идут политические процессы революционного студенчества.

Рост революционных настроений крайне беспокоит новый кабинет. По сообщению японской прессы, премьер занят изучением «Капитала» Маркса, а министерство внутренних дел образовало особую комиссию, изучающую политику III Интернационала, коммунистическое движение в разных странах и меры борьбы с все растущими большевистскими настроениями рабочей и крестьянской молодежи.

Перед новым кибинетом стоит сложная задача: взяв на себя разрешение весьма сложных в условиях нынешней обстановки в Японии экономических и политических вопросов, правительство полностью несет ответственность за осуществление тех мероприятий, которые для партии Минсейто послужили базой для наступления против сейюкайского кабинета генерала Танака.

Борьба между Минсейто и Сейюкаем заостряется с каждым днем. Уже создаются процессы против бывших министров кабинета Танака, обвиненных во взятках и разнообразных служебных злоупотреблениях. Принимаются все меры к тому, чтобы дискредитировать бывшего премьера и этим самым в глазах страны подорвать авторитет Сейюкая.

В этой раскаленной атмосфере борьбы за власть бывший премьер, не дожидаясь результата между партиями, в конце сентября умирает от разрыва сердца.

Блок Сейюкая с третьей буржуазной политической группировкой Синто-Клуб дает оппозиции значительный перевес в парламенте над правительственной партией и ставит ее перед дилеммой: или быть разбитой на ближайшей сессии парламента или, не дожидаясь ее созыва, издать декрет о роспуске и назначить новые выборы.

В связи с этим официальные круги партии Сейюкай приписывают все разоблачения нынешней правительственной партии стремлениям подготовить себе почву для будущей избирательной кампании.

Каковы будут результаты этой борьбы, предсказать пока трудно, но несомненно, однако, то, что неизжитые противоречия империалистов в Тихом океане, органические недостатки японского народного хозяйства и тяжелое наследство, полученное новым японским кабинетом от его предшественника, вместе с растущей в стране классовой борьбой, подрывающей основы японского капитализма, готовят Стране Восходящего Солнца серьезные испытания.

Литература и искусство

1. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. — Заметки о критике. 2. А. ЛЕЖНЕВ. — Разговор в сердцах. 3. А. ВИНОГРАДОВ. — Социальная тематика «Отверженных» В. Гюго. 4. Р. РОШ. — Из новой литературы о Гофмане. 5. А. БАКУШИНСКИЙ. — А. И. Кравченко. 6. П. МАРКОВ. Очерки современного театра. О «Командарме» Сельвинского у Мейерхольда.

1. ЗАМЕТКИ О КРИТИКЕ

Вяч. Полонский

I

Последний период нашей литературной жизни характеризуется постановкой вопроса о критике. Это очень своевременно. Ибо нет другого вида оружия более зазубренного, чем критика.

Потребность «самокритики» в нашей критике назрела давно: об этом можно судить хотя бы по тому, что современная критика, за малыми исключениями, не то, чтобы потеряла, но просто не завоевала общественного уважения. Дело не только в жалобах, успевших надоесть: «какая-де у нас критика! разве это критика!» Такие отзывы, вообще говоря, не представляют чего-нибудь необычного: критикой редко довольны современники, в особенности те из них, которые, заслуженно или незаслуженно, испытывают на себя тяжелую критическую длань. Это в порядке вещей. Суть в том, что в них, в отзывах этих, много справедливого, действительно отражающего незавидное положение нашей критики. Да, наша критика частенько мелкотравчата. Да, она в плену кружковых интересов, поверхностна, нередко малограмотна, бранчлива, руководство подменяет рукоприкладством, крепкое слово предпочитает крепкой мысли, имеет сплошь да рядом приблизительное представление о марксизме, прикрываясь марксизмом. Она чаще «заушает», чем раз'ясняет, измышляет, а не изучает, вносит в литературное движение склоку, сведение личных счетов, нередко инсинуации, дрязги, ненужную резкость, сама себя дискредитирует как орудие общественного воздействия.

Такая картина и обусловливает неуважительное к критике отношение. У многих писателей и читателей возникает даже вопрос: да нужна ли нам вообще критика? Быть может, это «лишний» жанр, накладной расход, которого можно было бы избежать с пользой для литературы?

Попытайтесь произвести анкету среди современных писателей: «Нужна ли нам критика?» Ручаюсь: большая часть ответов будет примерно такого рода: «В том виде, в каком существует сейчас, — не нужна». Можно думать, что и читатель, ежели его спросят, выскажется не в пользу значительной части современной критики [1]).

II

Прежде всего устраним с самого начала всякие неясности в вопросе: нуж-

1) Много справедливых замечаний на эту тему в статьях А. Лежнева «О современной критике», сб. «Литер. Будни», 1929 г., изд. «Федерация», и Е. Мустанговой «Есть ли у нас критика», сборн. «Голоса против», 1928 г., «Из-во Писателей в Ленинграде».

на ли критика. Она неизбежна. Можно собрать большой пучок аргументов против критики, эффектно обосновать ее отрицание, подчеркнуть и систематизировать ее недостатки, срывы и заблуждения, ее заносчивость, верхоглядство, опрометчивость суждений, необоснованную жестокость приговоров, ее жесточайшие ошибки и т. д. и т.п.,— и все-таки, вопреки этому всему, критика не прекратит существования, пока будет существовать человеческое творчество. Потому что критика — важнейшее из орудий человеческого познания. Именно критика производит часть умственной работы, наиболее прогрессивную и активную в научном знании: проверять установленные положения, искать основные причины, вновь и вновь находить новые подтверждения старых истин, разрушать их, если они не удовлетворяют новому сознанию, создавать новые, если в них назрела потребность. В основе научного знания лежит критическое отношение к природе и к знанию. Критическая способность суждения—основная в человеческом знании. Без критики нельзя представить существования науки. Без критики немыслимо творчество. Критика—постоянный спутник его. Ее роль огромна и плодотворна. В области естественно-научных, исторических и других дисциплин критика неотделима от существа самой науки. Сомнения в ее необходимости смехотворны. Наука без критики превращается в катехизис, в собрание догматов. Столь же нуждается в критике искусство. Если без искусства нет критики, то и без критики не может развиваться искусство. Если всякое общество, всякий класс может сказать: лицо моего искусства — мое лицо, с неменьшим основанием могут они сказать это и по адресу критики. Оттого-то критика критики по существу есть самокритика.

Но критику не любит писатель. На этом последнем обстоятельстве стоит несколько задержаться.

III

Наблюдая отношение писателя к критике, можно заметить, что в редких случаях писатель правильно оценивает ее значение. Чаще всего он смотрит на задачи критика так: это человек, роль которого заключается в информации читателя о *достоинствах* новейших произведений, *даже если они* полны *недостатков*. Редкий из писателей обладает способностью видеть грехи своего творчества: иначе не было бы плохих произведений. Это психологически понятно. Но именно в неспособности оценить подлинное качество собственного творчества заключена одна из причин ненависти писателя к критику, который осмеливается называть вещи своими именами: никчемная вещь никчемна, бездарная вещь бездарна. Нередко писатель в недоумении разводит руками, об'ясняя резкие оценки критики личным пристрастием, личной злобой критика, либо неспособностью его понимать цену подлинного искусства. Ярче всего эта ненависть к критику обнаруживается в литературной деятельности Белинского. Пусть критик трижды честен (а в честности Белинского не сомневались даже его враги), пусть он талантлив (а в талантливости Белинского не было сомнений), пусть он будет остроумен и убедителен,—все это лишь ухудшит его отношения с писательской средой, если его оценки будут суровы и столкнутся с писательскими самооценками. Писатель хочет, чтобы его хвалили, чтобы на его ошибки и промахи смотрели сквозь пальцы, чтобы его гладили по головке и раздували его успехи. Он требует этого даже тогда, когда знает, что не все благополучно в садах его словесности. Вот это «человеческое, слишком человеческое», которое следует назвать «обывательским, слишком обывательским», — живет крепко в психологии писателя. Лишь немногим из писателей, преимущественно крупным, удается подняться выше личного самолюбия и оценить об'ективную полезность критики. Чаще же всего писатели испытывают враждебность к ней, даже такой, как критика Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Кому неизвестна ненависть Тургенева к «очковой змее»—Добролюбову? Кто не слышал презрительных

о критике отзывов Толстого, Достоевского и других, помельче? Это известно многим. Особенно яркую картину войны критика и писателей представляет деятельность Белинского. Читатель, я думаю, не посетует, если около этой картины мы на короткое время остановимся.

IV

С. Ашевский, специально исследовавший взаимоотношения Белинского и тогдашней литературной среды, интересную книгу которого «Белинский в оценке современников» было бы не бесполезным переиздать, — обстоятельно рассказывает о глумлении, которому подвергался Белинский со стороны дорогих его современничков. Здесь было все, что угодно: извращение его мнений и взглядов, выдергивание из его статей отдельных слов и фраз, приписывание ему как раз тех самых мнений, которые он опровергал. «Сражаясь с Белинским в печатных статьях,—пишет С. Ашевский,—принимавших иногда характер доносов, ругая его в интимных письмах и частных беседах, выступая против него даже с форменными доносами по цензурному или жандармскому ведомствам, современные ему писатели не брезговали и пасквилями разного рода в стихах и прозе» [1]).

Ненависть к Белинскому была поразительна. Чем она вызывалась? Привычкой Белинского говорить правду в глаза, «не взирая на лица», выражаясь нынешним слогом. Белинский является образцом, которому не мешало бы следовать всем, кто не на словах, а на деле желает заниматься критикой и самокритикой. Белинский игнорировал влиятельность «лиц», издевался над ученым педантизмом и напыщенным самодовольством литературных «львов», разоблачал надутое самолюбие прославленных тупиц. Ему платили клеветой, травлей, инсинуациями. Громче всех, разумеется, вопили литературные букашки, ютившиеся на задворках газет и журналов. Если Белинский даст заслуженную оценку бездарному романисту Рафаилу Зотову,— Рафаил Зотов «до гроба помнить будет» и — уж будьте покойны! — случая не упустит, чтобы не куснуть критика, не тявкнуть на него из какой-нибудь подворотни. При этом Зотов уверял печатно читателей «Северной Пчелы» в недобросовестности Белинского. Мелкотравчатый беллетрист В. И. Панаев, обруганный Белинским по заслугам, не мог говорить о нем иначе, как с пеной у рта, называл его писакой, «которого надо посадить на цепь и которому надо надеть намордник». Белинский критически относился к Загоскину, известному поставщику сусально-исторических романов. Загоскин в отместку афишировал свое презрение к Белинскому, ставил его даже ниже Булгарина и открыто предпочитал ему Бурачка, издателя журнала «Маяк». А где он, этот Бурачок? «Пьяница», «наглец», «крикливый цигмей», «с медным лбом», «с размашистой рукой», и «борзым пером» — так отзывался о Белинском С. Шевырев. «Щелкопер»—обзывал его поэт Языков. «Башибузук литературный», «крикун-фигляр», «тупое перо»—писал в эпиграммах на Белинского кн. Вяземский, уверявший однажды, что у Белинского «пустая голова» единственно на том основании, что талант Лермонтова критик назвал «громадным». Греч во всеуслышание говорил про Белинского: «Умный человек, но горький пьяница, и пишет свои статьи не выходя из запоя». Нестор Ку-

[1]) «Уже первой своей крупной статьей—знаменитыми «Литературными мечтаниями» — Белинский создал себе массу врагов всякого рода...»

«...больше всего, конечно, должны были негодовать разного рода второстепенные и третьестепенные писатели старого и молодого поколения, которые все были перечислены и оценены Белинским с такой свободой и смелостью, к которой русские писатели и читатели еще не привыкли».

«...В русской литературе тридцатых и сороковых годов мы встречаем почти исключительно отрицательные или недоброжелательные отзывы о нашем знаменитом критике».

«Враждебность или крайне недоброжелательное отношение к Белинскому было почти общим правилом в среде русских писателей старшего поколения».

Вот иллюстрация к проблеме: писатели и критики!

кольник, прославленный кумир, развенчанный Белинским, иначе как с величайшим презрением не отзывался о критике. М. П. Погодин, не однажды испытавший на себе острие критического пера Белинского, вопрошал с деланным недоумением: «Кто такой этот г. Белинский? Скажите мне, какие есть сочинения господина Белинского? Г. Белинский не представил еще никаких сочинений». А Ксенофонт Полевой, брат Николая Полевого, уже после смерти Белинского, с тупым самодовольством так «развенчивал» автора «Литературных мечтаний»:

«Издание сочинений Белинского,— писал он, — не имеет никакого литературного значения»... «кто в наше время станет перечитывать всякую дребедень, писанную Белинским в разных журналах лет пятнадцать, двадцать, двадцать пять назад?» «Добрый малый, но вместе заблудший баран»—так аттестовал он Белинского в одном месте. По его словам Белинский умер, не принесши никакой пользы литературе. «Хвалить сочинения Белинского можно только из корыстных чувств»—уверял он. Сочинения эти могут «только испортить вкус, извратить понятия, внушить много ложных мыслей молодым читателям».

Таков суд современников!

«Из русских писателей, — пишет С. Ашевский,—родившихся в начале XIX века, почти все относились к Белинскому враждебно или недоброжелательно». Это значит—все почти старое литературное поколение было против него. Исключений было мало. К Белинскому хорошо относился Пушкин, несмотря на то, что Белинский в «Литературных мечтаниях» и в других статьях говорил поэту вещи, далеко не приятные. Пушкин, однако, сумел подняться выше личного самолюбия и ценил Белинского. Любил его Кольцов, многим обязанный Белинскому, уважали его Кюхельбекер, кн. Одоевский, Лажечников. Был у него дальше узкий круг любящих друзей. Но уже Гоголь, метя в критику, отзывался о современной ему литературе, как о «плошке», которая не только «подчас плохо горит, но даже еще и воняет». Граф Сологуб, автор «Тарантаса», к которому Белинский относился благожелательно, встречал его обыкновенно дружеским рукопожатием. Но когда Белинский охладел к писаниям этого аристократа, — «дружеские пожатия сменились пренебрежительным кивком головы». С. Шевырев хвалил «Литературные мечтания», «пока до него не дошло дело». Так же точно повел себя и М. Погодин: Белинский стал ему ненавистен, лишь только неодобрительно отозвался о его грамматике. Надо ли говорить, как мстили Белинскому беззубые кропатели всяких сатирических стишков и обозрепий—Навроцкие, Калашниковы, Бранты, Федоровы, Ушаковы и многие другие, имена которых если и сохранились, то единственно благодаря Белинскому: обругав бездарного пачкуна, он оставил его имя в памяти потомства. Они выводили Белинского и в романах, и в сатирах, и в баснях, и в пасквилях, и в пьесах, строчили на него эпиграммы, выставляли его в скандальном виде, обливали его грязью, обзывая то Глупинским, то Пигмейкиным, а М. А. Дмитриев в одной из пародий, не увидевшей, впрочем, в свое время света, просто написал, что у Белинского «рожа свинская»... Были и такие, что кричали во всеуслышание,—как жаловался Белинский в одном из писем Боткину,— будто критик не имеет права хулить их литературные заслуги, ибо они, литераторы, ссудили его, критика, взаймы деньгами.

Такова классическая картина взаимоотношений писателей и критиков.

Но было бы ошибкой полагать, что главная причина ненависти лежала в обывательском естестве тогдашней литературной среды. Мещане лишь вносили в борьбу мотивы мелкого самолюбишка. Главная же причина заключалась в том, что Белинский был потрясатель «основ», этот «недоучившийся студент», дерзко разрушавший авторитеты. В его статьях, даже таких, как «Бородинская годовщина». или «Менцель, критик Гете», билась живая мысль, стиснутая тисками Николаевской эпохи. В его поисках, в его заблуждениях и удачах, во всей деятельно

сти его сказывалась в литературе та революционная работа, которую крот истории производил глубоко под землею. В общественном значении всей деятельности Белинского и лежала основная причина ненависти к нему всех его противников. Эта ненависть осложнялась лишь личными моментами, о которых говорилось выше. Она росла вследствие того, что ее раздували литературные насекомые, не руководившиеся ничем, кроме жалкой мести за уязвленное клопиное свое самолюбие. Когда много лет после смерти Белинского появились «Очерки Гоголевского периода русской литературы», в которых восстанавливалось истинное значение критика, кн. Вяземский раздраженно писал С. Шевыреву: «Подайте свой голос против этой реставрации; этого апофеоза памяти Белинского, которому все журналы наши поют ныне акафисты и панихиды, даже «Русская Беседа» называет его столь сильным деятелем в нашей литературе. Да разве баррикадники[1]), которые ломают мостовую, разве они деятели? Белинский был не что иное, как литературный бунтовщик[2]), который, за поимением у нас места бунтовать на площади, бунтует в журналах».

Правильная оценка, сделанная врагом! Такую лестную оценку получил Белинский из уст не одного только Вяземского. Ашевский рассказывает, что в 1859 г., будучи редактором «Русской Беседы», Иван Аксаков не хотел допустить в одной из статей о Пушкине цитат из Белинского, а также выражения «возвышенный критик».

«...Выражение же возвышенный критик, — добавлял он, — странно и слышать... о человеке, прославившемся своими нападками на христианство, семью и русскую народность».

Белинский взялся за перо не для того, чтобы превратить его в средство рекламы для литературных дельцов, не для того, чтобы кадить друзьям, возносить их на пьедестал, преувеличивать их достоинства, скрывать и замалчивать их недостатки, — но для борьбы за ту правду, которую он считал единственно достойной защиты. В борьбе за свою «правду» он шел против течения, против признанных авторитетов, колол чужие самолюбия, расходился с друзьями и т. д., и т. д. Его неистовость, непримиримость, его готовность лучше вести войну с лягушками, чем мириться с баранами, — как говорил он, — придают обаяние его страстной фигуре. «Новым Виссарионом» вошел он в историю литературы, — и как бы потускнел его облик, если бы лишен он был безудержного неистовства.

V

Но здесь необходимо оговориться. Неправ будет тот, кто вообразит, будто в войне между критиками и писателями — вся вина в писателях. На них лежит только часть вины. Писатель грешит против интересов литературы, когда, сталкиваясь с настоящей критикой, отвергает ее на том единственном основании, что она ему неугодна. Но ведь в том-то и беда, что очень часто под видом критики встречается беспардонная отсебятина, не только не уступающая самодовольному педантизму иного беллетриста, но в тысячу раз превосходящая его своими отрицательными свойствами,—ибо критика агрессивна, она нападает, клеймит, развенчивает, судит и осуждает. И если все это делает она по своему невежеству, в угоду личным пристрастиям, невпопад, не в точку, ненависть к такой критике со стороны писателей не только понятна, — она законна, необходима, неизбежна.

Примеров можно найти сколько угодно. Возьмем самый яркий.

В отношении критики к Пушкину сказались характерные недостатки критики вообще. Современная Пушкину критика была не более невежественна, чем критика позднейших эпох. Напротив: в ее среде находились такие образованные для своего времени и далеко не бездарные люди, как Надеждин, Сенковский, Шевырев, Н. Полевой. И однако, презрительная нена-

[1]) Курсив Вяземского.
[2]) Курсив мой. Вяч. П.

висть Пушкина к критике была беспредельна. Эпиграмматический жанр не знает более беспощадных и злых оценок, какие давал Пушкин своим милым современникам, пытавшимся направить против него критическое перо. Не всегда Пушкин был справедлив. Этому мешало свойственное ему не меньше, чем другим, человеческое, слишком человеческое. Но стоит вспомнить эпиграммы на Каченовского и Булгарина, его «притчу» («картину раз высматривал сапожник»), — чтобы встали перед нами действительные «заслуги» критики, по достоинству оцененные Пушкиным.

За что ненавидел Пушкин Каченовского и Булгарина? Эти две фигуры с предельной отчетливостью обнаружили в своей критической деятельности черты, которые по сие время не утратили остроты и продолжают вызывать справедливую ненависть.

Хавроniос! ругатель закоснелый,
Во тьме, в пыли, в презренье поседелый,
Уймись, дружок! к чему журнальный шум
И пасквилей томительная тупость?
«Затейник зол!» с улыбкой скажет Глупость.
«Невежда глуп!» зевая, скажет Ум.

Эпиграмма эта замечательна не только сконцентрированной и презирающей злобой, бьющей, как пощечина. Она лаконически воспроизвела некий «эстетический кодекс» Каченовского: бранчливость, пасквилянство, невежество. Эти черты больше других, очевидно, возмущали Пушкина. Чаще других именно их клеймит он во всех почти своих эпиграммах: «Как брань тебе не надоела?», «Клеветник без дарованья», «Охотник до журнальной драки». Прав ли был Пушкин, позоря современную ему критику? Тут и спора нет. Достаточно познакомиться с работой С. С. Трубачева «Пушкин в русской критике» (СПБ, 1898), работой слабой теоретически, но богатой фактическим материалом, чтобы понять, как много действительных оснований для ненависти было у Пушкина. Если критика находила, скажем, «Руслана и Людмилу» грубой и отвратительной шуткой,— насколько больше оснований было у Пушкина третировать тогдашнюю критику всей силой своего убивающего остроумия. Правда, «Руслан и Людмила» — произведение «декларативное», новаторское. Естественно, что на долю его выпала большая порция непонимания и зубоскальства со стороны защитников «старой школы». Но ведь не были избавлены от злобных глупостей и позднейшие его произведения. Ведь писал же Надеждин (не Булгарин! не Каченовский!), что Пушкин в сущности «гений на карикатуры», что поэзия его «просто пародия», что это, собственно говоря, «зубоскал», и большинство поэм его—«Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан», и «Цыгане»—пародии, а «Граф Нулин»—просто «выродок» поэмы, мыльный пузырь, не выдерживающий дуновения критики. А ведь Надеждин до Белинского был крупнейшим представителем тогдашней ученой критики! Можно ли упрекнуть в неправоте Пушкина, когда он в эпиграмме

...взрослого болвана
Поставить в палки приказал...

Невероятно для современного слуха звучит повесть о том, как преследовала, как не понимала и недооценивала Пушкина современная ему критика. Окруженный друзьями и почитателями, Пушкин, гениальности которого не отрицали даже враги, тем не менее подвергался постоянным нападкам, систематическим попыткам развенчания. «Пустая, но блестящая игрушка»—эта надеждинская оценка не была предельной. «Будуарный поэт»—так оценивал Пушкина Раич. Не только великосветское общество преследовало поэта. Его травила критика в его собственном литературном доме. За несколько лет до смерти вокруг него стала создаваться атмосфера холода: Пушкина перестали понимать, его талант считали увядающим, закатным. «Евгения Онегина» критика характеризовала как роман утомительный, бессвязный, бесхарактерный, без общей мысли, — даже друзья Пушкина находили, что содержание «Онегина» «пошло» и «прозаично», что «Бахчисарайский фонтан» и «Кавказский пленник» выше «Онегина». В «Сыне Отечества» было прямо заявле-

но, что поэт «не оправдал возлагавшихся на него надежд». Он напечатал «Бориса Годунова», «Моцарт и Сальери», «Скупого рыцаря», «Капитанскую дочку», — а критика мрачно была убеждена в том, что поэт умер и не воскреснет.

Некоторые критики, недовольные «Борисом Годуновым», — а недовольных было большинство, — утверждали, что вещь эта является «школьной шалостью», без дара творчества, без искусства пользоваться драматическими положениями.

В «Сев. Меркурии» после выхода «Годунова» было напечатано, как в одном большом обществе некто, прочитав трагедию, покачал головой, всплеснул руками и прочел: «И Пушкин стал нам скучен, и Пушкин надоел, и стих его не звучен, и гений охладел. «Бориса Годунова» он выпустил в народ: убогая обнова, увы! на новый год». После чего все грянули хором: «Убогая обнова, увы! на новый год».

После смерти Пушкина были напечатаны (правда, в «Маяке», журнале диком и черносотенном) строки совершенно гомерические: журнал этот провозгласил, что именно Пушкин «уронил русскую поэзию по крайней мере десятилетия на четыре», что поэзия Пушкина «безжизненный, красивый стихотворный труп». Называя «Полтаву» «чистеньким выродком поэмы», критик этого журнала упрекал Пушкина в недостатке творчества и т. п. Он не находил в произведениях Пушкина ни хорошего «настроения», ни глубоких идей или мыслей, ни настоящих чувств, ни дельного содержания, ни, наконец, хорошего описания. «Построение» поэм Пушкина, — писал критик, — несвязно, небрежно и не обличает творчества; как умный человек Пушкин мог «складненько» рассказать «легонькое происшествие», и только. Пушкин вообще «строился на песочке».

«Скоро, скоро умрут его безжизненные мишурные произведения» — с удовольствием потирая руки, строчило это чудовище. Мартынов, критик «Маяка», был монстром, критическим уродом. Но ведь этот монстр не был одинок! Допустим, что он был действительно идиот или сумасшедший, как полагал А. Григорьев. Невероятного тут нет ничего. Разве не встречаем мы идиотов, которые пишут стихи, рассказы, повести, даже романы? Что ж невозможного в том, что идиот печатно отказывал Пушкину в «творчестве»? Сила вся в том, что человек, явно дефективный, не только писал критические статьи, но находил органы, их печатавшие. Были, значит у него сторонники, с ним соглашались, его читали, а, быть может, даже почитали. Другими словами: он выражал взгляды, вкусы и уровень понимания, пусть небольшой, но все же существовавшей какой-то общественной прослойки, не нашедшей другого своего выразителя. А охотников «разоблачить» Пушкина, об'явить его ничтожным стихоплетом, кроме критика «Маяка», было сколько угодно. Критические комары той эпохи тучей вились вокруг Пушкина.

Непревзойденным все же остался знаменитый Булгарин, враль и ругатель, ябедник и подхалим. В нем гармонически сочетались невежда и клеветник, пасквилянт и доносчик. Настоящим жанром Булгарина был пасквиль. На презрение Пушкина он отвечал систематической клеветой, подлыми уколами, целью которых было уязвить, унизить, оскорбить Пушкина. А ведь Булгарин был редактором «Северной Пчелы», распространеннейшего в то время органа. Орган Булгарина писал про седьмую главу «Евгения Онегина»: «Ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения! Совершенное падение». Были же у Фаддея Булгарина сторонники, радовались же они, потирая руки: здорово поддел писачка Фаддей Бенедиктович! Предпочитал же Загоскин Булгарина Белинскому. Считал же Сенковский Булгарина талантом первого класса, а Белинского ставил ниже Бурачка, издателя «Маяка», покровителя нашего знакомого Мартынова!

Находились критики, которые после выхода «Анджелло» высказывали уверенность, что Пушкин — увы — умер и

не воскреснет. Так журнальная критика относилась к живому Пушкину.

Разумеется, речь идет не о всей критике. Но я говорю о той ее многочисленной части, которая производила наиболее шума, неотвязно жалила поэта, наиболее развязно и решительно его осуждала. И вовсе не случайным проявлением эстетической тупости О. Сенковского, человека не бездарного и образованного, было то обстоятельство, что он некоего стихотворца Тимофеева противопоставлял Пушкину. Пушкин имел опасного соперника! Тимофеев, однако, оказался не более достойным Бурачка. А ведь Тимофеев не единственный, которого превозносила современная Пушкину критика. Позорное безвкусие обнаружил не один Сенковский и ему подобные. Много обманувших имен можно встретить у самого Белинского, а ведь критическое чутье Белинского выше всяких сравнений. И в отношении Пушкина у самого Белинского было немало грехов: даже Белинский в «Литературных мечтаниях» (1834) оплакивал в лице Пушкина «горькую невозвратимую потерю» для русской литературы. А годом позже, говоря о повестях Пушкина, Белинский писал о дождливой холодной осени, сменившей в пушкинском таланте «прекрасную, роскошную, благоуханную весну».

Так относилась критика к Пушкину. Чего же мог ждать, и что нередко получал от критики писатель просто талантливый или средне даровитый? Он был, в буквальном смысле, игрушкой в руках случайных связей, дружеских или вражеских пристрастий, жертвой критического суб'ективизма.

VI

Необходимо заметить, что неправильные или дикие критические суждения не всегда были результатом критической слепоты или злой воли. В критических нелепостях почти всегда можно отыскать «систему». Была своя система и в нападках на Пушкина.

Не случайно развенчивал Пушкина «Маяк»: журнал защищал черносотенно-клерикальную позицию. А Пушкин был вольнодумец. По той же причине врагами его были Булгарины и Каченовские. Ненависть их к Пушкину диктовалась на первый взгляд об'ективизмом их оценок, импрессионизмом их методов. Но и суб'ективизм и импрессионизм их суждений были обусловлены социальной борьбой, происходившей в то время. Пушкин был поэт-новатор, потрясавший старые формы стиха, революционер в поэзии. Он был вместе с тем друг декабристов, вольнодумец и острослов. Тогдашняя критика, травя Пушкина, выполняла свое реакционное социальное назначение. В критических столкновениях того времени находила идеологическое выражение борьба, происходившая в современном обществе. Те же самые перья травили Белинского — Пушкина русской критики. Даже в ошибках и перегибах критики сказываются не случайные причины. Критика даже в руках случайных людей всегда оказывается оружием, которое, даже будучи первобытным, направляется классовой рукой. Даже самая первобытность критических методов, господство суб'ективизма и импрессионизма могут быть об'яснены отсталостью общества, неразвитостью его классовых отношений, обусловливающей недифференцированность, «топорность» критических методов, их ненаучный характер.

В ненаучности критики заключалась основная причина многих ее бед. Кто не бросал по адресу критики известного афоризма: «критика легка — искусство — трудно». А. А. Потебня справедливо заметил в своих «Записках по теории словесности», что этот афоризм может быть справедлив «лишь в применении к фырканью по поводу художественного произведения, а не к научной критике» (стр. 110, изд. 1905 г.). Но критика чаще всего именно и бывала «фырканьем». Ложное убеждение в том, будто критика легка, способствовало тому, что за критику брался всякий, кому не лень. Ворота критики были широко раскрыты для «званных и незванных». Кто палку брал, — тот и капрал. Оттого-то на одного Белинского или одного Добролюбова приходятся десятки, а то и сотни пач-

кунов, топтавших в трязь трудное ремесло критика. Именно по этой причине в истории нашего девятнадцатого века остался какой-нибудь десяток «критических» имен, а подвизались, шумели, скрипели, возносили, разносили, венчали, распинали — сотни! Каково было современникам? Об этом-то мы и судим по тем презрительным эпитетам, какими чаще всего сопровождают свои суждения о критике наши классики.

VII

Только с Белинского в сущности начинаются поиски настоящего метода для построения критики как научной дисциплины. Начатая Белинским борьба за критику против импрессионизма и суб'ективизма заканчивается в наши дни. Именно потому, что доплехановская критика, даже революционная, не располагала научным методом, а продолжала быть в большинстве случаев суб'ективной и импрессионистской, ее критические суждения поражают своей необоснованностью, иной раз даже сумбурностью.

Достаточно вспомнить полемику Писарева с Белинским, писаревскую оценку Пушкина, некоторые оценки П. Ткачева, Скабичевского и Михайловского, с их частым непопаданием в точку, чтобы представить себе, какое море свирепейшего произвола представляла наша критика даже в крупнейших своих представителях. Но и в этом море произвола видна система, если сквозь суб'ективизм и импрессионизм оценок рассмотреть классовый критерий. Тогда сделается ясным, почему отрицал Писарев Пушкина, Ткачев презрительно отзывался об «Анне Карениной», Скабичевский не понимал Чехова и т. д. Суть была в идейной, целевой установке критика. Социально-политический смысл критических высказываний, даже в случаях крайней нелепости и парадоксальности собственно критических оценок, не подлежит ни малейшему сомнению и может быть без труда обнаружен. Критическая статья была часто жанром, маскировавшим истинные, чисто политические, а не литературно-критические задачи. Но даже не будучи маскировкой, даже оставаясь сама собой, литературная критика была оружием, с помощью которого защищались одни классовые ценности и опорочивались другие. Оружие было примитивным, технические достоинства его были невелики,—но свою общественную роль оно выполняло. Это исторически оправдывало деятельность критиков,—даже когда они были неправы.

Ибо всякое литературное движение есть движение борьбы. В развитии художественных форм, в столкновениях направлений, в противоречивости вкусов, в творчестве новых образов, в литературных манифестах и платформах школ находит свое выражение борьба, происходящая в обществе, классовая борьба. И если художественное творчество нередко оказывается бессознательным, вопреки воле художника, выразителем этой борьбы, творчество критика чаще всего является выразителем сознательным.

Критика всегда вносила в литературное развитие психологию борьбы. Критик—не спокойный исследователь, не равнодушный летописец, не ценитель изящного, пересыпающий с ладони на ладонь цветные камни искусства. Это активный и страстный участник литературных боев. Критик по своей природе является тем представителем общества, функцией которого является идеологическую борьбу разжигать, доводить ее до высокого напряжения, ставить перед обществом основные вопросы, вовлекать в их обсуждение, выяснять их до тонкостей, защищать свою «правду», за которой стоит правда общественная, классовая, групповая. Критик—это орган классового, группового самосознания. Связь критика с читателем заключается в том, что критик по существу—тот же читатель, но такой, который лучше, чем рядовой читатель, вооружен для борьбы за «правду», за то или иное отношение к миру, за то или иное понимание человеческих в мире задач. Это свойство и придает ему иногда характер вождя. Художник — также оформитель общественного, классового, группового сознания. Но художник выра-

жает это сознание в образах, как бы в алгебраических формулах, поддающихся множественному толкованию. Критик раскрывает логическое содержание образа, ставя на место алгебраических знаков арифметические величины. Отсюда огромная общественная роль критика, не уступающая роли художника.

VIII

Обращаясь к критике наших дней, мы находим в ней сохранившимися недостатки, типичные для русской критики вообще. Несмотря на клятвы Марксом и Плехановым, в критических оценках господствует бесшабашный импрессионизм, продиктованный отнюдь не об'ективными какими-нибудь литературными интересами. А между тем в нашем шумном и богатом литературном движении, которое характеризуется прежде всего обилием молодых сил, идущих в литературу с фабрик и из деревень, роль критики должна быть особенно значительной. К несчастью в современном литературном водовороте наибольшую беспомощность проявляет именно критика. Если перебрать имена писателей, превознесенных до небес и теми же самыми перьями низвергнутых в небытие,— картина получится любопытная. То вверх, то вниз — американские горы, а не критика! А рядом с серией чудовищных переоценок мы видим недооценки, замалчивание, игнорирование значительных талантов. Читатель, бедняга, глаза таращил и нередко тер себе лоб в недоумении—и чему ж удивляться, если он перестал верить критике, читать критиков, потерял вкус и уважение к критике.

Не следует, однако, думать, что состав современной критики ограничивается невеждами и импрессионистами. Мы нападаем не на критику вообще, но на ее Репетиловых и Расплюевых. Нельзя не заметить, что именно в наши дни происходят бои за научный критический метод. Рядом с творцами шума, с легковесными всезнайками, которые, не учась, «все науки превзошли», мы имеем молодых, усердно завоевывающих подлинное научное знание. Правда, таких немного, они, кроме того, не шумят, раньше времени в «Вольтеры» не лезут, компиляциями и невыправленными стенограммами своих речей и докладов рынка не засоряют, но что завтрашний день принадлежит им — это неоспоримо. Можно поэтому с полным основанием говорить о передовой части молодежи, только-только вступающей в область критики, и ее положительных чертах. Заключаются они прежде всего в попытках отказа от импрессионизма и суб'ективизма, в стремлении создать научную, серьезно и глубоко разработанную методологию. Можно даже сказать, что отношение к критике, как «легкому», доступному, жанру, доживает последние дни. На наших глазах назревает жесточайшая реакция против критического верхоглядства, наездничества, отсебятины. Методологические искания — вот что характеризует передовую часть молодой критики. На наших глазах происходит настоящая борьба за марксистский метод, за внесение подлинной социологии в эту область свирепейшего произвола. Ныне уже нельзя говорить о критике как об искусстве, всецело основанном на интуиции, на вкусе, чутье и т. п. Всякие попытки воскрешения, иногда даже под флагом марксизма, эстетических идей Аполлона Григорьева или Ю. Айхенвальда встречают решительный и единодушный отпор. Поэтому-то можно сказать, что момент, переживаемый нашей критикой, есть момент перелома, момент перехода к действительному, а не словесному только построению критики как науки. Только теперь можно сказать с убеждением, что теоретическое наследство Плеханова пущено в оборот. Плеханов перестает быть именем, ссылаться на которое сделалось признаком хорошего тона. Его идеи, основы критического метода, им заложенные, ныне действительно входят в рабочий инвентарь нашего литературоведения. Целый ряд книг и статей, специально посвященных изучению Плеханова как методолога литературы, яв-

ляется убедительным тому доказательством.

Марксистская критика заканчивает период своего первоначального накопления. Появлению таких книг, как «Литературоведение», под ред. В. Переверзева, споры, какие она возбудила, знаменует начало серьезнейшей и уже не поверхностной, но подлинно научной теоретической борьбы. В порядок дня поставлены важнейшие вопросы применения марксистского метода в искусстве и литературе. Критика должна сделаться научной, выработать свою методологию, ясно представить себе свою область. Она должна иметь свое собственное, выверенное, точное оружие—и она будет иметь его.

* * *

Здесь, разумеется, возникает ряд серьезнейших вопросов, связанных с пониманием критики как науки. Чем, напр., будет отличаться научная критика от истории литературы? Ведь история имеет дело с фактами, отошедшими в прошлое, стоящими в исторической перспективе, критику же приходится быть пионером, пролагателем путей, устанавливать оценки литературных фактов, еще не оцененных, определять качество явлений, впервые явившихся на свет. Даст ли научный метод достаточно богатый набор инструментов, которые начисто устранили бы суб'ективные и импрессионистские элементы из критики? Чем будет отличаться научная критика от той дисциплины, какую мы теперь называем «теорией литературы?» В какой связи будет она находиться с научной эстетикой, да и нужно ли построение этой дисциплины? Не сведет ли «холодный» научный метод «нанет» ту свойственную критике особенность, которая называется «эстетическим», «художественным» чутьем, покоится на интуиции и играет огромную роль именно при определении невиданных, новых, впервые возникающих литературных фактов?

Эти и другие вопросы естественно появляются на сцене, когда возникает речь о научной критике. Они нуждаются в особом освещении. Это будет сделано нами в ряде статей, посвященных анализу литературного наследства Г. В. Плеханова. Они лучше всего могут быть правильно поставлены и разрешены при изучении вопроса: как ставил и разрешал проблему научной критики основатель марксистского литературоведения.

2. РАЗГОВОР В СЕРДЦАХ

А. Лежнев

„В порядке постановки"...

Читатель. Кризис поэзии? Слышали, и не раз. Критики всегда говорят о кризисе. Если их послушать, то окажется, что литература никогда не выходила из состояния кризиса. В эпоху Пушкина и Гоголя Белинский заявил, что у нас нет литературы. Почитайте критику 60-х годов, и вам покажется, что это десятилетие, давшее «Войну и Мир», «Преступление и Наказание», «Отцов и Детей», было временем жесточайшего литературного упадка. 30 лет спустя Чехов меланхолично писал о себе, о Короленке, о современной ему прозе, как об искусстве второго сорта. А начало нашего века, увидевшее расцвет символической поэзии, расценивалось общим мнением как некая эпоха деградации. Выходит, что как бы ни развивалась литература, к ней все равно приклеивают ярлык упадка и оскудения. Известно, что золотой век всегда позади: тогда и солнце было ярче и птицы голосистее. Поэтому разговоры о кризисе искусства не имеют никакой цены. Они мо-

гут только свидетельствовать о том, что критику не нравится современное ему искусство: потому ли, что он воспитался на старых образцах. и, приучив свой желудок к «деликатной» классической пище, не способен переварить ничего нового; потому ли, что у него дурное настроение или врожденная склонность к пессимизму; или, наконец, потому, что он не знает, как разобраться в нахлынувшей на него массе нового материала, и собственную растерянность выдает за общее несчастье. Но погодите, пройдет несколько десятилетий, и какой-нибудь новый критик, так же, как и прежний, брюзжащий на современность из-за того, что ее острые углы не сглажены временем, объявит нашу эпоху кризиса эпохой расцвета и будет колоть глаза живым напоминанием о великих мертвецах. Они велики потому, что они умерли.

Критик. Я знал, что встречу такие возражения. Они неизбежны, как крики «ура» на военном параде, и так же доказательны. Они возникают почти автоматически, непроизвольно. Но их непроизвольность вовсе не является свидетельством в их пользу. Вы рассуждаете формально. Ошибки отдельных критиков, даже заблуждения целых школ не могут быть аргументами ни за, ни против. Вы, пожалуй, напомните мне басню о волке и о пастухе, который так часто обманывал крестьян ложной тревогой, что ему перестали верить? *Хорошо, пастух* поступал дурно, но волк-то ведь действительно заявился? Я понимаю ваше недоверие, но вместо того, чтобы отделываться от фактов общими и достаточно избитыми рассуждениями, не лучше ли рассмотреть факты по существу? Вас удручает трафаретность вечных ссылок на кризис, и от одного шаблона вы хотите заслониться другим шаблоном. Вы прибегаете к традиционному представлению о непонятых новаторах, которых оценить умеет *только потомство*. Но разве потому возникает недовольство современной нашей поэзией, что в ней слишком много новаторства и дерзания? Поистине, она не страдает их избытком. Да об'ясняют ли ваши слова что-нибудь и в тех примерах, которые вы привели? Когда Белинский сетует на отсутствие литературы в эпоху, которая нам сейчас представляется временем расцвета поэзии, величайшей культуры стиха, то в нем говорит не отсталость консерватора, а требовательность человека, перерастающего свое время и ставящего литературе новые задачи. Когда шестидесятники отвергают Толстого, Достоевского, Тургенева, мы ясно видим корни этой «несправедливости»: она обусловлена не страхом перед новаторством, а общественно различной позицией критика и писателя. Здесь есть неудовлетворенность, нетерпение, отрицание, но здесь никто не говорит о кризисе. Нападки здесь исходят не из того, что литература остановилась в развитии, а из того, что она развивается во враждебном идеям критика направлении. А я говорю именно об остановке, о кризисе.

Читатель. Я не настаиваю на примерах. Поймите меня. Я хочу сказать, что критика так часто, так охотно и безответственно говорит о кризисе, что теряется самое ощущение этого понятия. Может быть, то, что вы называете кризисами, и есть жизнь литературы, способ ее существования. Может быть, развитие искусства вне кризисов так же невозможно, как жизнь организма без разрушения тканей. Но тогда многого ли стоят все ламентации критики?

Критик. Я бы вам мог кое-что на это возразить. Но вместо этого позвольте вам задать один вопрос. Вот вы не критик. У вас нет профессионального озлобления, вы—не абстрактная тень литературы, не ругатель, бегущий за ее триумфальной колесницей. Словом, вы лишены тех недостатков, которые по традиции принято приписывать критику. Вы—просто читатель, т. е. вы тот, для которого в конце концов издаются книги и журналы. Скажите, вам нравится современная поэзия?

Читатель (подумав). Не слишком.

Критик. Так. А почему же не нравится?

Читатель. Видите ли, вы меня застаете врасплох. Не знаю, сумею ли я достаточно точно выразить свою мысль, которую мне для самого себя сейчас впервые приходится облекать в отчетливую форму. Мне не нравится современная поэзия потому, что, раскрывая книгу, я наперед знаю, что я в ней встречу. Если это крестьянствующий поэт, то непременно будет: жеваный ямб, черемуха и много лирической воды. Тут все заштамповалось на есенинских образцах, и автор все еще плачет об утраченной молодости и вспоминает родственников по восходящей линии. Обязательное уныние является здесь как бы поэтическим паспортом или своего рода масонским значком, по которому узнают посвященных. Если это поэт безыменского толка, то тот же неизбежный ямб будет преподнесен в виде барабанной дроби, и вы с привычным изумлением услышите, что и барабан умеет сюсюкать. Вопросительные знаки дешевого уныния будут сменены восклицательными знаками дешевого мажора,—и вы безошибочно угадаете, что на такой-то странице начнется схоластический турнир о сравнительных достоинствах любимой девушки в сапогах и любимой девушки в чулках телесного цвета, а немного дальше вам попадется философствующий газетчик или премудрый фабзаяц, плюющий на котелки нэпманам, и короткая бытовая сценка закончится приличествующим нравоучением. Если раньше вас допекали родственники по восходящей линии, то теперь вас будут допекать родственники по нисходящей линии. Словом, в стихах наших поэтов я знаю все заранее: фауну и флору, эпитеты и метафоры, мораль концовок и шаблоны вступлений. Мне надоели невероятные газетчики и лубочные фабзайцы. Мне надоели поэмы о любимых девушках, эти многострочные стихотворные поллюции. Мне надоели геральдические животные и символические растения, березки и клены, коровы и жеребята. Мне равно претит эпическая матершина одних (поэтов, разумеется, а не коров!) и словесная суетливость других, эти бесчисленные юркие: «ну, вот», «поди-ка», «изволь», «угадай-ка»,—вставляемые не то для заполнения стиха, не то для имитации добродушно-простецкого тона, этот насквозь фальшивый блатной жаргон, экзотика опрощающегося интеллигента. Мне прискучило плакать с поэтом оттого, что ему 30 лет, и политграмотно «шамать», когда ему 18.

Критик. Вот видите, каким языком вы заговорили, когда перешли к конкретным фактам. Вы хотите как будто поменяться со мной ролями. Охотно уступаю вам свою. Но зачем же вы так ожесточенно со мной спорили? Нынешняя поэзия не нравится вам потому, что она заштамповалась, т. е. остановилась в движении. Это я и назвал кризисом. Кстати, вы имеете случай убедиться на собственном опыте, что можно осуждать искусство своего времени не только из упрямого консерватизма. Но я принужден буду выступить на его защиту. То, на что вы обрушились, вовсе не исчерпывает современную поэзию. Подражатели Есенина и школа Безыменского — это уже вчерашний день. Доказывать их застылость значит ломиться в открытую дверь. Это ясно каждому интересующемуся литературой. Вы выбрали самый легкий способ доказательства, но не самый убедительный.

Читатель. Я и сейчас с вами не совсем согласен. По-вашему выходит, что всякая заштамповавшаяся, т. е всякая плохая литература тем самым, что она плоха, уже находится в состоянии кризиса. Т. е. для вас кризис—синоним скверного качества, а не выражение болезни и при том обострепной болезни. Для кризиса же характерна именно острота затруднений, поиски выхода. Посредственная литература может существовать неопределенно долго без того, чтобы чувствовать свою ущербность, недостаточность своего состояния, без того, чтобы ощущать недовольство, и даже без того, чтобы эта ущербность была отчетливо почувствована читателем. Читатель понемногу отходит от нее, перестает ею интересоваться, но все это происходит незаметно, бесшумно, под знаком равнодушия, а не борьбы.

Примером может служить немецкая литература второй половины прошлого века (50-е—80-е годы). При чем интересно, что это—не эпоха упадка, а экономического расцвета Германии, ее национального об'единения, огромного развития науки. Наука, индустрия, техника оттесняют поэзию на последнее место. В ней нет внутренних импульсов для того, чтобы изменить свое состояние. Так и у нас: я вижу ухудшившуюся литературу, но я не вижу кризиса. Кризис предполагает ясное сознание неудовлетворенности, напряженное искание выхода, а есть ли оно у наших поэтов? Ни в какой степени. Каждый нашел свою полочку и успокоился. Повторяю: кризис—выражение болезни, ее высший, ее переломный пункт, и может иметь два выхода: выздоровление или смерть. Наша же поэзия, не чувствует себя больной и потому не собирается ни выздоравливать, ни умирать.

А теперь относительно «вчерашнего дня». Что ж поделаешь, если этот вчерашний день господствует и сегодня! Я не знаю, что ясно вашему любителю, имеющему возможность внимательно следить за литературой, но для огромного большинства читателей Безыменский и Есенин, это—90 процентов советской поэзии, это—основные линии, очерчивающие их поэтический горизонт. Их вкус колеблется между Безыменским и Есениным. Нет, даже не Есениным, а Есениным опошленным, превращенным в романс. Не «Письмо матери», а «Письмо», положенное на музыку, которое вы можете услышать повсюду, где только есть здоровая глотка и чувствительное сердце. Я не уверен, но я думаю, что *положены* на музыку и стихи Безыменского,—например, о сыне. И вы представляете себе, какой это восторг и какая какофония, когда с обеих сторон затягивают эти псалмы, симметричные в своей противоположности. Но ведь и самый неопытный читатель не сумеет долго выносить трафарет. И разочарование его в этой поэзии будет разочарованием в поэзии вообще.

Критик. Почему же? Ведь по вашей теории он не заметит трафарета, а если заметит, будет терпеть иное количество времени. Но пусть даже не будет. Разве литература так уже прямолинейно развивается, как односторонняя функция читательских запросов? Ваши доводы недостаточны. Поэзия растет скорее не теми элементами, которые уже сделались достоянием читательской массы, а теми, которые еще не вошли в ее поле зрения. Популярность писателя и его реальное значение в литературе вовсе не обязательно совпадают. Поэтому десять процентов могут иногда значить больше, чем девяносто. А вы их упускаете из внимания. Не думайте, что я хочу выступить на защиту даже этих десяти процентов. Я хочу лишь сказать, что всякое суждение о поэзии, игнорирующее их, лишено силы и веса. Конечно, это еще и потому, что можно и следует поспорить относительно цифр. Вы ставите на место поэзии представление о ней читателя, литературный горизонт заменяете читательским кругозором. Но ведь это разные вещи. Пусть в сознании читателя ученики Безыменского и эпигоны Есенина—девять десятых современной поэзии. В реальности они всего лишь небольшая дробь.

Читатель. Хорошо, соглашаюсь: вы правы. Но крестьянствующие и безыменствующие взяты мной лишь как наиболее характерные, наиболее показательные примеры. На много ли изменился бы результат, если б я обратился к другим примерам? Вот перед нами точно расписанная по числам, календарная одопись Лефа. Бунтарство, когда-то приводившее в движение ветряные мельницы зауми, теперь перешло на полезную работу. Стихия регулирована и учтена в твердых дензнаках. Революционеры кофейных подмостков, заставлявшие трепетать от восторга слабонервных девиц обоего пола, одели общегражданское платье и создали *теорию социального*, то-бишь, редакторского, заказа. Мастер отдает пролетариату свое мастерство, благо «машина ничего не говорит об идеологии создавшего ее инженера». Он го-

тов обделать любую мысль на любой манер. Он давно оставил мысль об «учительстве». Его дело — «словесное оформление». Его хорошо налаженная мануфактура для производства газетного пафоса действует бесперебойно. Его приемы давно шаблонизировались, и несложная рецептура выпирает из стандартно скроенного стихотворения. Она так несложна, так трафаретна, что можно смело открыть 3-месячные курсы по искусственной фабрикации лефов.

Критик. Вы тут близко подходите к основной болезни современной поэзии. Дело не в Лефе. Его литературное одряхление давно не составляет секрета. То, что он перестал существовать, как действенная, активная, новаторская школа в поэзии, является уже почти общим местом. Конечно, он сейчас живет на проценты с прошлого. Но тут надо делать различие между Маяковским и, скажем, Асеевым. Маяковский повторяется, но его стандарт создан им самим. И так как он очень суб'ективен, своеобразен, угловат, то его повторяемость гораздо более заметна, чем у какого-нибудь другого поэта с менее яркой индивидуальностью, и гораздо больше раздражает читателя. Маяковский повторяет образец, который не терпит повторения. Асеев приятнее, легче, музыкальнее, лишен этой угловатости, обладает вкусом и тактом и несравненно больше нравится среднему читателю. Это и неудивительно. Асеев — поэт компромиссный. Его повторяемость не так заметна, потому что стандарт, который он повторяет, не так своеобразен. Да он и не является целиком его созданием. Это — сплав из многих элементов. Асеев — не футурист чистой воды, как Маяковский. Он — лефо-акмеист. И если он является для современной поэзии более характерной фигурой, чем Маяковский, если он с большим правом может выступать, как ее представитель, то именно в силу своего лефо-акмеизма. Он начинает собой ряд компромиссных поэтов. Саянов и Ушаков, Антокольский и Луговской, Тарловский и Колычев — все эти поэты различных школ по существу — видоизменения одного и того же типа. Пусть у Асеева и Саянова преобладают лефовские признаки, а у остальных акмеистские,—все они образуют один непрерывный ряд, связанный незаметными переходами. И этот ряд растет, дает боковые отростки, вбирает в себя все новые и новые силы. На поэзию надвигаются лефо-акмеистические сумерки.

Не в том беда, что поэты компромиссны. В искусстве это слово не имеет того привкуса, что в политике. Быть может, эклектиком был и Пушкин. Нельзя и сказать, что они бездарны. Наоборот, большая часть из них — люди несомненно талантливые. Но наш лефо-акмеизм — продукт выветривания поэзии. Это — ревпарнасство, это — холодное эстетизирование революции. Это — будни техницизма. Это — его гипертрофия. Это — умение обо всем писать и ничего не выразить. Не обманывайтесь видимостью: за ней ничего нет. Бешеные ритмы, гримасы волнения, широкие жесты — это все имитация, привычная поза насквозь театральной, декламаторской поэзии. Интонационный стих превращается в имитационный стих. Выветрившаяся поэзия, движимая не импульсами, идущими изнутри, а внешними поводами, толчками со стороны, не может развиваться. Она необходимо застывает на месте. И пресловутый рост мастерства есть только другое выражение запустевания поэзии, ее формалистского перерождения. Когда Маяковский докатывается до откровенной халтуры, в роде «Клопа», это трагично. Вы в этом видите железную логику судьбы большого поэта, взявшего в своей работе установку, противоречащую его природе. Когда наши лефо-акмеисты доходят до нестерпимейшего «мастерства», это только скучно. Скучно, как понедельник.

Читатель. О, нет! Понедельник — веселый день. После воскресной неприкаянности трезвый ритм серых понедельников звучит, как маршевая музыка. Мы еще не научились как следует работать, но отдыхаем хуже, чем работаем. Наши будни лучше наших праздников. Лефо-акмеисты торжественно скучны, как английское вос-

кресенье, как еврейская суббота. Да, если б они действительно были поэзией будней! Но они будни поэзии. Тут я с вами совершенно согласен. Но не слишком ли вы раздвигаете обобщение? Не преувеличиваете ли вы удельный вес замеченных вами фактов? Я сомневаюсь в закономерности об'единения под одной вывеской писателей самых различных школ и оттенков. Я понимаю сближение: Асеев—Саянов—Ушаков. Их родственность очевидна. Это и есть настоящие лефо-акмеисты или, как вы удачнее выразились, ревпарнассцы. Но почему к ним отнесен Антокольский, поэт широкого жеста и приподнятого пафоса, выступающий на котурнах и при свете рампы, поэт, в стихах которого каждое слово как бы начинается с большой буквы и проносятся тени огромных и смутных образов, а недочерченные трагические символы ведут неясную борьбу? Или конструктивист Луговской, у которого и поэзия настроена на иной камертон и формальная зависимость иная — от Сельвинского?

Критик. Вы придаете слишком большое значение групповым ярлыкам. Поэтому вас смущает вопрос о закономерности помещения в один ряд лефовца Асеева, ваповца Саянова и конструктивиста Луговского. Но много ли говорят эти этикетки о действительном облике поэта? Луговской — конструктивист? Конечно. Это его формальный паспорт. Его удостоверение личности. Но конструктивист и Багрицкий. Однако, много ли вы поймете в Багрицком, если подойдете к нему с меркой конструктивизма? Вы скажете, что Луговской не случайный человек в конструктивизме, подобно автору «Думы про Опанаса», что он тесно связан с группой всем пафосом своего творчества? Согласен. Скажу даже больше: он перепевает Сельвинского, — не теперешнего Сельвинского, а того, каким он был года 4 назад. Жесткого и неудобного поэта он приспосабливает к вкусам и пониманию среднего читателя. Он выполняет отчасти то, что эпигоны Пастернака по отношению к Пастернаку или Кирсанов по отношению к Маяковскому. Но весь вопрос в том, к а к он это делает. Перед нами лефо-акмеистическая интерпретация Сельвинского, парнасское его извращение. Этим самым изменяется то, что можно назвать «пафосом» творчества, его внутренняя установка. Поэтому Луговской—конструктивист только формально, а на деле тот же парнассец. Аналогично дело обстоит и с Антокольским. Конечно, у Антокольского есть, хотя и в смутном, неясном виде, то, что вы никак не выжмете из стихов Асеева или Ушакова: поэтическое мироощущение. Он не только мастер, не только версификатор. Но элементы мироощущения так неотчетливы, так разрозненны, так придавлены техникой и материалом, но голос так форсирован, так театрален жест, так приподнята риторика, но так явно скрестились в поэте — через Мандельштама и Пастернака — линии обеих школ, что сомнения не остается: перед нами все тот же лефо-акмеизм.

Поэзию захватывает быстрое обесцвечивание. Словно реактив, уничтожающий окраску, пробирается все дальше нивеллирующая работа лефо-акмеизма. Самые задушевные и тонкие поэты падают его жертвой. Я перестаю узнавать голос Светлова. Да, он пишет гораздо чище, исчезает еврейская неправильность его оборотов. Он европеизируется, приобретает самоуверенность и лоск. Он резонерствует и снисходительно острит. Но разве за это любим мы тонкую графику его стихов? Он сделает стихотворный фельетон не хуже Асеева. Он зарифмует любую газетную тему. Кое-кого это приведет в умиление: вот, мол, как растет Светлов! Скоро, пожалуй, догонит Саянова! Я же вижу в этом только оскудение поэта, потому что все беднеет подоснова поэзии, мирочувствование, — и им движет уже не внутренняя потребность выявить себя, а внешний толчок, заказ. И защитный мундир лефо-акмеизма, который он одевает, символизирует формалистскую деградацию его творчества, постепенное превращение поэзии в версификаторство.

Налет парнасства покрывает и последние стихи Багрицкого. Лефо-акме-

низм обесцвечивает не только сложившихся поэтов, но захлестывает и молодежь: Гусева, Уральского, Цвелева, Митрейкина. Он повсюду, он пресыщается с каждой журнальной страницы и газетного листа. Это — не художественный стиль, накладывающий свой отпечаток и на крупную индивидуальность, но не стирающий ее, ибо стиль означает нечто большее, чем совокупность приемов. Это — некое безличное умение жонглировать стихом, некая обязательная сумма прописной оригинальности и эксцентризма. Она стирает всякие различия и на все лица накладывает один и тот же безжизненный грим. Это — создание людей, сознательно оторвавших поэзию от мирочувствования или запрятавших его так далеко, что только временами и нечаянно оно прорывается. Теоретики шахматной игры говорят о ничейной смерти, грозящей шахматам. Вот такая же ничейная, лефо-акмеистическая смерть угрожает нашей поэзии, скверная постыдная смерть от имитации, формализма и бессилия.

Читатель. Я думаю, что вы хватили через край. Ибо, если бы вы были правы, то вы бы очутились в довольно затруднительном положении. Хорошо. Лефо-акмеизм — выветривание поэзии или обесцвечивание ее. Лефо-акмеизм быстро распространяется. Чем же об'яснить такое бурное распространение его? Почему поэзия так легко обесцвечивается, так поспешно идет к своей гибели?

Критик. Вопрос этот не столь труден, как вы думаете. Я на него уже в сущности ответил. Лефо-акмеизм так быстро проникает к нам потому, что в нашей поэзии—отрыв творчества от мирочувствования, или, что то же, творчество заменено мастерством. Лефо-акмеизм дает лучшее, наиболее соответственное выражение этой неполноценной, урезанной поэзии. Правда, такой ответ ведет за собой новый вопрос: отчего же происходит у нас этот отрыв? Но на него я постараюсь вам ответить несколько позже. Впрочем, насколько я заметил, ваш вопрос носил в значительной мере риторический характер и означал несогласие либо с моей квалификацией лефо акмеизма, либо с утверждением о его распространенности.

Читатель. Да, если хотите. Я не оспариваю вашу квалификацию, но я сомневаюсь, чтобы наша поэзия была сплошь пропитана этим ядом и чтоб настоящее ее представлялось таким безнадежным.

Критик. От вас, так решительно разделавшегося с поэзией еще в начале нашего разговора, я меньше всего ожидал подобного возражения. Ну, конечно, вы правы: у нас не только света, что в лефо-акмеистском окошке. Есть еще романтики, конструктивисты...

Читатель. Вот-вот.

Критик. Погодите радоваться... Романтики? Но это те же Светлов, Багрицкий плюс несколько молодых поэтов. Я сам еще недавно с большим вниманием следил за их поэтической перекличкой. Я полагал, что их путь интересен и направление хорошо выбрано. Я, правда, не думал, чтоб путь этот стал столбовой дорогой поэзии, но ведь в поэзии привлекательны не одни столбовые дороги. Имел ли я право верить? Да, имел. Романтики не только обещали, они дали книги, которые надолго останутся: «Ночные встречи», «Юго-запад». Мало того, я думаю и сейчас, что их путь нужен и хорош. Но я не вижу, чтоб они шли по нему. Они свернули в сторону. Их перекличка затихла. Разве можно теперь назвать романтиком Светлова? Он ступил на торную тропу сов-формализма, и вот уже готов туда последовать за ним Багрицкий. От романтизма у них остались мотивы гражданской войны. Но они у них превращаются в инерцию прошлого, а не в действенную силу. Да и может ли школа об'единяться на этом? Вот почему для меня ясно, что эта группа либо уже увяла, либо только развернется в нескором будущем.

Конструктивисты? Они, конечно, определеннее, и их нельзя включить в общий лефо-акмеистский итог. Но здесь начинается целая серия «но». Прежде всего «но» количественное. Много ли этих конструктивистов? По существу

всего два: Сельвинский и Зелинский. Вера Инбер перестала писать стихи, да никогда настоящей конструктивисткой и не была. Багрицкий — романтик, начавший линять. Адуев и Луговской перепевают Сельвинского прошлых лет: один бойко и старательно, как первый ученик, другой—с лефо-акмеистской театральной грацией. В лице Луговского конструктивизм перерождается в сов-парнасство, в лице Адуева он запоздало твердит зады. Да и сам Сельвинский, автор «Командарма», не является уже больше правоверным конструктивистом, он перерос рамки своей школы. Таким образом, конструктивистов-поэтов в чистом виде в природе не существует. Историческая миссия представлять ортодоксальный конструктивизм возложена на Корнелия Зелинского с его статьями фасона шимми. Один, можно сказать, конструктивист, да и тот теоретик!

Так количественное «но» переходит в качественное. Конечно, я понимаю, что количество не является еще решающим моментом, так же, как и эмпирическое неполное осуществление принципов в практике. Положения, ценные сами по себе, отнюдь не скидываются со счетов тем обстоятельством, что их в данный момент разделяют только единицы, да и те не умеют их полностью реализовать на деле. У конструктивистов есть своя философия и поэтика. Может быть, в них и заключен динамит, который взорвет застылость нашей поэзии? Вот здесь-то «но» акцентируется с наибольшей силой.

Поэтический кодекс конструктивистов несложен и отчетлив. В его положениях нет ничего существенно нового. Нова только их комбинация и та настойчивость, с которой они выдвигаются, как необходимые и общеобязательные истины искусства. Возьмите «локальный метод», принцип, который всеми конструктивистами выполняется с максимальной последовательностью и постоянством, т. е. подбор образов и эпитетов «перышко к перышку», в зависимости от локальной окраски темы. Его применяли уже давно. У Мицкевича—Пушкина вы найдете сравнение деревенской красавицы со сметаной и котенком у печки. Леонид Андреев уподобит музыкантов инструментам, на которых они играют. Французский прозаик скажет про мясника, что он красен, как его измазанный кровью фартук. Все это законно и уместно, как частный метод, как один из многочисленных видов сравнений, не претендующий на монополию. Все это никуда не годится, как метод генеральный, подчиняющий себе остальные, как правило, как система. У Веры Инбер приморский город лежит как огромная рыба. В данном контексте это выразительно. Но если каждый раз, описывая порт, берег, море, мы будем прибегать к языку морских эпитетов и метафор, то это превратится в скучный рационалистический педантизм. Природа не «конструктивна». Она не знает локального метода. Ее сходства неожиданны и разнообразны. Законы контрастных ассоциаций в нас, быть может, сильнее законов ассоциаций по смежности. Поэзия это уже отметила тогда, когда поле ржи сравнила с морем, — образ, который нам кажется теперь банальным. Скрипач не обязан напоминать скрипку, мясник—сходствовать с тушей, крестьянин—иметь ржаные волосы и васильковые глаза, матрос — мускулы, как канаты, и пахнуть солью. Правило в чистом виде нас не интересует. Для того, чтобы оно нас заинтересовало, нужно, чтобы явление хотя бы в одном пункте отклонилось от нормы. Локальный метод мы воспринимаем, как искусственность, как насилие над правдой, как схему или как фокус. Читатель готов подчиниться художнику, но он не хочет, чтобы его вели за руку, как ребенка. Подбирая образы по локальному принципу, поэт неизбежно должен притти к натянутым сравнениям. Ведь он исходит не из действительных сходств вещей, а из вне их лежащего задания. Система его образов не создается также единством настроения, оправдывающим величайшие деформации вещей, делая их знаками внутреннего мира художника. Когда мы в «Колыбельной» читаем:

«Ночь идет на мягких лапах, дышит, как медведь», мы приемлем этот образ, хотя он, быть может, выражает не более, как элементарную ассоциацию: ребенок — игрушка. Мы приемлем его потому, что своими боковыми связями он будит в нас неясные и могучие ощущения детства. Но когда дальше комсомолец, получив письмо о смерти матери, «бледнеет, как бумага, смутный, как печать», мы отчетливо чувствуем натянутость и фальшь, мы видим, что сравнение с бумагой и печатью выросло не из эмоционального тона стихотворения, не из необходимости развития темы, а из рассудочного стремления выдержать локальный принцип. Мир не укладывается в деревянный ящик локального метода. Поэт заставляет нашу фантазию итти по узкой дорожке. Повторяю, нас ведут за руку и мы не должны глядеть по сторонам. Оскудевает эмоциональная подпочва поэзии, ее ассоциативный фонд. Из всего богатства ассоциаций на нашу долю достаются однообразные, сухие сопоставления, подобранные по головному плану. Да, локальный метод плох не только потому, что он несостоятелен, как м е т о д, но и потому, что он свидетельствует о тенденции конструктивистов строить искусство чисто рационалистически.

Я не буду останавливаться на тактовике, который представляется конструктивистам каким-то синтетическим размером, изобретенным ими и открывающим перед поэзией необычайно широкие перспективы. Я думаю, что спорить о нем не стоит. Является ли «паузник» частным случаем тактовика, как утверждают одни, или тактовик — частным случаем «паузника», как полагают другие, — в обоих случаях мы не имеем ничего принципиально нового. Тактовик начисто сводится к дольнику, — и все его хваленое разнообразие есть разнообразие дольника, давно уже вошедшего в литературный обиход. Интереснее другое положение конструктивистов: о приближении поэзии к прозе.

Они проделали в этом направлении очень много. Они продолжили ввод в стихи деловой речи, начатый еще футуристами, и продолжили в гораздо более широком масштабе. Они вернулись к традициям Байрона и Пушкина, возродив стихотворный роман. Они перенесли в поэзию быт с его мелочной детализацией, они развернули типаж, пользуясь здесь не только средствами натуралистической прозы, но и подражая приемам кино. Вместе с обликом героя они передавали и его речевой стиль, его ругательства, его выговор, его заикание. Психологические экскурсы они комбинировали с элементами буффонады. Целые главы отводились под политические споры, публицистику, статистические данные, прейскуранты цен. Их ориентация была не столько на Пушкина, сколько на Золя. И я вовсе не хочу сказать, что это плохо. «Улялаевщина» — одно из самых сильных произведений советской поэзии. Но, обратите внимание, следующая вещь, написанная в тех же принципах, не удалась: «Пушторг». Не только потому, что она слишком грузно орнаментирована, словесно тяжела, читается с трудом и мукой, но и потому, что дальнейшее развитие принципа приближения поэзии к прозе заводит поэзию в тупик. В самом деле. Ведь у «Пушторга» должны были бы быть все преимущества по сравнению с «Улялаевщиной». Идея, положенная в его основу, гораздо отчетливее и глубже трактована: в «Улялаевщине» рассуждения насчет медного чайника и техники, в которых идейная соль эпопеи, сделаны довольно-таки наивно и очень мало значат. Ее спасает непосредственная сила изобразительности. Но «Пушторг» не только умнее «Улялаевщины»: его положения вырастают до подлинного драматизма; его типаж очерчен с большой резкостью, а что касается перегруженности, то и «Улялаевщина» от нее далеко не свободна. Почему же именно «Пушторг» знаменует собой неудачу? Потому что в «Улялаевщине» специфичность стихотворной формы оправдана, а в «Пушторге» нет. Здесь Сельвинский пользуется приемами прозы гораздо шире и последовательнее. Если «деловая» и публицистическая речь вклинивается в «Улялаевщине» пятнами, то в «Пуш-

торге» она—основной строительный материал. Сельвинский берет его всерьез. Его перечень пушных товаров длинен и сух. Его статистические таблицы вставлены в строфу с той же безулыбочной сугубой всамделишностью, с какой бы их вставил в текст своего исследования понаторевший экономист. Но стихотворная форма условнее прозаической. Золя мог подробно писать о биржевых операциях, и читатель воспринимал эти страницы так же, как воспринял бы их в специальной статье, т. е. по существу, а не как формальный трюк. Писатель-натуралист может ввести в свой роман статистические выкладки, и они будут «звучать» всерьез. Вы скажете, что этим он только испортит свой роман? Предположим даже, что так. Пусть ему не надо было брать это оружие в свои руки, но все-таки оружие его стреляет. В руках поэта револьвер превращается в пугач. Желая прорвать условность поэзии, он делает условным то орудие, посредством которого прорывает. Поэзия мстит за нарушение своей природы. То, что было взято как всамделишное, она превращает в игру. Происходит возмущение материала. Он вырывается из рук поэта. Он становится кверху ногами. Он насмехается над своим господином. Перечни Сельвинского приобретают комическую окраску расшика и действительное значение имеют лишь в той мере, в какой создают некое своеобразное звучанно. Его статистические таблицы лишены реального смысла, их нельзя прочесть. Для читателя они остаются только фокусом, только остроумным приемом. Такова и действительная их функция. Силой вещей весь этот материал делается декоративным, либо получает пародийный оттенок. Стихотворная форма не только теряет свою оправданность: она обращается против поэта. Вы укажете на Пушкина, писавшего в «Евгении Онегине» о политической экономии и Адаме Смите? Но Пушкин являет как раз образец того, как можно удержаться на границе должного: он не соскальзывает на путь логических доказательств и не прибегает к научному языку и методологии. Если об Адаме Смите писал Сельвинский, он привел бы цифровые данные и стал бы с ним спорить по существу. Вы напомните мне, что в античной древности гекзаметрами излагались философские системы, а на Востоке в стихотворную форму облекались законы? Это значит, что когда-то стихи имели вне-художественные функции, которые ими уже давно потеряны. Современные Лукреции не знают мерной речи, и законы написаны внушительной прозой Уголовного Кодекса. Но и внутри искусства сфера поэзии суживается. Наше литературное сознание сейчас по преимуществу прозаическое. И если б я даже был неправ, говоря об условности поэзии, мстящей за себя превращением инородного материала в декоративный, если б даже приемы прозы могли быть перенесены в стихи полностью и всерьез, то все равно дело бы от этого мало изменилось. Мы должны были бы себя спросить: зачем же надо *было писать стихами, а не прозой*? Стихотворная форма уместна тогда, когда она выражает нечто большее или нечто иное, чем проза. Поэзия не в состоянии и не должна состязаться с прозой в специфической области последней, где та имеет все преимущества. Это все равно, что делать какую-нибудь вещь из дорогого материала только потому, что он дорог, или из неподатливого—только потому, что он неподатлив и на нем можно показать свою виртуозность, в то время как более дешевый и более податливый материал прочнее и лучше отвечает назначению. Когда мы видим вещь, нас не интересует вопрос, легко или трудно было ее сделать. Пусть трудно. От этого может выиграть достоинство художника, но не достоинство вещи. Т. е. это факт биографического, а не художественного значения. В конце концов, эти огромные романы в стихах — больше всего тур-де-форс, кунштюк, желание щегольнуть «поэтической мускулатурой». Если Сельвинский пробует свою мускулатуру на романе, то поэт поменьше пытается создать очерк в стихах. Но почему надо писать очерк стихами, когда это лучше, свободнее, экономнее и проще

достигается прозой? Форма теряет обязательность, а с нею смысл бытия. «Улялаевщину» нельзя было не написать стихами, а «Пушторг» можно и даже должно. Поэтому первая вещь удачна, несмотря на свои недостатки, а вторая неудачна, несмотря на свои достоинства.

Дальнейшая работа по приближению к прозе не сулит никаких перспектив. Предел того, что можно было в этом направлении достичь, не уничтожая специфичности стихотворной формы и не делая ее тем самым излишней, представляет «Улялаевщина». «Пушторг» его уже перешагнул. Остается либо перейти к прямой, уже не рифмованной прозе, либо топтаться на одном месте, указанном «Улялаевщиной», что и делают ученики и подражатели Сельвинского, либо искать какого-то выхода, не покидая границ поэзии. Я думаю, что это бессознательно понял и Сельвинский, написав после «Пушторга» «Командарм». Он и здесь не отступает от своего привычного натуралистического языка: заикается Окопный, фольклорствует Бой, пошло острит конферансье. Он и здесь выжимает тяжести и ходит неуклюжей походкой борца, у которого слишком развит плечевой пояс. Он и здесь старательно имитирует деловую речь приказов и любуется ею, как Мейерхольд «Земли дыбом» автомобилем. Но это — не главное, это не выпирает вперед, как в прежних вещах, это — только расцветка. Действие перенесено внутрь — и напряженность внутреннего действия сама требует стиха, который, как резонатор, усиливает выразительность слога и интенсивность эмоций, и звуком и ритмом досказывает то, что недосказано словом и мыслью. Сельвинский здесь вырывается из-под гипноза языкового натурализма и плоскостной характерографии. «Командарм» — вещь подлинно трагедийная, ибо в ней «во весь рост» противопоставлены друг другу два мирочувствования, трагический конфликт между которыми неизбежен. Этим самым Сельвинский далеко перерастает рамки своей школы, неспособной на трагедийное обобщение. Я бы сказал, что конструктивизм достаточно оправдан тем, что он дал «Командарма», если б он имел хотя какое-нибудь отношение к росту Сельвинского. И если я верю в Сельвинского (каюсь, после «Пушторга» эта вера во мне, было, поколебалась), то я не верю в конструктивизм как формальную систему, как поэтику. Не верю потому, что у него слишком короткий прицел. Эта система годна на год, на два, но после трех поэм она изнашивается. Это — камерная поэтика с камерной перспективой.

Читатель. Вы недооцениваете конструктивизм и переоцениваете Сельвинского. Первое я вам прощаю: я сам небольшой любитель конструктивизма. Я хочу только указать, что конструктивизм, очевидно, не так мало значит, раз вы о нем столько говорите: тут какая-то неувязка. Но со вторым никак согласиться не могу. Вы скинули со счетов Асеева, Маяковского, Антокольского, Светлова и множество других. Почему вы сделали исключение для Сельвинского? Потому ли, что его стихи часто напоминают ребусы, для расшифровки которых приходится долго и тщетно ломать голову? Если так хотят развивать мои умственные способности, то для этого есть другие, более целесообразные, способы. Если же читатель осужден за некие неведомые грехи на каторжные работы, то давайте принудим для каторжника какие-нибудь общеполезные занятия. Достоевский говорит, что в каторжной работе самое мучительное — сознание ее бесцельности. И я далеко не уверен, что некоторые стихотворения Сельвинского могут быть вообще расшифрованы. Недавно я как-то прочел, что крестьяне, которым были для опыта зачитаны Сельвинский и Пастернак, об'явили их жуликами и сумасшедшими и «остервились» до такой степени, что потребовали автора непонятных стихов предать суду, взыскать с него суммы, потраченные на гонарар и печать, и конфисковать все его имущество. Это напечатано в «Молодой Гвардии», и как раз в том номере, где помещен восхитивший вас «Командарм». Вы скажете, что здесь перед нами — проявление культурной отстало-

сти и что мирные крестьян, только-только начинающих знакомиться с литературой, не может являться аргументом? Согласен, они отстали. Но ведь в Сельвинском и Пастернаке часто не в состоянии разобраться и квалифицированный читатель, и, кроме того, те же крестьяне спокойно и с удовольствием выслушивали Блока с его тонкой лирикой. Не было ли в их возмущении законного протеста против того, что поэзия забывает свою социально коммуникативную функцию, свою роль непосредственного эмоционального языка, об'единяющего в вызываемом им чувстве массы людей, не было ли негодования на штукарство, фокусничество, техницизм? Т. е. в основе их суждений, может быть, лежала правильная, хоть и неосознанная мысль, что подлинная поэзия — всегда проста, естественна и доступна, что настоящее искусство избегает жонглерства и трюков.

И я приветствую решительных крестьян Топорова! Я, читатель, вынужденный условностями общественного литературного мнения думать, что это я — глуп и ограничен, раз «глубокие» истины поэта не доходят до моего сознания и мне начинает казаться, что их нет. Но я подымаю бунт. Я не хочу больше терпеть. Я не хочу больше верить, что черное — бело, когда мои глаза говорят мне обратное. Я открываю Сельвинского и читаю: «Но даже образ не без математик». Почему: математик, а не математики? Общность науки, ее свойство, как особой отрасли знания, определяется именно единственным числом, а множественное указывает на разность дисциплин, заключенных под общим названием. А ведь автор хотел сказать не больше того, что образ его математичен. Дальше: «Батареям, в случае выезда конниц, открыть по своим же огонь». Или: «Нет у меня никаких политик». Почему: политик, а не политики? Почему: конниц, а не конницы? Ведь конница—понятие собирательное. Для чего эти натяжки, входящие в систему? Это плановое уродование закономерностей языка? И меня хотят уверить, что человек, который с таким трудом и так неловко преодолевает сопротивление речевого материала, является великим мастером?! Но тогда об'ясните мне, ради бога, что значат стихи: «Уверен ли ты, что сам избежал этих дыр ситца?» и оцените всю несравненную логику и точность этого оборота! А «мысль игральных карт» — вместо мыслей картежника! А «шумящая в масле глазунья омлета», это удивительное блюдо, эта поваренная квадратура круга, ибо—увы!— глазунья и омлет—разные вещи! Сельвинский свято блюдет право на поэтическую вольность. Но вольность существует лишь тогда, когда она—исключение. У Сельвинского же она—правило, а норма — исключение. Он не то что свободно обращается с языком и тот покорно уступает его власти,—он старается взять его насилием. Но власти над языком так же нельзя добиться голым насилием, как нельзя насилием добиться любви. Сельвинский играет в гения. Это—трудная и опасная игра. Он примеряет одежду не по себе. Шекспировские шуты не просто забавны, но и умны, его конферансье только пошл и глуп. Одного героя он заставляет заикаться, другого—грасировать, третьего—говорить на «о», четвертого сыпать прибаутками. Это значит заменять средства внутренней характеристики внешними приметами. У другого писателя герой бы просто заикался. У Сельвинского он произносит странное слово: «тваж». Такое могло притти в голову только Сельвинскому.

Да, он изобретателен. В его трагедию вставлено несколько интермедий, введены конферансье, чтец и хор, последние сцены симметрически повторяют первые, и один и тот же символический сонет звучит в начале и конце. Его герой скандирует в телефон длинный монолог в стихах и стихами же на митинге ругаются и голосуют солдаты. В каждой строфе какой-нибудь тур-де-форс! В каждой сцене какой-нибудь аттракцион! Какая бездна изобретательности! Вы вспоминаете оперы Мейербера с их пышностью и эффектами. Но тут вам приходит мысль, что большое искусство редко бывает

изобретательным на эффекты. Пред вами встает непритязательная простота пушкинских драм. И шумная эксцентрика Сельвинского заставляет — в силу контраста — еще отчетливее выступить в вашем сознании старое правило художества: добиваться максимального результата минимальными средствами.

Критик. Друг мой! Такие общие положения хороши лишь на бумаге. В действительности вовсе не так уж просто определить, выполнил ли их художник и насколько. Но я не собираюсь брать Сельвинского под безусловную защиту. Меня самого первые сцены «Командарма» неприятно поразили своей искусственностью, и только потом, когда я вчитался в трагедию, для меня стала ясна ее подлинная значительность. К вашим критическим замечаниям я мог бы прибавить немало своих. Я далеко не поклонник всех этих «мандолл» и «бомбардов», этих усечений, ущемлений, искривлений и прочих произвольных манипуляций, производимых над словом. Но ведь вопрос решается не ими. «Командарм» — первая настоящая трагедия, созданная советской литературой. Вас поразила изобретательность автора, в которой вы подозреваете нечто трюковое, фокусническое, низкопробное. Но вы не правы. Ее следует сравнить с изобретательностью композитора, который одну и ту же тему заставляет каждый раз звучать совершенно по-иному и сонатную форму строит из контрастов, сплетения и варьирования двух тем. Да, построение «Командарма» музыкально; отсюда и симметричность повторений, и проходящие через все действие лейтмотивы, и даже хор и чтец. Как и симфония, трагедия Сельвинского построена на тематической борьбе. Первая тема вступает с сонетом. Мечтатель и индивидуалист Оконный входит в трагедию с элегической торжественностью, под легкий, насмешливый аккомпанемент заикания и начальственных выговоров. Он жаждет подвига и славы. Мечтатель становится действенником, но надтреснутым, таящим в себе внутренний изъян. Он поможет революции, он скинет тупицу Чуба, он возьмет Белоярск и покажет, на что способен конторщик, осужденный на прозябание. И вот он на гребне успеха, и тут его героика раскалывается. Тема расширяется до последней границы. «Часть огромнее целого». Мир, заключенный в личности, нисколько не менее ценен, чем вселенная. Нельзя принести в жертву даже умирающего. Здесь и оправдание героизма и осуждение его: абсолютная ценность каждой личности и абсолютное право делать то, что я хочу. Доведенный до предела индивидуализм сам себя парализует. Тема, окрашенная ужасом и жалостью, звучит все громче. Она незаметно прокрадывается в заостренное иронией меланхолическое allegretto песенки часового:

> На свете жили братики,
> Выделывали хром.
> Один из них горбатенький,
> Другой же просто хром.

И вдруг оно превращается в страшное, фантастическое скерцо интермедии, где гремят ярость и тоска. Здесь пример чисто музыкального использования той же темы в другой тональности и другом темпе. Пламя песенки раздувается до пожара. Ее ирония переходит в чудовищный гротеск. Ее герои — горбун и хромец — становятся символами. Они несутся во главе боя, и война уравнивает их с прочими, оторвав у горбатого горб и у хромого — ноги. Это — война, увиденная глазами Оконного: она всегда несправедлива, ибо приносит в жертву целому личность с ее миром, равноценным вселенной. Интермедия насквозь литературна. Она, вероятно, не сможет звучать со сцены. Но в ней — апогей трагедии. И введение хора с его тяжелыми аккордами стихов, комментирующих то, что происходит скрыто от зрителя, оправдано так же, как и торжественно-риторический речитатив чтеца. Гибель Оконного предсказана, она неизбежна в силу внутренних противоречий. Мы ее ожидаем и не удивляемся, когда она наступает.

С первой темой, патетической и надтреснутой, забирающейся все выше и выше, вступает в борьбу вторая — широкая, резко инструментованная, с

«варварскими» гармониями фольклора и диалектизмов. Она появляется в сцене митинга, ее носитель—весь противоречивый коллектив армии, но самосознания она достигает у Чуба. Если здесь героика, то лишенная позы и простая, как необходимость. В ее дневном свете гаснут бенгальские огни Оконного. Белоярск взят, но его нельзя было взять,—и его отдают. И вот начинается бесконечный подсчет убитых, страшный счет издержек «романтизма» Оконного, его права на жалость и мечту. И под тяжелую капель этого счета наплывает тема начала, но разбитая, на костылях удвоенной иронии, и снова, но уже издевательски, звучит пышный сонет.

Конечно, все это можно перевести на язык привычных терминов—столкновение индивидуалистической героики с революционной необходимостью — и сказать: что же тут особенного? Эта тема бралась десятки раз нашими писателями. Да, бралась. Но только Сельвинскому удалось довести ее до трагедийной выразительности и глубины. У другого писателя Оконный превратился бы в ординарного авантюриста, и центр тяжести был бы перенесен на роман с машинисткой, это неизбежное украшение военной беллетристики. Все было бы очень читабельно и пикантно и даже, быть может, идеологически более выдержано, но плоско. Я имею право так говорить, потому что пред нами—не один пример подобной подачи темы под пикантным соусом. У Сельвинского сюжет опереточен—буффонада с переодеваниями,—но под этой опереточностью развернуты до конца два мирочувствования, из столкновения которых слагается трагедия. Столкновение неизбежно, как неизбежна и гибель Оконного. Трагедия Сельвинского безукоризненно логична: данные, легшие в ее основу, не допускают другого решения.

Еще раз: «Командармом» Сельвинский порывает со своей школой, хотя, может быть, и сам этого не знает. Обнаженность и человечный трагизм его пьесы идут вразрез с самодовольным мещанством конструктивизма, с его рационалистическим пониманием искусства, как мастерства (и только), с их культом техники и комфорта. И потому успех «Командарма» — поражение конструктивизма.

Читатель. Вы говорите о конструктивизме так, как-будто его несостоятельность уже непреложно доказана. Но ведь вы останавливались только на его поэтике. Это еще не решает вопроса. Вы сами указывали на важность «философии» школы в деле ее оценки. Но о «философии» конструктивизма вы не сказали ни слова. Вы прошли мимо ее общественного смысла, а тем самым упустили из виду социальный облик группы. Вы хотите открыть дверь, не имея ключа.

Критик. Но если дверь открыта, о мой придирчивый оппонент! Разве в поэтике не дан уже «социальный смысл»? Разве в ее рационализме у конструктивистов, в ее техницистическом эстетстве не заключена уже выжимка спецоедства? Философия конструктивизма? Но она получила на редкость единодушную оценку- и потому я счел себя в праве не задерживаться на общепризнанных истинах. Конструктивизм выступает от имени советской интеллигенции. Но интеллигенция ему мандата не давала. Да и плох тот поэт, который говорит не от имени всего передового, что есть в человечестве, а сам себе отгораживает уголочек: «Я — спец, я — интеллигент. Изымите из моего ведения острые вопросы, я их предоставляю пролетарским поэтам, я же залезу в свою нору, чтобы мечтать о западной технике и подпевать вам оттуда». Но нельзя подпевать. Надо петь или молчать. Руссо и Лессинг — идеологи буржуазии. Но они писали, убежденные в том, что выражают передовые идеи человечества в целом,—и это придавало их писаниям такую силу и убедительность. И они были правы: история в тот момент шла вперед их идеями. Но пусть бы это была и фикция. Без такой фикции поэзия — не делание стихов, которое возможно при всяких условиях и всякой погоде, а поэзия—немыслима. Дешево стоит поэт, который этого не думает и не хочет. Он может ошибаться, принимать ограниченные идеи своего

класса за голос человечества, но он не может выражать их тогда, когда понял их ограниченность. Когда же его внутреннее убеждение совпадает с действительностью, его поэзия получает непреодолимую мощь. И если в нашу эпоху интересы человечества в целом, интересы его огромного угнетаемого большинства совпадают с интересами пролетариата, если ведущими идеями истории являются уничтожение классов, наемного рабства, эксплоатации, построение бесклассового, социалистического, истинно человеческого общества, то поэт, называющий себя поэтом современности, не может отгораживаться от них на том основании, что он—певец технической интеллигенции. А будущее уже рассудит, как он выражал эти идеи: как интеллигент или как пролетарий? Но с историей нельзя играть в прятки.

Конструктивизм представляет не интеллигенцию, а спецовство. В его стремлении к технике скрыто стремление к комфорту. Его западнический пиджачок из очень легкого материала. Это скорее пижама. Вы меня спрашивали, почему я столько внимания уделяю конструктивизму, если так невысоко его ставлю? О, здесь еще нет невольной дани признания! Но на фоне распада наших поэтических школ эта молодая, очень энергично работающая группа, берущая свои позиции не столько с бою, сколько молекулярным проникновением, тихой сапой, невольно останавливает вас. Вы хотите проверить ее право на экспансию, вы хотите узнать, что она с собой несет. И вы видите лишь ряд формальных положений, никуда не ведущих или ведущих в тупик, и манерно выраженную, кастрированную философию, тянущую в подполье спецовства. Оговариваюсь: я имею в виду не отдельных поэтов, а школу, как систему взглядов. Школу, которая повторяет Сельвинского времен «Рекордов» и самодовольно раскрывается в щеголеватых статьях Зелинского. Она — лишнее и самое сильное доказательство общего кризиса в поэзии.

Читатель. Вы значит вовсе не видите просвета?

Критик. Нет, почему же? Просветы есть. Я уже говорил о Сельвинском. Я могу указать на Пастернака, поэта огромной оригинальности и обостренного восприятия мира, которое по отношению к впечатлениям бытия является тем же, чем светочувствительность солей серебра по отношению к свету.

Правда, его мирочувствование, пробивающееся сквозь нечаянный и намеренный хаос его ассоциаций, остановилось на стадии мироощущения. Поэзия его первых книг, наложившая такой глубокий отпечаток на литературу, как-будто исчерпала возможности своего воздействия: на ее темы уже написаны все мыслимые вариации. Его «1905 год», протянутый в современность, как рука для пожатья, не останется ли одинокой страницей без продолжения? Куда пойдет развитие его творчества: по выбитым ли следам «Сестры моей жизни» или по нерасчищенному еще, смелому и трудному пути «Лейтенанта Шмита»? Не знаю и не берусь угадать. Но и теперь этот порывистый схоласт и анатом ощущений, самый своевольный и методический из лириков, строящий свои стихи по тайному коду ему одному известного контрапункта, этот человек, воскрешающий в наши дни архаический образ традиционного поэта со всеми его противоречиями и и эмоциональной интуитивностью, куда привлекательнее наших версификаторов с их обдуманной и расчисленной стихотворной продукцией. От тех заведомо нечего ждать. Творчество же Пастернака, переключившись, способно стать большой движущей силой.

Я бы мог еще прибавить сюда несколько молодых имен. Но изменит ли это что-нибудь в развернувшейся перед нами картине? Просветы лишь резче оттеняют хмурую серость туч. Кризис поэзии не только в том, что она не находит новых дорог, но и в том, что падает ее удельный вес, ее значение. Теряя свои основные функции непосредственно эмоционального воздействия, а, стало быть, и организации эмоций, свою лирическую раскрытость и заразительность, поэзия не приобрела и новых функций. Она не стала ла-

бораторией по выработке приемов, как мечтали лефы, не вошла в быт и в производство. И, соответственно падению ее роли, мы видели все больший отход поэтов к прозе. Одни вовсе забросили стихи, как Мандельштам, Мар. Шагинян, Вера Инбер. Другие, как Клычков, Орешин, Ник. Тихонов, Пастернак, Асеев, отдают прозе все большее предпочтение. К ней переходит даже такой неизменный поборник стихотворной формы, как Маяковский. Да и теория конструктивистов о приближении поэзии к прозе, не продиктована ли она этим отмиранием функций поэзии и стремленьем компенсировать потерю старых владений вторжением на заповедную территорию прозы? Вот ответ на ваши слова, будто кризиса нет, потому что нет его осознания. Вы видите, что осознание кризиса вовсе не чуждо современной поэзии, хотя, быть может, оно и недостаточно отчетливо и подспудно.

Но мне это условие и вообще-то представляется второстепенным. Пути кончились, поэзия уперлась в стену. Вот главное. А за фактом необходимо придет и его осмысление. Вы скажете: если стена — значит безнадежность? У стены можно топтаться. Можно вернуться по пройденной дороге вспять. Но через стену можно и перелезть.

Читатель. Вы, кажется, вообразили, что перед нами циркач или полицейский. Но если поэзия упорно топчется на одном месте, откуда вы знаете, что у нее достанет желания и ловкости сделать прыжок?

Критик. Я не знаю. Я предполагаю. Я не могу сказать вам с точностью, сколько времени продолжится нынешний кризис. Да и никто этого не скажет. Но надо быть последовательным. Либо кризис служит выражением начавшегося отмирания поэзии, потерявшей свой смысл в современных условиях, и даже шире: отмирания искусства, которое, по словам Ганов и Чужаков, — опиум для народа. Либо кризис — временное явление. Первая концепция опиралась бы на Леф. Его фактография есть установка на упичтожение специфичности искусства. Но ни одному из его теоретиков не удалось доказать, что эта перспектива закономерна и основана на чем-либо ином, кроме самочувствия авторов, порывающих с искусством потому, что им нечего сказать. Евнуху не трудно отказаться от женитьбы. У меня нет оснований видеть в теперешнем кризисе нечто большее, чем кризис, который не может тянуться неопределенно долго. Правда, вы мне указали на пример Германии конца прошлого века, индустриализирующейся страны, в которой несколько десятилетий продолжался упадок литературы. Вы в праве отметить сходство условий, а, стало быть, и вероятное сходство результатов. Но аналогия была бы очень неполной. В грюндерской Германии рост промышленности сопровождался чрезвычайной специализацией человека. Биржа, лаборатория, фабрика делали его односторонней функцией какого-либо занятия. При огромном росте цивилизации происходил гораздо более слабый рост культуры. Стране, бешено наживавшейся на одном полюсе и быстро пролетаризировавшейся на другом, было не до искусства. У нас тоже происходит процесс специализации. Но он компенсируется вовлечением рабочего, ученого, служащего в общественность. Человек у нас не только функция, но и субъект, не только часть, но и участник в большом общем деле. Поэтому он разностороннее, богаче, у него шире интересы. Создается иной тип человека, для которого уже не безразлично искусство. Вот почему я не могу считать, что будущее нашей поэзии безнадежно.

Читатель. Но почему так мрачно настоящее? Почему поэзия охвачена кризисом? Вы обо всем говорите в чрезвычайно общей форме. Для вас поэзия — как бы единое целое. Вы не хотите корней и пестроту политической окраски. Для вас она движется одними ки. Для вас она движется одними законами. Между тем она — не единство, а многообразие, и каждая часть ее имеет свою причинность. И главное: вы констатируете, вы надеетесь, вы полагаете, что выход существует и будет найден. Но ведь мало констатировать факт и беспредметно надеяться.

Надо указать этот выход. Где же он? В чем вы его видите?

Критик. Вы задали сразу столько вопросов, что я не знаю, на что и отвечать. Начну с того, что мне кажется основным. Первой и непосредственной причиной кризиса я считаю отрыв поэзии от мирочувствования. Упадок лирики, который так шумно приветствовали конструктивисты, есть ближайшее следствие такого разрыва. Но чем обусловлен самый разрыв? Это трудный вопрос, как трудно всякое конкретное социологическое об'яснение, и я вовсе не утверждаю, что сумею дать вам вполне обоснованную и четкую концепцию. Я вижу явление, которое недостаточно осознано и понято. Оно представляется мне чрезвычайно важным, и я хочу его подчеркнуть, хочу фиксировать на нем внимание.—ваше, читательское, в первую очередь, хотя и сильно подозреваю, что под вашей скромной внешностью таится непризнанный критик. В этой фиксации — смысл моих слов. Я не отказываюсь от решения, но я могу дать лишь его наметку, ибо вопрос только ставится. Поэзия оторвалась от мирочувствования. Это общий факт. Но у одних — он выражение их опустошенности, распада личности, идущего вслед за распадом класса, некогда господствовавшего и полноправного, или выражение их внутренней чуждости революции, на службу которой они отдают не свое творчество, а свое мастерство. Свое «тайное тайных» они прячут, не давая ему выхода в стихах. Лишенная эмоциональной глубины поэзия их формалистична и скудна. Это — перчатка, которая одевается на руку и которую можно с руки снять. Теория техницизма и социального заказа формулирует в терминах публицистики их об'ективное положение ремесленников, вынужденных работать на социально чуждого потребителя. У других разрыв сложнее. У них нет противоречия между природой творчества и его установкой, потому что установка не навязана им извне, силой обстоятельств, желанием приспособиться. Это — не осколки старой интеллигенции, а люди, выдвинутые революцией. Но они начали свою работу в то время, когда литература была заполнена перестраивавшимися на ходу формалистами. Прежнее представление о задачах и характере поэзии было разрушено, и молодежь ясно сознавала его непригодность. Но своего понимания она не сумела еще выработать. Она усвоила теории формалистов об искусстве, как ремесле и технике. Даже споря с ними, она перенимала их навыки, их практику. Как и те, она старалась сразу дать стандарт нового, перестроившегося человека в уже готовом виде. Это сообщило ее поэзии привкус рационализма и схематичности. Молодой поэт, гораздо более цельный и искренний, чем старый «мастер», все же неохотно допускал читателя дальше парадных комнат сознания, где все было в порядке и на месте. Ему не приходилось подделывать свой голос. Он говорил решительно и громко то, что думал и в чем был убежден. Но он ведь не только думал, но и чувствовал. И вот в сфере чувства у него было далеко не так благоустроено, как в первых парадных комнатах сознания. Это прорывалось наружу в те редкие минуты, когда поэт, рискуя своей репутацией, вводил читателя и дальше, вглубь своего «душевного» дома. Это не должно нас удивлять. Поэтическая молодежь не была одна. Под общей вывеской таились разнообразные социальные категории. Ряды пролетарской литературы давно пора пересмотреть. На ряду с выразителями пролетариата там немало и настоящих «попутчиков» — и кто знает, не составляют ли попутчики большинства? Сколько литературных паспортов пришлось ревизовать и переписать заново! Мелкий буржуа, не просто рядящийся в кожаную куртку пролетарского поэта, но глубоко убежденный, что он действительно таковым является, выходил из затруднения тем, что начисто отрезал область подспудных эмоций. Его поэзия оскудевала, становилась насквозь рассудочной. Но в аналогичном положении оказывался и тот пролетарский поэт, который придерживался принципа стандарта, показа готового человека не формирующегося и переделывающего свою при-

роду, а уже сформировавшегося и причесанного, как манекен в витрине магазина. Ему неоткуда было брать этого человека, кроме как из рассудка, потому что в себе становящемся он его не находил. И в обоих случаях урезанная поэзия не служила выражением целостного мирочувствования.

Таким образом разрыв, о котором я говорил, вызван в разных секторах литературы разными причинами, и вы видите, что мой тезис вовсе не предполагает взгляда на литературу как на нерасчлененное целое и игнорирования его социальных корней. Но в ваших возражениях есть и иная неправильность. Литература — не единая, сплошная масса. Однако, это не значит, что каждый ее сектор развивается совершенно независимо от других и что мы никогда, ни при каких условиях не можем говорить об ее общих чертах и тенденциях. Как ни различен социальный облик пролетарской, крестьянской и попутнической литературы — это все-таки не три разных литературы, отделенные друг от друга непроходимой стеной. Я не говорю уже о промежуточных типах писателей, служащих как бы мостком между основными группами. Но самый факт интенсивнейшего влияния одних литературных слоев на другие был бы необ'яснимым при предположении об абсолютной замкнутости. Пролетарский поэт Саянов гораздо ближе к лефовцу Асееву, чем к Безыменскому. Бросим разговоры о голой учебе мастерству. Мастерство неотделимо от идеологии. Чистого заимствования формы не бывает. Подражание говорит об известной внутренней близости. То, что Саянов вынужден подражать,—следствие его незрелости, но то, что он подражает именно Асееву, свидетельствует о какой-то родственной социальной установке. Могут возразить, что такой факт доказывает только, что Саянова неправильно причисляют к пролетарским поэтам, т. е., что принцип социальной классификации проводится у нас на практике произвольно и неточно, — значит надо просто тщательнее провести межи. Я не буду против этого спорить. Но нам-то приходится иметь дело не с идеальным пролетарским писателем, удовлетворяющим всем требованиям теоретического кодекса, а с тем реальным, который сейчас существует. И если мне завтра скажут, что Фадеев — попутчик, я спрошу: кого же тогда считать пролетарским писателем?

Я предвижу еще одно возражение. Кризис поэзии обозначился в последние два-три года. Между тем в его об'яснение я привожу общие причины, действовавшие на всем протяжении революции. Спрашивается, почему он не возник много раньше? Но если поэзия Безыменского, например, была рационалистична, то это не значит, что она в какой-то степени не отвечала потребностям времени. У нее было свое оправдание, свой исторический смысл. Но беда рационализма в том, что у него короткое дыхание. Он быстро выдыхается, заштамповывается и сереет. Его пути очень коротки, и поэту приходится проделывать все те же прогулки: взад и вперед, взад и вперед. Поэзия, оторванная от мирочувствования, бедна и не может не повторяться. Короткая дорога кончается — и вот снова бездорожье или бег на месте.

Где же выход из кризиса? Вы ждете от меня конкретных указаний, четких, как боевая диспозиция. Но кто вам сумеет их дать? Я могу ответить лишь общим положением. Если зло в разрыве между поэзией и мирочувствованием, то значит надо вновь соединить разорванные концы. Поэт должен ясно осознать, что он в тупике, задуматься над философией искусства, уяснить себе его место и характер, мастерство заменить творчеством. Всякое понимание искусства связано с ориентацией на определенный человеческий тип. Лефы, работающие на уничтожение искусства, имеют предпосылкой человека-машину, хорошо организованное и хорошо работающее существо, которое не видит ничего за пределами своей специальности, не задумывается над серьезными вопросами, в определенные часы стандартно смеется и стандартно совокупляется: идеальное мясо для фашизма. Удобное искусство конструктивистов рассчитано на человека с хоро-

шим пищеварением, энергичного дельца американской марки (о, конечно, «западника» с котелка до туфель!), ценящего комфорт и понимающего в нем толк, поклонника последнего крика моды и последнего слова техники, спеца по преимуществу и даже эстета спецовства. Мы же работаем во имя целостного человека, у которого большая часть личности не атрофирована за счет какой-нибудь одной способности, за человека, который умеет работать и умеет бороться, который не даст сесть себе на спину каким бы то ни было сверхлюдям и не опустится в болото комфортабельной обывательщины. Такому человеку не нужны календарные оды и равнодушное мастерство, он неизбежно потребует и создаст искусство творческое. И мы знаем, что история за нас, что именно такой человеческий тип выковывается в борьбе за социализм. И если полностью он возможен лишь при развернутом социализме, то черты его складываются уже сейчас. Вот что нам дает уверенность в преодолении самых жестоких кризисов. И я думаю, что на этот раз вы со мной согласитесь, мой мнимый и дружественный противник!

3. СОЦИАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА „ОТВЕРЖЕННЫХ" В. ГЮГО

Анатолий Виноградов

I

«Я родился под гром барабанов; ребенком я пил воду из медной каски отца» — писал о себе Гюго. Он родился в 1802 г., когда во Франции одновременно с ее великим писателем-революционером родилось также первое реакционное произведение французской литературы XIX века — «Гений христианства» Шатобриана [1]). Лозунги французской революции оставались лишь на фасадах правительственных зданий, страна еще именовалась республикой. Отец Виктора Гюго, офицер республиканских армий, был участником подавления вандейской контрреволюции, тем не менее, не задумываясь, пошел за армией Бонапарта, ставшего императором. Калейдоскопическая смена десятилетий вслед за реставрацией Бурбонов, семейный разлад, происшедший вследствие крайнего легитимизма матери и бонапартизма отца, помешали ясности ранних общественных симпатий молодого Гюго. В биографиях подробно изложена вся система общественно-политических и литературных воззрений первого периода. Его драматургический пафос и революционная романтика дают достаточно яркие материалы для его оценки. Для нас интересен тот эмоциональный и идеологический очаг, в котором разгорелся замысел того крупнейшего романа, с которым автор не расставался почти 20 лет.

Восемьдесят три года жизни для такой огромной рецептивной натуры, какой был Гюго, — это восприятие почти целого века европейской культуры, а если принять во внимание, что к моменту напечатания «Отверженных» сразу на девяти языках автору уже исполнилось 60 лет, то мы не можем не учесть всей эволюции, проделанной этим сложным, одновременно и восприимчивым и творческим мозгом. Обычная датировка начала работы над «Отверженными» называет 1846 год. Внешние обстоятельства этого года не таковы, чтобы их можно считать исходным моментом замысла. Это был год неурожая во Франции, голодный год для многих французских провинций, год, предшествующий банкетам мелкой буржуазии, стремившейся к получению избирательных прав, год ожесточенных

[1]) Через год появилось, однако, первое социалистическое произведение французской литературы — «Письма женевского гражданина» Сен-Симона (1803).

мансардных споров о социализме и, наконец, последний год перед выходом «Коммунистического Манифеста», но никаких внешних толчков, никаких острых возбуждений социальной и коллективистической тематики для такого романтика, каким всю жизнь оставался Гюго, еще не могло быть. Зарождение романа «Les Misérables» надо искать или раньше или позже обычной даты.

Наличие первых контуров и набросков большого романа и даже первую обрисовку героя «Отверженных» мы можем встретить на 29 году жизни Виктора Гюго. Это знаменитый 1831 год, год безработицы, год первого организованного выступления лионского пролетариата, год кровавой бойни, залившей шелковые штабели лионских мануфактур, отозвавшийся стачкой лотарингских шахтеров и баррикадными боями на улицах Парижа в 1832 году. Именно к этому времени относятся глубокие раздумья молодого поэта, тогда еще баловня судьбы, именно в эти годы написаны «Последний день смертника» и короткий, невероятно сильный, построенный на романтических антитезах рассказ о вынужденном преступлении и казни рабочего Клода Гёза,—самый ранний портрет атлетического каторжанина, вернувшегося с галер, Жана Вальжана.

Что представляла собою тогдашняя Франция и откуда возник социальный пафос молодого Гюго? Французская буржуазия, при последних Людовиках формировавшая общественные настроения, накоплявшая систему своей морали, систематизировавшая свои взгляды на права «способных людей», а за нею Наполеон I, создавший кодекс, обеспечивающий свободное соревнование там, где раньше житейские блага были обеспечены родовой привилегией, — все это вместе взятое уничтожило феодально-аристократический строй Франции только в силу широких массовых выступлений французского крестьянства и мелкого люда городов. Разница этих движущих сил французской революции, разобщенность их целей сказались тотчас же, как только гебертисты и бабувизм потребовали усиления темпа революции и реализации ее лозунгов всерьез и надолго. Буржуазия, овладевшая высотами революции, истребила и уничтожила содержание ее лозунгов.

Реставрация 1815 г. совпала с разрешением свободного импорта английских машин, началась бешеная по темпу индустриализация предприятий, десятки тысяч кустарей и ремесленников, владельцев мелких предприятий, были разорены. Класс «способных людей» показал трудящимся свои зубы, и так как массовые волнения не прекращались, то эта верхушка уже новой, индустриальной буржуазии стремилась в союзе с аристократией и духовенством водворить в стране спокойствие для успешной наживы. В 1824 г. Людовика XVIII сменяет Карл X. Его царствование совпадает с обострением феодально-аристократических претензий: расходуются крупные суммы на раздачу дворянам, вернувшимся из эмиграции, восстанавливается вся лестница титулов, раздаются огромные земельные угодья представителям обнищавшего дворянства. Однако, во Франции на месте древнего самодержавия числится «народное правительство», фактически сводившееся к выборам в палату небольшого круга богатейших цензовиков, общее число которых ко времени Карла X выражалось цифрою в 100 000 чел. на 30 млн. населения. Вот эта pays légal — «законная страна», варившаяся в собственном соку. Она изолировала и превратила в лишенцев всю массу крестьянского и рабочего населения Франции в эти годы. Но внутренний характер расслойки этого населения чрезвычайно усложнился. За пределами этой «законной страны» кипели горячие страсти, рождались вольнолюбивые мечтания мелкобуржуазных отщепенцев, тягуче и медленно созревало недовольство разоряемых буржуазией французских деревень, молодое население которых тянулось на фабрично-заводский заработок в города; за пределами этой «законной страны» все более и более четко обрисовывались контуры «рабочего сословия», вырабатывавшего все быстрее и быстрее новый железный закал классовой воли.

При таком нарастании классовых противоречий интеллигенция каждого класса стремилась найти себя в эпохе, и вот мы видим, как на развалинах феодальной Франции возникает погребальная поросль плачущей романтики Альфреда де-Виньи и Шатобриана. На смену классическим традициям старинной Франции, с одной стороны, и в виде протеста обществу биржевиков и банкиров — с другой, возникает реакционная романтика, нашедшая свое политическое выражение в лице Жозеф де-Местра и Бональда. Но одновременно с этой романтикой прошлого,— романтикой класса, уходящего со сцены истории,—возникает романтика мелкобуржуазной интеллигенции, не только не утратившей связи с жизнью, но всячески стремящейся навязать этой жизнь свою волю, внести свои коррективы в несправедливость истории, ежеминутно сбивающей со всех позиций эту молодую, полную неприменной энергии мелкобуржуазную группу.

В те годы все чаще и чаще можно было видеть, как пути этой мелкобуржуазной или деклассированной молодежи переплетались с подпольными тропинками пролетарских интеллигентов. Были моменты, когда обе эти группы находили общий язык, общие слова; но чрезвычайно редки моменты, когда у них находились общие дела. 1830 г. был таким делом, которое их испытало. В июле в Париже вспыхнула революция. Массовым волнением воспользовалась парламентская буржуазия, чтобы устранить Карла X, ставшего опасным по своим дворянским симпатиям. Первое время намечались некоторые уступки массам, но чрезвычайно быстро река вошла в русло; сменивший Карла X Людовик-Филипп Орлеанский был типичным ставленником крупнейших банкирских домов Парижа (его возвели на престол Лафит и Казимир Перье), но зато индустриальная и новая финансовая буржуазия могли торжествовать полную победу над остатками феодальных притязаний. Реально не только массы, но даже наиболее активная мелкая буржуазия ничего не получили. Круг пассивных и активных избирателей в результате июльской революции был ограничен половиной процента всего населения страны, т. е. вместо прежних ста избирать стали двести тысяч буржуа. Максимум революционности во всех слоях населения, которые были к ней способны, сводился к идеалу демократической республики. Гебера и Бабефа забыли, как забыли имена многих других вождей революции, — господствующей мыслью была надежда на то, что «если банкиры извратили декларацию прав и лозунги «93-го», то все может поправить безукоризненная во всех отношениях система демократической республики». Это универсальное лекарство всех политических и социальных болезней манило и влекло французскую молодежь, не желавшую и не умевшую видеть острых классовых противоречий своего времени. Ненависть к индустриализму, разорявшему их отцов, принужденных закрывать маленькие мастерские, уходить из артелей, бросать мелкие промыслы, не давала никакого оружия этой молодежи. Но она охотно примыкала к рабочему восстанию и крестьянским вспышкам. Она с любовью и сентиментально-романтическими эмоциями воспроизводила революционный обряд «майских деревьев», уже забывая о том, какой суровой угрозой сопровождалась эта деревенская посадка растительности перед замками французских феодалов, выносящих вооруженному крестьянскому отряду книги долговых крестьянских записей, кабаливших целые области на двенадцать поколений вперед.

Как это ни странно, Гюго острее всего чувствовал разницу температур революционного накала Франции именно в 30-е годы. Социальная значимость «Клода Гёза» гораздо больше, чем ее определение, даваемое традицией французской критики. Это произведение гораздо значительнее, нежели «Гимн павшим в июльские дни». «Клод Гёз» — это история рабочего, который именно ужасами капитализма доведен до тюрьмы и режимом буржуазной тюрьмы доведен до убийства, осужден чисто классовым приговором, служителем культа подведен к гильотине и казнен в силу

яростного требования буржуазной прокуратуры. Интересное явление: предлагая выбросить статью о смертной казни из идеального законодательства, Гюго не отрицает целесообразности войны и, даже выпустив вторым изданием повесть «Последний день смертника», он считает возможным высмеивать тех, кто требовал отмены смертной казни для министров Карла X. Когда его упрекали, он отбрасывал упреки словами: «Спасайте от казни рабочих, а не сановников». Есть целый ряд примеров кажущейся неустойчивости и шатаний Виктора Гюго. Но необходимо в целях справедливости отметить, что при всех колебаниях его политических взглядов, колебаниях, амплитуда которых иногда достигала чрезвычайных размеров, его социальный пафос, его вечная работа над воспитанием социальных чувств остаются неизменно напряженными, а в годину общественных бурь и тяжких испытаний он всегда шел в ногу с поступательным движением общественных низов, он умел чутко прислушиваться к пролетариату; и там, где индивидуалистическая романтика видела лишь об'екты сухого анализа, и там, где мастерство Флобера и флоберистов устанавливало вехи бесстрастного синтетического воспроизведения действительности, там Гюго, этот романтик коллективизма, раскалывал мир своих героев молниями потрясающих антитез. Он был великим мастером контрастов. Политический догматик в своих буднях, как все романтики левого крыла, связанные с утопическим социализмом, он становился колоссальным диалектиком противоречий на ослепительных высотах своего творчества [1]).

Меньше всего в суждениях Виктора Гюго можно полагаться на традиционные взгляды французской критики. Обычно она склонна выводить весь демократический гуманизм Гюго из революции 48 г., и даже лучшие биографы поэта, как Мабилло [1]), целомудренно и стыдливо умалчивают о последних пятнадцати годах его жизни (1870—1885), чтобы не заставить себя краснеть, излагая моменты внутренней связи Гюго с Парижской Коммуной. Во время майских боев 71 г. Виктор Гюго медленно шел за гробом сына по улицам Парижа. Узнавая в седом старике с красным бантом в петлице великого писателя Франции, десятки тысяч коммунаров встречали его криками сочувствия и присоединялись к шествию. Гюго сказал: «Закон Коммуны, пышный закон Парижа, рано или поздно станет победителем человечества». Несчастье с двумя другими сыновьями заставило его быть в Брюсселе. Там получено было известие о гибели Коммуны, и там же Гюго узнал о решении бельгийского правительства не допускать на свою территорию скрывавшихся коммунаров. Гюго пишет в редакцию газеты «Бельгийская Независимость» протест против отказа коммунарам в убежище. Он говорит: «Вы обвиняете коммунаров в свержении Вандомской колонны, в нанесении ущерба Луврскому музею. Рабочие руки могут построить десятки колонн, а Лувр, я заверяю вас, не пострадал... Но зато расстреляны Боске, Паризель, Амуру, Валес и Домбровский — коммунары, которых никакая сила уже воскресить не сможет.. Я хочу оказать честь Бельгии: поправить ее позорное решение об отказе коммунарам в убежище.. всякий коммунар ночью и днем может постучаться ко мне в четвертый дом по улице Баррикад, и я обеспечу ему безопасность хотя бы ценою собственной жизни». Всю ночь толпа пайлитов шумела около дома Гюго, а под утро дом на улице Баррикад был разрушен, и Гюго с семьей едва успел спастись. Через несколько дней бельгийское правительство изгнало Гюго из своих пределов.

[1]) Надо иметь в виду, что к этому времени чрезвычайно возросло влияние на общество идей Сен-Симона (умер в 1825 г.). Его «Новое христианство», «Организация европейского общества», «Индивидуальная система» и другие произведения были любимым чтением Гюго во Франции и Достоевского в России.

[1]) Я не говорю уже о трехтомной работе Эдмонда Бирэ, который, сообщая обширный биографический материал, делает все, чтобы запутать читателя. Реакционер и клерикал Бирэ наиболее правдив там, где он тщетно обвиняет Гюго. Его обвинения достигают обратного результата.

Это было не последнее и не первое изгнание. Он добровольно уходил из Палаты, когда она лишала голоса Гарибальди. Гюго был изгнан из Франции декретом Бонапарта за то, что об'явил принца-авантюриста вне закона в дни, когда этот сомнительного происхождения Бонапарт подготовил военный переворот.

Двадцать лет Гюго провел в изгнании с головой, оцененной Бонапартом в 25.000 золотых франков, и с миллионами богатейших замыслов. Острова Гернсей и Джерсей поочередно давали ему приют, доставляя то радость, то огорчение. Оттуда раздавался этот могучий голос в защиту угнетенных всего мира. Он писал то английскому премьеру, то итальянским министрам, то женевским властям категорические требования об избавлении от казни приговоренных к ней буржуазным судом. Широкий общественный пафос этих протестов создал лучшие документы в истории человечества — эти «Actes et Paroles». За одно из таких обращений ему предложено было уехать с острова. Кроме того, его выступления против Наполеона III были одной из самых ярких страниц в истории борьбы литературы и трона. Его памфлет «Наполеон Маленький», расходившийся в сотнях тысяч экземпляров, был сильнейшим артиллерийским ударом по крышам и стенам Тюильрийского дворца, и хотя в оценке Карла Маркса этот памфлет «беспримерно возвеличивает значение личной инициативы во всемирной истории и делает человека воистину не маленьким, а великим», но все-таки Маркс не отрицает того, что он сыграл свою роль в качестве разрушителя авторитета Второй Империи. Открытое письмо Наполеону III, расклеенное по улицам Дувра, скомпрометировало в'езд этого французского императора в Англию. Императорский авторитет оказался слабее изощренного сатирического пера негодующего французского гражданина. С таким же негодованием Гюго отнесся к амнистии, об'явленной Бонапартом. Он заявил, что «вернется во Францию только после того, как туда вернется свобода». Как человек, одаренный богатым и могущественным темпераментом, Гюго умел жертвовать собою и умел бросаться в опасность. За его отношение к Коммуне парижские мещане систематически забаллотировали его на выборах. Но вопреки всему его влияние росло и вширь и вглубь. Нисколько не остынув даже в 80 лет, он со всей горячностью, ему свойственной, вмешивается в русские дела и категорически требует отказа русскому правительству на требование выдачи народовольца Гартмана, покушавшегося на жизнь Александра II.

II

«Отверженные» вышли через четыре года после напечатания Флобером «Мадам Бовари», через 32 года после напечатания «Красного и черного» Стендаля, через 30 лет после завершения гигантской «Человеческой комедии» Бальзака. Роман Гюго был окружен целым миром литературных образов, огромным героическим населением Франции XIX века, небывалым расцветом фантастических и реальных картин человеческих страстей, нравов, идеалов и стремлений. Роман «Отверженные» — единственный и бесподобный, но не одинокий и далеко не бесследный. В дневнике Льва Толстого, в год выхода «Отверженных», есть пометки о том, какое неизгладимое впечатление оставляла на творце «Войны и мира» каждая страница «Отверженных», но, как это всегда бывало у Толстого, глубокое и органическое усвоение проблемы романа выражалось у него в форме позднего осадка впечатлений с полной переработкой чужой идеи до неузнаваемости. Так было с военными картинами «Войны и мира», в которых внезапно обнаружились оплотневшие и отвердевшие костяки ранних впечатлений от чтения Стендаля («Битва при Ватерлоо»); так произошло и теперь, лишь много лет спустя: образ Фантины вылился в виде портрета Екатерины Масловой, и путь от преступления к внутреннему освобождению человека был заново переработан Толстым в романе «Воскресенье».

Еще раньше Толстого, в 1866 г., Достоевский повторил и колоссально развил в сторону психологического анализа эту же тему созревания преступного замысла и освобождения от его последствий в романе «Преступление и наказание». Это—самые крупные литературные резонаторы Виктора Гюго, — резонаторы, давшие совершенно самостоятельное решение поставленных им задач. Гюго оставался романтиком, несмотря на то, что внешние приемы этой школы уже вызывали насмешку в обществе и литературной среде, выросших из них. Тем не менее не только в те времена, но и теперь «Отверженные» вызывали звучный отголосок в молодых сердцах, осуществляя авторитет Виктора Гюго и вызывая любовь к нему, равную которой знали лишь очень немногие писатели мира.

Попытки уменьшить значение этого авторитета не имели успеха, даже когда ушедшие от романтизма писатели-реалисты обрушивались на него. Вспомним недавно опубликованное письмо Проспера Мериме к А. Д. Лонгиновой, в котором он спрашивает: «Позволительно ли для Достоевского, имея перед собой Пушкина, до такой степени сбиться с дороги, чтобы вести русскую литературу *по стопам* Виктора Гюго?». Просперу Мериме не нравится романтическая экзальтапия чувств у Достоевского; пленительная простота и ясность, гармоническая стройность всех творческих сторон пушкинского гения кажутся Просперу Мериме единственно достойными и неповторимыми образцами русской литературы. Не видя перед собой нового поколения, чуждаясь запросов новой жизни, Мериме останавливается на кристаллически прозрачных и солнечных моментах русской литературы дворянского периода с настойчивостью старозаветного друга 30-х годов, не замечая сам глубокой реакционности своей оценки и русской литературы и своего титанического врага — Виктора Гюго. Однажды, после веселого литературного обеда, Гюго написал знаменитую анаграмму, которая давала: «Проспер Мериме—первый прозаик». Но в 1851 г. трагические события декабрьских ночей поставили их друг перед другом как смертельных врагов. Гюго, об'явивший Бонапарта «вне закона», не подал руки Мериме при встрече на улице, повернулся к нему спиной и вошел в конспиративную квартиру X округа только тогда, когда сухая и длинная фигура Мериме скрылась за углом квартала. Мериме с беззастенчивым цинизмом и неразборчивостью относился к политическим событиям. Гюго описал эту встречу в «Истории одного преступления», но он, конечно, не мог указать на причину иных, более глубоких внутренних расхождений с величайшим мастером французской новеллы.

Чистая случайность, двадцатилетнее знакомство с испанской семьей Монтихо и замужество Евгении Монтихо, сделавшее ее императрицей Франции в 1853 г., превратили Проспера Мериме в сенатора. Это уменьшает резкость его политического цинизма. Скорее возможность принять сенаторское звание Второй Империи вытекает из его индивидуализма и полного общественного безразличия. Такой подход к житейским явлениям был целой системой миросозерцания большой группы мелкой буржуазии, не формировавшей ни общественных течений, ни буржуазного строя Второй Империи. Позиция невмешательства для этой группы всегда влекла за собой известную долю житейского цинизма: устройство личных дел в дни, когда общественные группы бьются над решением вопроса о переустройстве мира, эта философия Ивана Карамазова и «карамазовского чорта»,—эта житейская позиция была жестоко обстреляна Виктором Гюго. До сих пор критика не отметила, что центральным пунктом этого обстрела и основным его поводом Виктор Гюго избрал опять-таки Проспера Мериме. Восьмая глава «Отверженных» повествует о встрече епископа Мириеля с некиим с е н а т о р о м: тут несомненно имеется в виду с е н а т о р П р о с п е р М е р и м е, ему влагается в уста философия эпикурейства, стоическая атараксия[1]) и чисто диогеновский ци-

[1]) Невозмутимость — долг философа по учению стоиков.

низм. Мириель дает заключением: «Вот так красноречие. Какая прекрасная вещь ваш материализм [1]). Тот, кто его поймет, уже не окажется простофилей, не позволит так глупо изгнать себя, как позволил Катон. Тот, кто усвоил себе этот превосходный материализм, обладает счастьем не чувствовать за собою ответственности и думать, что он может спокойно пожирать все — должности, синекуры, почести, нечестно нажитое богатство и выгоды от предательства и легкого примирения с совестью, раз уж так признано, что исчезновение в могиле ликвидирует все расчеты с обществом. Я не намекаю на вас, господин сенатор, но не могу вас не поздравить».

При всей стихийности и беспорядке литературных ассоциаций Виктора Гюго здесь мы видим, помимо личного выпада против Мериме и философии невмешательства, прямое указание на то, что устами епископа Мириеля говорит мелкобуржуазное возмущение, адресованное к цинническим философам крупной буржуазии. Было бы ошибкой судить здесь об авторе с нашей точки зрения. Резонаторы тогдашней эпохи и наших дней слишком различны. Обращенность тогдашней литературы не имела того характера, какой придали бы ей наши дни. Мы спокойно можем внести коррективы на основании опыта массовых решений вопросов об общественном вреде религии и о возможности для каких бы то ни было групп придерживаться политики невмешательства в дни яростной схватки на всех фронтах классовой борьбы. Но не нужно забывать, что роман «Отверженные» вышел за два года перед с'ездом I Интернационала, что Гюго безвыездно должен был жить на маленьких океанских островах и что голоса океанской бури зачастую стушевывали для него клокотание и кипение общественных низов Парижа, что идеалистическая трактовка социальной проблемы была обусловлена всем предшествующим философским багажом Гюго. И лишь много лет спустя после Коммуны автор «Отверженных» вступил на путь сатирической атаки церкви и религии. Завещание Гюго требовало чисто гражданских похорон, и после смерти великого писателя это требование было исполнено. Третье погребение корифеев Франции, шедших против религии в XIX веке. За гробом атеиста Стендаля шли три человека, за гробом Мериме шла небольшая группа друзей. Гражданские похороны Гюго были вызовом церкви: за его гробом шел миллионный Париж.

III

Сюжетные узлы реалистического романа все чаще и чаще завязывались на чисто капиталистических моментах: деньги, нищета и безумная роскошь. Но до какой степени по-разному тематизировался этот социальный заказ эпохи промышленного и финансового капитализма. Мансардный романтик, к которому на чердак вечно стучится нищета, нищущий на клочках бумаги, усеянной хлебными крошками студенческого завтрака, — вот типичная фигура французского литератора с головою, богатой, как мир, и с дырявым карманом, в котором не держится никакая монета. Готовые бежать на первую баррикаду, они совершенно не понимают будничной политической работы, кропотливой организации рабочего класса. Жесткая и сухая учеба классовой борьбы, суровая дисциплина труда, ранние опыты борьбы за разгрузку рабочих суток, едва увенчавшиеся крохотным успехом, в виде закона о 10 часовом рабочем дне,—все это было в стороне от стремлений этой литературной молодежи с мелкобуржуазными надеждами и пролетарскими карманами. Тем не менее моменты накопления капитала, пафос растущего индустриализма, подавляющая картина мощных заводов-гигантов, на которые в сырое и туманное утро по гудку сбегаются десятки тысяч распыленных рабочих единиц, чтобы слиться в огромный коллектив, выполняющий чужую волю, — все это стало доступно литературе, все это было известно уже молодому Бальзаку. Его старик Гран-

[1]) Здесь термин «материализм» берется в узком тогдашнем смысле корыстного обоснования побуждений.

дэ, пожалуй, не хуже очерчен, нежели американский финансист и биржевик в современных романах Теодора Драйзера.

Бальзак вообще не склонен идеализировать изображаемых людей. Следуя стихийному зову художественной правды, он вносит в портреты идеальных персонажей черты мягкого комизма; завершенные фигуры романтических злодеев он слегка ослабляет внесением простых, элементарных, человеческих чувств; и уж во всяком случае, изображая своего миллионера-фабриканта Гранде, он не превращает его в благодетеля: он вскрывает внутренние побуждения, обнаруживает секретные пружины поступков, описывает физиологию буржуазной энергии, быть может, несколько сумбурно и хаотически, но с такой же любовью к правде, с какой Стендаль освещал нам логику буржуазного поведения, показывая центры жизненных мотивировок, житейских планов накопляющего, строящего, организующего и руководящего предпринимателя.

Иное дело Гюго. Пятая книга «Отверженных» начинается «Историей развития производства черного стекляруса». По ходу романа Гюго чувствовал необходимость превратить своего каторжанина в человека, поднявшего на вершину общественной лестницы. Романтика антитезы требовала, чтобы старый знакомец Клод Гёз, укравший хлебец, чтобы накормить своего ребенка, теперь под именем Жана Вальжана превратился бы из жертвы капиталистического строя в одного из вершителей и творцов *этого* строя. *Я не думаю*, чтобы Гюго имел цель показать портрет добродетельного буржуа; во всяком случае из опыта буржуазных благодеяний ничего не вышло. Для Жана Вальжана это—случайный этап. Но он не случаен для автора, стремившегося найти правду в улучшенных формах индустриализма. Он дает замечательное вступление: «Все это происходило, если припомнит читатель, в 1818 г. Приблизительно за два года пе ред тем в промышленной жизни Монтрейля *произошел один из тех переворотов, которые служат великими событиями для жизни целого края*». Неожиданный переворот был произведен изобретением каторжника Жана Вальжана, явившегося в город под чужим именем и нашедшего способ изготовления «черного стекла» улучшенным способом. Гюго пишет: «Это незначительное нововведение произвело целый переворот. Во-первых, оно сразу удешевило материал, последствием этого удешевления был под'ем заработной платы, что явилось благодеянием для целого края; во-вторых, улучшение самого производства было очень выгодно для потребителя и, в-третьих, понижение стоимости продаваемых вещей почти втрое увеличило барыш, что значительно повысило доход фабриканта. Итак, одна идея имела своим последствием три результата: менее чем в три года изобретатель этого способа разбогател, что очень хорошо, «и поднял уровень благосостояния всего края, что еще лучше». Что это такое? Перед нами типичная форма идеализаций утопического социализма с переоценкой *личной инициативы* доброкачественного предпринимателя. Но Гюго выходит за пределы личной характеристики этого доброкачественного, общественно-полезного предпринимателя. Ему, конечно, необходимо дать точку приложения сил бывшему каторжнику после происшедшего в нем морального переворота. Выбор Гюго нельзя назвать удачным, тем более, что идеализация личных возможностей в капиталистическом мире опиралась у него не на лассалевский железный закон заработной платы, ограничивающий добрую волю самого паидобрейшего буржуа, а на устаревший к тому времени идеально-утопический социализм Сен-Симона. Научное обоснование возможности буржуазной добродетели до такой степени проникнуто пафосом молодого и творческого преклонения перед благами индустриализма, что Гюго в некоторых отношениях оказался прогрессивнее романтиков, защищавших позицию «против индустриализма». И хотя он не понял ни резкого, чисто реалистического анализа психологии индустриального буржуа, как его

изображает Стендаль, ни сен-симонистов, ливших воду на колесо бонапартизма в 50-х годах, но все же он поступил правильно, заставив литературу пройти этап рассмотрения персонажей эпохи индустриализма. Он сохранил при этом почти нетронутой психологию мелкого собственника и мелкобуржуазную способность идеализации [1]).

По ходу вещей случайному предпринимателю не пришлось долго удержаться в роли доброкачественного строителя индустриальных ценностей. Гюго довольно быстро, быть может, даже сам того не зная, показывает полный крах морального плана его предприятия. Механизм рабочего быта в капиталистических условиях при самых идеальных намерениях предпринимателя ставит рабочего все время на краю пропасти. Работница Фантина именно с этой идеально поставленной стеклярусной фабрики попадает на улицу и становится проституткой. Художественная логика и писательская правда восторжествовали над Гюго-дидактиком. «Девушка с ребенком» преследуется буржуазной моралью. Обнищавшая мать продает сначала волосы парикмахеру, потом передние зубы ярмарочному шарлатану, потом все остальное первому встречному. Так рождается проститутка. Дикая сцена уличной драки, после которой в одной комнате сходятся полицейский инспектор, окровавленная проститутка и добрый предприниматель — бывший каторжанин, скрывающий свое имя, является одной из лучших сцен романа. Ненависть Фантины обрушивается не на полицейскую ищейку, а на фабриканта Маделена (Жана Вальжана). Фантина в нем видит в силу естественного показания классового инстинкта причину своей гибели и источник всех своих бед. Вот результат, представленный антитезой: старательный предприниматель, работавший по чистой совести для обогащения края, и фабричная девушка, выхаркивающая ему в лицо кровавую слюну с презрением и ненавистью.

Неизвестно, как решилось бы дальнейшее пребывание Жана Вальжана в роли фабриканта. Во всяком случае Гюго увидел эту роль скомпрометированной. Чисто случайная необходимость спасти старика, мелкого вора, от судебной ошибки, навязавшей ему как рецедивисту все прошлое Жана Вальжана, заставляет последнего покончить свои опыты индустриализации края. Начинается новая полоса. Логика вещей исправила композиционную ошибку Гюго, но не его идею.

В собрании «речей и статей» есть короткие указания на биографические черточки Людовика-Филиппа, которого Гюго ценил, как человека. Гюго рассказывает, как уставший после дневных работ этот спокойный король буржуазии, «хороший семьянин, большой противник смертной казни, грустивший о горях и нищете Франции, садился за ночную работу над страницами сложного уголовного процесса в надежде вырвать у своих министров жизнь кого-либо из приговоренных к смертной казни». Эта идеализация личных усилий составляла характерную особенность общественных воззрений Гюго. И в то время, когда Стендаль правильным чутьем указывал гораздо большую опасность для масс со стороны служителей культа нравственных и морально высоких, в то время Гюго не сумел понять всей отрицательной силы «идеальных личностей», стоящих у руля и направляющих деятельность правившего класса.

IV

Традиция авантюрного романа еще сильно тяготела над романтикой, когда молодой Гюго посвятил себя со всем своим огромным талантом на служение униженным и оскорбленным. Этим об'ясняется острый экзотизм и местный колорит и сюжетная запутанность его больших и малых романов, начиная с истории колониального восстания негров «Бюг Жаргаль» и так через все крупные вещи: «Ганс исландец», «Собор богоматери», «Труженики моря».

[1]) Личное обаяние Сен-Симона, его бедность и благородство, его умение нести на себе бремя несчастий восхищали Гюго не менее, чем система Сен-Симона, изложенная Базаром. Влияние Фурье заметно менее.

Эти черты осложняются добавлением увлекательно построенных научных экскурсов в область истории старинных профессий каких-нибудь «компрачикосов» [1]) или широкими литературными охватами хозяйственных проблем Парижа, или описанием огромных массовых движений. Во всяком случае, по занимательности и умению захватить внимание читателей внезапными поворотами за угол тесного переулка, открывая при этом ландшафты невероятной красоты и разнообразия, Гюго занимает одно из первых мест в литературе большого романа. Характерной чертой и основным тоном всех этих экскурсов является неугасимая вера в лучшее будущее человечества, вера, вполне созвучная нашей эпохе, а во времена Гюго дававшая удивительную свежесть мысли, оформлявшая и завершавшая лучшие социальные чувства молодой европейской интеллигенции. В главе «Патрон-Минетт» мы видим прекрасные по своей силе метафоры «Шахты и шахтеры».

«Во всех человеческих обществах есть то, что на театральном языке называется третьим подпольем—trois ème dessous. Под социальной почвой везде есть подкопы добрые и злые. Они лежат друг под другом. Есть верх и низ в этом темном подполье, которое иногда обрушивает ту самую цивилизацию, что мы попираем ногами, полные равнодушия и беспечности. В прошлом веке «Энциклопедия» была таким великим подкопом. Под фундаментом социального строя нашего времени, этим соединением безумной роскоши и ужасающей нищеты, прорыто множество подземных ходов. Невидимо они разветвляются во все стороны, иногда скрещиваются и братаются под землей. Так, Жан-Жак [2]) вручает Диогену свою кирку, а старинный философ дает этому шахтеру свой фонарь.

Но ничто не останавливает и не прерывает напряжения всех этих энергий, их стремления к цели, их одновременной деятельности шахтеров-мо-гильщиков верхнего строя. Это — гигантская тайная работа. Буржуазия почти не подозревает этих подземных этажей. Но что родится в этих социальных глубинах, в этих шахтерских глубинах, в этих шахтерских подземельях? Родится грядущий мир! Лестница, спускающаяся в шахты, имеет странный вид. Каждая ее ступенька соответствует этажу, где может основаться философия, где встречаются ее труженики, иногда прекрасные, иногда уродливые. Ниже Иоанна Гуса находится Лютер, ниже Лютера — Декарт, ниже Декарта — Вольтер, ниже Вольтера — Кондорсе, ниже Кондорсе — Робеспьер, ниже Робеспьера — Марат ниже Марата — Бабеф, властитель дум бедняцкого Парижа. Работа идет и дальше. Еще ниже, на границе, отделяющей неясное от невидимого, смутно виднеются другие, еще неродившиеся фигуры массового гения. Вчерашние люди — призраки, завтрашние — личинки. Умственное око со смутным трепетом различает их. Зарождение будущего — вот одно из видений истинного мудреца, могущего всмотреться в работу этой эмбриональной сферы. Новый сияющий мир в состоянии утробного плода, какое неслыханное зрелище».

Главы, посвященные парижским беспризорникам, мальчуганам рабочих предместий, фигура маленького Гавроша навсегда останутся образцами неповторимой свежести. Это — маленькие герои баррикадных боев, в сторону которых обращались глаза Карла Либкнехта на одном из последних митингов перед смертью.

Ночлежки в монументальных сооружениях на площадях, мелкие кражи и попрошайничество, хулиганство и блатная музыка внезапно сменяются стойким и бестрепетным героизмом в дни баррикадных боев. Маленький Гаврош, сын трактирщика и бандита, брат проститутки, слышит, как бойцы баррикады говорят: «Еще четверть часа, и на всей баррикаде останется не больше 10 патронов».

«Гаврош взял в кабачке корзину из-под бутылок, выбрался за баррикады через разрез и спокойно стал пересыпать в корзинку патроны из патрон-

[1]) Продавцы изуродованных детей. См. «Человек, который смеется».

[2]) Руссо.

ташей национальных гвардейцев, лежавших убитыми впереди баррикады.

— Что ты там делаешь?

— Я наполняю корзину.

— Но ведь стреляют картечью!

Гаврош отвечает:—Да, похоже на то, что идет дождь.— Революционер кричит: — Вернись назад!

— Сию минуточку!

Гаврош поднял глаза и увидел, что в него целятся и стреляют правительственные войска. Его тоненькая фигура выпрямилась, ветер трепал ему волосы. Он вперил глаза в стрелявших и запел, потом он поднял корзинку, сложил в нее, не оставляя ни одного, все упавшие на землю патроны и, подойдя еще ближе к стрелкам, стал опустошать другой патронташ. Мимо него пролетела четвертая пуля...

Баррикада затаила дыхание, а он пел. Пули летали кругом, но он был словно проворнее их. Наконец, одна, потому ли, что оказалась хитрее, или потому, что солдат прицелился лучше, настигла неуловимого ребенка. Гаврош зашатался, потом упал лицом на мостовую и больше не шевелился».

Немногими штрихами в отличие от своего обыкновения, чрезвычайно скупо и потому еще ярче, нежели другие персонажи, дана Виктором Гюго обрисовка этого раннего комсомольца Парижа.

V

Замечательная седьмая книга в четвертой части «Отверженных» посвящена так называемому «арго», или зеленому языку, или, беря русский термин, «блатной музыке».

Гюго рассматривает этот страшный и жуткий язык общественных низов, язык «человеческой преисподней», как язык голода и крайней нужды. Он пишет: «Когда тридцать лет тому назад автор этого печального и мрачного повествования ввел в один из своих рассказов [1]), написанный с той же целью, как и настоящее произведение, вора, говорящего блатной музыкой, со всех сторон послышались удивленные, негодующие крики. Что такое?! Арго!? Зачем нам знать блатную музыку?! Ведь это что-то ужасное, это язык галер, каторги, тюрьмы, всего, что есть отрицательного в обществе! — и т. д. Мы никогда не могли понять этих возражений».

Гюго производит целое исследование и доказывает, что каждый класс имел свое арго, он включает сюда дипломатические шифры буржуазных министров, биржевые криптограммы, разорающие целые области, цифровые коды канцелярии римского папы, прикрывающие секретные махинации с доходами католического духовенства. «И знатные дамы пишут свои любовные записочки на языке арго. Доказательства этому хранятся в исторических и частных архивах. Язык, употребляющийся на кораблях, этот прекрасный, богатый и живописный язык, смешанный с ревом волн, с воем и свистом бури, с треском мачт и щелканьем парусов, с гулом машины, с раскатами грома и пушечных выстрелов, это тоже не что иное, как звучная и сильная блатная музыка» [1]).

Гюго дает целую схему социологии языка. Он первый из лингвистов поднялся на высоту правильного понимания классовых очагов зарождения языка и стиля, он точно определил зигзаги отклонения синтаксиса и лексики от правильного языкового ряда, но сам же указал полную условность и временность этого ряда. Язык счастливых, язык обеспеченных, имущих, язык не нуждающихся в нарушении закона не есть идеал языка устойчивый и вечный. Но вместо осуждения, презрительного пренебрежения Гюго произвел свой анализ с огромной пытливостью: он безбоязненно направил фонарь в темноту, которая пугала Сорбонну и ужасала буржуазную науку. Вместе с Бальзаком, воскресившим

[1]) «Последний день смертника».

[1]) В. И. Ленин писал об академическом кастовом засаривании языка иностранными словами ради искусственной недоступности его. Это своеобразное цеховое арго. См. «Ленин об искусстве». Теа-Кино-Печать. Москва. 1929. Стр. 83.

язык «Великих Фиванделей», этой секретной организации подпольного воровского Парижа, он заглянул и надолго остался в этом подполье. Его выводы были далеко не утешительны для буржуазной науки. Вот почему замечательное исследование об этом языке общественных низов, изложенное на 60 страницах «Отверженных», осталось совершенно без отклика не только в истории языка, но даже в критике чисто литературной. Гюго начинает с чисто эмоционального описания: «Арго— язык ночи. Загадочный, одновременно блеклый и возмущенный язык потрясает мысль в ее сокровенных глубинах, а социальную философию приводит в горестный трепет. Это — язык житейской кары. Слова обыкновенного языка встают перед нами сморщенными и заскорузлыми под раскаленным железом палача. В блатной музыке есть существительные, ошеломляющие мысль, едва соглашающуюся уложиться в извилистые контуры этих чудовищных кандальных понятий. Есть метафоры до такой степени наглые, что чувствуется их зарождение на позорном столбе. Тем не менее именно в силу этого блатная музыка имеет право на включение в ту огромную сокровищницу, где находится место для позеленевшей медной монеты и для той золотой чеканки, которую вы зовете литературой. Язык этих общественных низов имеет не только свой синтаксис, он имеет свою поэзию. Если уродство некоторых слов дает почувствовать, как л о п о т а л этим языком бандит Маидрен, то блеск иных блатных метонимий наводит на мысль, что этим же языком говорил Вийон».

Гюго приводит целый ряд непереводимых примеров, доступных только французскому читателю, об'ясняет происхождение блатных понятий, давая удивительные образцы интуитивной семантики. На этом основании он об'ясняет название тюремной п и л ы п и р у ш к о й, ибо, перепилив кандалы, каторжанин прежде всего приплясывает. Он об'ясняет, почему преступный мир называет человеческое «имя вообще» ц е н т р о м, почему для слова «г о л о в а» есть два названия: одно— с о р б о н н а — вместилище наук, сноровок и воровских хитростей; другое— ч у р б а н — то, что отлетает от целого куска под ножом гильотины. Сообщая о песнях а р г о, автор «Отверженных» говорит: «Большинство этих песен зловеще, но есть веселые и даже нежные. Можно делать что угодно, но вам никогда не удастся уничтожить тот остаток человеческого сердца, который называется любовью. В этом мире темных дел твердо хранятся тайны солидарности, а тайны тюрем охраняются всем организмом заключенных. Тайна сплочивает отверженных в одно целое и служит единственным основанием их органической связи. Нарушить тайну— это значит оторвать от каждого члена этой общины часть его самого. На энергичном языке блатной музыки слово д о п о с н и т ь передается формулой «отгрызть кусок».

Гюго анализирует проникновение арго в литературу эпохи Великой французской революции. Корни этого проникновения он наблюдает уже в веке Энциклопедии. Он пишет: «Многие метафоры арго из душных подземелий поднялись во французскую Академию, в век Энциклопедии. Они получили законные жилища в литературе под пером Вольтера. И это естественно. Обычный язык тогдашней Франции был неспособен выразить всего, что требовала стучащаяся в дверь эпоха. Разбирая этот язык, вы на каждом шагу делаете неожиданные открытия; изучая его, вы под конец добираетесь до той таинственной неуловимой грани, где социальный порядок переходит в нарушение законов правящей группы. Арго —это слово, превращенное обществом в каторжника».

Отмечая дальнейший поворот в языке блатной музыки, Гюго указывает на огромные перемены: «Если во всех тюрьмах XVIII века распевались песни, в которых слышалось дьявольское загадочное веселье, а вместе с тем раздавались в этих песнях резкие, точно подскакивающие припевы, словно фосфорические огоньки, заброшенные в чащу леса, где грабители под звуки этой песенки душат свою жертву, то в конце столетия и в начале XIX века на смену

этого злого веселья и этой жуткой меланхоличности появляются новые черты — беспечная веселость озорной сатиры».

Гюго пишет: «Эти жуткие дружины потемок проявляют теперь не только отчаянную смелость в действии, но и смелую беспечность духа, что свидетельствует о том, что они теряют сознание своей преступности и смутно, бессознательно предчувствуют поддержку в среде не только мечтателей, но и мыслителей, изобретателей социального переворота, и если временно они уродуют язык этих социальных новаторов, то сами все больше и больше теряют черты уродливости». Так Виктор Гюго постепенно приходит к последнему своему выводу, что только революция оздоровляет людей, и лучшим признаком наступления общественного здоровья считается то, что в буржуазной науке принято называть «порчей языка». Оценивая обратные выводы современников, выводы, на основании которых литературные пуритане осуждали французскую революцию, Гюго произносит невежливую фразу: «Только слепой может клеветать за это на революцию, только дурак может ее опасаться. Припомните дни 14 июля и 1 августа, дни революционного здоровья, уничтожившие бандитизм и воровство. Кто следовал в 48 году за фургонами, нагруженными сокровищами из Тюильри? — Мусорщики Сент-Антуанского предместья. Голытьба стояла на страже бриллиантов. В этих фургонах стояли еле прикрытые незапертые сундуки, где среди сотен блистающих футляров с благородным металлом лежали бриллианты и находилась древняя корона Франции, увенчанная знаменитым пиропом, оцененным в 30 миллионов франков золотом». «Порча» языка есть выпрямление общественного организма.

Позволительно в наши дни вспомнить эту главу «Отверженных». Она поучительно звучит для тех, кто делает выводы о порче языка комсомола, не замечая того, как здоровая общественная работа уничтожила сотни притонов и дала применение той молодой силе, которая без этого применения обращалась против себя же. Нынешняя «порча языка» есть явление очень здоровое именно потому, что указывает на могучую силу переключения энергии огромных человеческих масс.

VI

По количеству мыслей, высказанных «по поводу», по множеству суждений, связанных непосредственно с развертыванием сюжета, этот большой роман Виктора Гюго кажется самым насыщенным произведением своего времени. Тем не менее эти мысли не кажутся ненужными, они не утомляют.

Вхождение на рейд корабля «Орион» сопровождается пушечными выстрелами. Сказав об этом, Гюго отмечает: «Высчитано, что на приветствия, королевские и военные почести, на обмен учтивых любезностей, выражения этикета, на сигналы рейдов и цитаделей, на ежедневные салюты при восходе и закате солнца всеми крепостными и военными судами цивилизованный мир в каждые сутки делает 150 000 бесполезных пушечных выстрелов. Считая по 6 франков каждый пушечный выстрел, мы видим, что итог дает 900.000 франков в день. 300 000 миллионов золотом в год превращаются в бесполезный дым».

Еще более интересны суждения о монастырях. Они полны бесконечного удивления по поводу существования монахов в XIX веке. Гюго пишет: «Упорное стремление отживших учреждений к увековечению себя походит на упорство испорченных, прокисших духов, желающих умащать наши волосы, на домогательство гнилой рыбы служить кушаньем, на требование детского платья быть одеждой взрослого человека, на нежность трупов, которые вздумали бы целовать живых». Однажды, вспоминая испанские впечатления своего детства, Гюго обрушился на

католическую церковь и испанскую монархию, уничтоживших всю цветущую силу этой страны. Ежегодные казни трех тысяч человек, наиболее молодых, наиболее сильных, наиболее протестующих, за 300 лет власти церкви и монархии в Испании уничтожили и биологически ослабили источники обновления этой страны.

Гюго был в значительной степени смелее своих современников. Перед лицом буржуазной Франции он имел смелость потребовать в завещании исключительно гражданских похорон. Не расставаясь с философскими раздумьями на религиозную тему, он хорошо знал общественную цену религиозного гнета. Католический обскурантизм внушал ему не меньшее презрение, нежели тупое кальвинистское учение о предопределении. Он роднит это учение с полицейской психологией инспектора Жавера, с его жестким схематизмом в отношении к людям, с его чисто чиновничьим фанатизмом,— чертами, которые сопровождают всякий самодовлеющий пафос бюрократической государственности.

Поздняя трагедия Гюго «Торквемада», написанная за два года до смерти, дает новый вариант этого средневекового Жавера. В «Отверженных» Гюго доводит до некоторого схематизма и условности эту во всех отношениях жизненную фигуру: «Этот человек состоял из двух чрезвычайно упрощенных и по существу не таких уж плохих чувств; они становились ужасными лишь в силу преувеличения. Эти чувства были: уважение к власти и ненависть к мятежу. В его глазах воровство, убийство, все преступления вообще были не чем иным, как простой формой протеста против существующего порядка. Он питал слепую и глубокую веру во всех официальных лиц государства, начиная от министра и кончая лесным стражником, с брезгливой ненавистью преследовал всякого, переступившего черту законности, не допуская при этом никаких ограничений и исключений. О первых он говорил: «Власть не может ошибаться, должностное лицо всегда бывает право». О вторых же он говорил: «Это — люди погибшие, из них никогда ничего не может выйти хорошего». Он свел к одной прямой линии все самые сложные комбинации человеческой жизни. Он занимался шпионством, доносами и сыском с религиозным рвением, с чувством внутреннего удовлетворения». Что может быть ужаснее для Виктора Гюго, нежели эта фигура?

Вечно изменяющаяся живая динамика действительности имела притягательную силу для автора «Отверженных». Под мертвой корою зимних покровов, в сумерках отгоревшей Европы, в пасмурный дождь Третьей Республики, давшей ему столько разочарований, он всматривался пытливо и зорко и умел под всеми этими покровами и туманами рассмотреть зарождение новой жизни. Это движение клеток, это трепетание вещества грядущих дней в современных буднях Европы вызывало в нем не только строгую пытливость мудреца, но и давало ему огромную радость, живое наслаждение его вечно молодому мозгу.

Самые его протесты поступательному движению жизни, минуты странной беспомощности сильного человека, случайные колебания крупного характера поражают биографов необычайной прелестью. Они свидетельствуют о положительном качестве этой организации, они еще больше подтверждают, что Виктор Гюго — живой человек, а не схема, хотя качества этой жизненности и указывают на его принадлежность промежуточному классу. Минутные колебания, и вот он набрался сил и бросился в гущу событий. Ошибочно думают, что он не разбирался в судьбе последних десятилетий XIX века. Он прекрасно видел шаткость, неустойчивость и уже начинал подозревать лживость буржуазной демократии. Он очень тонко предостерегал соотечественников, и особенно молодежь, от некоторых форм революционности. В двенадцатой главе пятой книги «Отверженных» есть такие фразы: «Кабатчики, ставшие безработными, приобретали внезапно львиное мужество и шли на смерть, чтобы восстановить возможность снова увидеть залы своих трактиров наполненными пьющей толпой.

В период власти буржуазии на ряду с идейными рыцарями выступают богатыри наживы. Прозаизм побуждений не лишает их действия некоторой храбрости. Обесценение денег заставляло банкиров петь «Марсельезу». Лирически проливали кровь за неприкосновенность магазинного прилавка, со спартанской стойкостью защищали лавки и амбары — эту родину в миниатюре».

На ряду с характеристиками пафоса буржуазных революций Гюго дает потрясающие картины баррикадных боев, перенося впечатления 48 г. на времена парижских волнений 32 г.

Глава «Сент-Антуанская Харибда и Скилла предместья Тампль» дает лучшее в мировой литературе повествование об уличных боях, о внезапном росте баррикад. Констатируя хаотичность одной баррикады с жуткою чистотой линий и четкостью другой, об'ясняя и то и другое классовыми группировками, создавшими этих уличных гигантов, Виктор Гюго попутно высказывает такое суждение:

«Бывает иногда, что б е д н о т а бросается в битву с д е м о к р а т и е й, невзирая на принципы, вопреки свободе, равенству и братству, пренебрегая всеобщей подачей голосов, ниспровергая власть всех и всего, бросаясь в бой с протестом из безысходной глубины своего отчаяния, своей безнадежности, своей заброшенности, своих болезней, нищеты, нужды и голода, своего ужасающего мрака в битву, прорезающую неожиданным светом их политическое невежество. «С в о л о ч ь» восстает против демократии. Гёзы нападают на общественное право, как говорят в таких случаях. Вот откуда эти печальные дни. Но есть огромная правота в этом общественном безумии низов, хотя есть нечто похожее на самоубийство в страшной дуэли человеческих классов. А эти ваши оскорбительные клички «Гёзы», «охлократия», «чернь», «сволочь»... Увы, они констатируют лишь преступления тех, кто господствует, а не вину тех, кто страдает; они доказывают преступность привилегированных классов, а не вину обездоленных. Что касается меня, то я никогда не произношу этих слов иначе, как с чувством горя и уважения к ним, ибо философ, углубляющийся в явления, названные этими кличками, видит на ряду с отверженностью также и величие пролетария».

Гюго прекрасными чертами обрисовал создателей этих двух баррикад: Курфэ — вождя Сент-Антуанской баррикады, и Бартелеми—строителя баррикады Тампля.

Гюго сообщает трагический конец обоих в Лондоне и заканчивает главу:

«Гнусное общественное устройство организовало социальную жизнь так, что в силу материальной нищеты и в силу непросветленности морального сознания Бартелеми, этот злополучный человек, полный ума, твердый и верный, быть может, великий человек, начал свою жизнь во Франции на каторге и кончил ее в Англии на виселице. Бартелеми всегда водружал только одно знамя — то было черное знамя».

Эта фраза похожа на окончание повести о Клоде Гёзе. Если начало этой повести дает нам первоначально набросанный портрет Жана Вальжана, то в дальнейшем развертывании романа «Отверженные» Гюго счел возможным дать ему другой конец, но Бартелеми и Курфэ вызывают в нем одни и те же размышления на тему о невозможности, о безвыходности капиталистического строя. Не давая точных и отчетливых формулировок, не изживая своих колебаний, он то боится потоков крови, то указывает на большую экономию человеческих жизней в гражданской войне по сравнению с любой международной войной; он то хмурится, когда внезапно взовьется красное знамя, то безбоязненно смотрит на черное знамя анархии.

Гюго не видит в с е х перспектив классового торжества пролетариата. Революция для него — священное право масс, но он похож на пчеловода, привыкшего к тому, что во время массовых переселений роящихся пчел порядок пчелиного государства бывает совершенно нарушен и что никогда не следует в хороший солнечный день пересаживать отроившихся пчел в новый

улей, чтобы они не слетели снова. Им надо после тяжких рабочих будней пережить естественное состояние анархии и воли: повисеть до вечера огромными гроздьями на ветвях деревьев под ветром и без всякой работы, иначе будет худо. Гюго похож на этого пчеловода, когда он выпускает новое поколение и обвешивает им огромные уличные баррикады Парижа. Он убежден, что после шума и стрельбы они сядут в новые, хорошие, чистые ульи.

При отсутствии ясной перспективы, при некоторой затуманенности социальной проблемы эта аналогия могла бы быть исчерпывающей характеристикой социальных чаяний Гюго, как выразителя мелкобуржуазных настроений, как рупора того класса, который не был у власти и не может ее сформировать. Живая динамика его мозга, его «художественный показ», толкала его вперед, статика мелкобуржуазной идеологии удерживала его на месте. Он был редким, почти единственным писателем Европы, который в сумрачные годы Третьей Республики не пошел назад. Он наблюдал и копил материал после нового взлета его гения, после того, как в 1874 г. появился замечательный роман «93 год».

В разгар французской реакции он предостерегает общество против монархического заговора Мак-Магона и публикует историю бонапартистского переворота. А на досуге, вечерами, каждодневно посещает рабочие предместья столицы и, оставаясь незамеченным в маленьких подвальных столовых, стремится уловить в разговорах надежды и чаяния пролетарского Парижа. Индивидуальная история пролетария Жана Вальжана, прошедшего сложную жизнь на всех этапах и ступенях капиталистического общества, дала автору повод широко затронуть внимание и взволновать душу читателя. Финал романа указывает на одно, что какова бы ни была моральная высота отдельного лица, как бы ни была богата волевыми моментами жизнь отдельного пролетария, он не в состоянии найти себе место в капиталистическом обществе и должен его сломать. Сам Гюго не дает этого вывода. Выводы сделала наша страна. Мы обогнали французского писателя, но можем ли мы его забыть, как забыла Франция головокружительную и трескучую славу какого-нибудь Альфонса Карра? Мы склонны придать особое значение невозможности для нас вычеркнуть из памяти романы Гюго.

---

4. ИЗ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ О ГОФМАНЕ[1])

Р. Рош

Перевод новой биографии знаменитого немецкого романтика, более или менее обстоятельные характеристики, предпосланные переводам его произведений П. С. Коганом и П. К. Губером, появление на современном книжном рынке сразу трех новинок, посвященных Гофману, заставляет читателя ожидать пересмотра традиционных оценок этого мастера романтической прозы в свете методологиче-

[1]) Э. Т. А. Гофман. — Собрание сочинений. Под общей редакцией и с предисловием П. С. Когана. Том I—III. «Серапионовы братья». Роман. Перевод с немецкого, под редакцией З. А. Вершининой. Изд. т-во «Недра». М. 1929. Стр. 341 + 289 + 353. Цена тома 2 руб. 80 коп., переплет 70 коп. Тир. 3.000 экз.

Э. Т. А. Гофман. — «Повелитель блох». Сказка в семи приключениях двух друзей. Перевод М. Петровского. Гравюры на дереве А. Кравченко. Изд. «Academia». Л. 1929. Стр. XVIII + 262. Цена 1 р. 85 к., переплет 80 к. Тир. 5.100 экз.

Жан Мистлер. — «Жизнь Гофмана». Перевод с французского А. Франковского. Изд. «Academia». Л. 1929. Стр. 231. Цена 1 р. 40к., переплет 30 к. Тир. 5.100 экз.

ских достижений научного литературоведения.

Действительно, только социологический анализ может разрешить загадку «упорной живучести» [1]) старого романтика, своеобразие его литературной судьбы, сочетавшей пренебрежительное забвение на родине с длительной славой в соседних странах, только социологический анализ позволит выявить единство художественной концепции в кажущейся пестроте его противоречивых образов, в мнимой нестройности и разорванности его композиции и стиля. Рассматриваемое как выражение классовой психо-идеологии, творчество этого аполитичнейшего писателя, этого фантаста и quasi-мистика раскрывается как едкое, хотя и бессильное отрицание современной ему действительности, полуфеодальной Германии начала XIX в.

Романтика Гофмана—это выражение настроений и чаяний бюргерской интеллигенции, задыхавшейся в затхлой атмосфере канцелярий, университетов, архивов, задавленной всемилостивейшим покровительством сиятельных меценатов. «Патриархальный» уклад малых германских княжеств, лишь слегка пошатнувшийся во время французского завоевания, уклад, в котором так уютно чувствовал себя мелкий бюргер-ремесленник, пастор и чиновник, за два-три поколения до этого воспетый в «Идиллиях» Фосса и «Германе и Доротее», начинал невыносимо давить эту новую бюргерскую интеллигенцию, выбитую из старых хозяйственных рамок, тяготевшую к начинающей слагаться жизни больших городов, и в то же время слишком слабую, чтобы противопоставить ненавистной, но крепкой действительности что-нибудь, кроме мира музыкальных грез, снов и навеянных наркотиками видений. Плоть от плоти, кость от кости этой бюргерской интеллигенции — советник юстиции, капельмейстер и литератор Эрнст Теодор Амадей Гофман. Не только в творчестве, но и в жизни. Как большинство литературных деятелей этой эпохи (Вакенродер, Новалис, Брентано, З. Вернер), Гофман показателен не только своими произведениями, но и всей своей житейской практикой, формами быта. Детство в чванном доме родовитых бюргеров Кенигсберга, города, где застывший в формах XVIII века уклад филистерского быта уживается с упадочным мистицизмом; годы учения в не менее затхлой атмосфере прусских юстиц-коллегий; будирование против «высокого начальства», составление непочтительных карикатур на «благородное офицерство», оканчивающееся служебной катастрофой—переброской в польские городишки глухой окраины прусской колонизации; попытки сбросить опротивевшую лямку чиновничества для «свободной жизни в искусстве», — в условиях тогдашней Германии для худшей, более приниженной зависимости «капельмейстера» княжеских и королевских опер микроскопических германских деспотий и погружения в театральную и музыкальную богему; возвращение в ненавистную атмосферу прусского каммергерихта; участие поэта, композитора и художника в преследовании либерально-националистических студенческих организаций; шатание по кабакам и посещение берлинских «эстетических чаепитий», где, нарушая сословные границы, сталкивается новая интеллигенция—просвещенные европейские дамы и промотавшиеся князья, спившиеся гении, титулованные антрепренеры и разорившиеся на мировой войне купцы; и, наконец, последний гротеск, которым дарит поэта Священный союз,—пред'явление умирающему «советнику высшего апелляционного суда» обвинения в «демагогии» и антиправительственной агитации и наложение ареста на его (почти предсмертную) сказку «Повелитель блох», — все это дает достаточный материал для отрицания окружающей действительности.

Правда, отрицание этой действительности скрыто за «пестро расписанными кулисами» романтической фантастики, за восторженностью экстатических видений, за жутким бредом раздвоенной, потерявшей свое «я» личности. Но художник-реалист непрерывно

[1]) Предисловие П. К. Губера к «Повелителю блох».

разрушает тонкое сплетение романтических грез зло-прозаической правдой житейских отношений, раскрываемой с необычайной четкостью и убедительностью. Мир немецкого филистерства нашел в Гофмане своего правдивейшего бытописателя: в бесконечных вариациях проводит он перед читателем самодовольную тупость университетских столпов, беззастенчивый карьеризм чиновничества, пустословную пошлость «эстетических» салонов. С этим миром мещанского убожества и самодовольства стоит рядом другой, еще более ненавистный художнику бюргерской интеллигенции, — мир феодальной аристократии. И надо ему отдать справедливость, — он не щадит красок. Быт немецкого захолустного княжеского двора и крупного дворянского поместья преломляется у Гофмана во всех формах сатиры — от сравнительно благодушного гротеска «благодетельного монарха» до чисто свифтовской иронии, топящей княжеского временщика—полномочного министра в... серебряном ночном сосуде, до беспощадной карикатуры производящего военную экзекуцию над крысами наследного принца; быт этот насыщен тематикой «ужасов и кошмаров».

Но и преодоление этой ненавистной реальности в плане иллюзорной действительности дается Гофманом лишь как мнимое. Фантастика раскрывается здесь как оборотная сторона действительности: дух огня служит архивариусом в Дрездене («Золотой горшок»), вечный жид имет торговое дело в Берлине («Выбор невесты»), гении и стихийные духи путешествуют коммивояжерами («Повелитель блох»), фея живет на пенсии отставной гоффрейлины («Маленький Цахес, прозванный Циноберо»), и даже скромный канцелярский служитель «со спины» оказывается зачарованным попугаем («Золотой горшок»). Характерно и снижение роковых и фантастических вещей: бутафория «трагедии судьбы» превращается в обыденную обстановку мещанского жилья—кофейник, горшок, чернильные пятна («Золотой горшок») и даже блох («Повелитель блох»), а обстановка нездешнего мира становится хламом театрального реквизита («Принцесса Брамбилла») или увеличенной детским воображением кондитерской лавкой («Щелкунчик и мышиный царь»). Обратно: в мир фантастики переносятся привычные формы быта, реальные отношения: образ страшного мага обивается на образ большого деспотического чиновника; нездешнее царство Урдар как две капли воды похоже на немецкое захолустное княжество («Принцесса Брамбилла»), и весь комплекс филистерских отношений переносится Гофманом в мир животных («Признания Бергенцы», «История кота Мурра», «Дневник обезьяны Пфифы»). Два мира таким образом повторяют все одну и ту же безысходную действительность. В этой ограниченности, в этой механизации отношений, в возможности подмены человека автоматом («Песочный человек»,—Гофман вообще часто пользуется мотивом автомата) и начинается «страшное» в произведениях Гофмана.

Худшим из кошмаров оказывается все тот же мир реальных отношений современной поэту Германии. И вместе с тем никто не показал с большей яркостью кризис романтического миросозерцания, никто не раскрыл с большей едкостью его бессилие, чем этот романтичнейший из писателей — der Gespenster — Hoffmann

Литературоведческая традиция, ведущая свое происхождение еще от идеалистической критики 40-х гг. прошлого века, обычно не останавливается на отмеченных выше чертах социального протеста еще бессильной общественной группы, проникающих и внутренне систематизирующих творчество Гофмана. Отрывая художника от его социальной почвы, она предпочитает рисовать Гофмана—«странствующего энтузиаста», Гофмана—пьяного визионера, содрогающегося перед порожденными его больным воображением видениями, она предпочитает говорить о «снах, один бессвязнее другого, без мыслей, без завязок и развязок» (Герцен), о мистической действительности, где реальность лишь из

нанка фантастики (Вл. Соловьев), как об основных чертах гофманского творчества.

В узко-индивидуалистическом плане, не только без всякой социологической мотивировки, но даже без достаточно широкого культурно-исторического освещения излагает факты жизни Гофмана книжка Жана Мистлера. Перебирая мелочи личной жизни поэта, подробно останавливаясь на любовных ее эпизодах, французский писатель стремится превратить Гофмана в тот традиционный образ немецкого чудака-романтика, который уже успел отжить даже как литературный шаблон: об этом лучше всего свидетельствует ничем не мотивированная подмена надворного советника Гофмана странствующим энтузиастом Крейслером, перенесение на него без всякой оговорки (в биографическом плане) отрывков из «Фрагментарного жизнеописания капельмейстера Иоганна Крейслера» и «Фантастических отрывков в манере Калло» [1]). Бойко и занятно написанная, хотя местами изрядно *пошловатая* [2]), *книжка* эта, разумеется, целиком относится к столь популярному в последнее время жанру биографической беллетристики. Не вполне понятен выбор ее одним из академичнейших наших издательств для перевода: научная ценность ее, как биографического пособия, ничтожна, в особенности при наличии таких богатых материалов, как книги Harrich'a и v. Müller'a; широкому же кругу читателей она вряд ли сможет много дать, поскольку самая установка французского писателя только удалит его от правильного понимания личности и творчества немецкого романтика [3]).

Мало нового дает и характеристика Гофмана, предпосланная его «Собранию сочинений» П. С. Коганом. Автор всецело остается под обаянием той литературоведческой традиции, о которой мы говорили выше. Для него образы Гофмана неуловимы. Они представляют картину беспрерывных превращений, на них нельзя задержаться: едва уловишь их очертания, как линии раздвигаются, складываются в новые комбинации... и так без конца.

Это утверждение П. С. Когана правильно лишь отчасти. Действительно: давая развитие сюжетной нити в двух аспектах—реальном и фантастическом—или—что равноценно—«филистерском» и «энтузиастическом», Гофман широко пользуется композиционными приемами, нарушающими логическую последовательность фабулы и разбивающими ее на отдельные фрагменты: техникой вставной новеллы, чередованием сюжетных рядов (в «Истории кота Мурра» рассказ кота филистера перебивается местами из биографии энтузиаста Крейслера, якобы вложенными *в качестве пропускной бумаги*); *техникой* «аналитического» (hysteron-proteron в «Элексире дьявола») и «кольцевого строения» (устраняющего возможность развязки в «Истории кота Мурра») и т. п. Так же мастерски чередует Гофман два стиля: насыщенный образами (композитор и художник Гофман доводит до тончайшей виртуозности как свойственный ранней романтике прием «синкретизма ощущений», так и излюбленную поздними романтиками игру светотени), богатый фигурами восклицания, асиндетона и полисиндетона высокопатетический стиль, доходящий до дифирамбических ритмов и белого ямба (так, напр., в «Элексире дьявола» некоторые наиболее патетические места незаметно переходят в ямбический стих), и подчеркнуто прозаический, нарочито-канцелярский стиль с тяжеловесными периодами и

[1]) Ср., напр., стр. 11—15, 96—99, 123—189—190.

[2]) Так, эпизод с женитьбой Гофмана на Михалине Рорер получает совершенно специфическую окраску в изложении Мистлера. Не менее характерно его рассуждение о дружбе Гофмана с Кунцем, дающее представление о стиле всей книги: «...почему бы писателю не быть другом виноторговца, у которого хороший винный погреб, хорошая библиотека и красивая жена» (стр. 115).

[3]) Затруднением для читателя не специалиста послужит и неточный перевод заглавий произведений Гофмана: так, «Щелкунчик и мышиный царь» превращается у А. Франковского в «Приключения щипцов для орехов», «Неизвестное дитя» в «Странного ребенка», «Маленький Цахес» в «Клейнцаха». От переводчика биографии писателя мы ожидали бы знакомства с установившейся традицией перевода его произведений.

лексикой XVIII в. Но для Гофмана характерно то, что распределение этих стилей не совпадает с распределением сюжетных рядов: фантастика часто дается в отрицающем ее прозаическом стиле (ср. стиль вставных сказок в «Принцессе Брамбилле», «Щелкунчике и мышином царе»), тогда как патетический стиль не раз пародируется устами гофманских филистеров: так, прием ямбической клаузулы осмеян в «Истории кота Мурра» («Du redest in Jamben! Murr, du herrlicher Kater»), стиль «Золотого горшка» автопародируется Гофманом в «Маленьком Цахесе» и «Королевской невесте».

Для Когана Гофман—юродивый Серапион, стремящийся уйти в царство романтических грез, хотя и досадливо осознающий их нервальность, мечтатель, видения которого спугнуты вторгшимся шумом уличной толпы. Гофман-сатирик, Гофман-протестант совершенно исчезает из поля зрения И. С. Когана; характерно, что, излагая содержание отдельных произведений Гофмана, он останавливается не на «Житейских воззрениях кота Мурра», не на «Маленьком Цахесе» и «Повелителе блох», с их яркими сатирическими гротесками, но на романтических «Элексирах дьявола», пленявших молодого Герцена, на «Золотом горшке», которым увлекался Влад. Соловьев; характерно, что он отожествляет «золотой горшок» Гофмана с «голубым цветком» Новалиса, забывая ироническую двусмысленность этого предмета и то персифирующее толкование, которое дает ему сам Гофман в одном из первых набросков этой сказки. Неудивительно, что характеристика П. С. Когана почти дословно совпадает с очерком молодого Герцена, помещенном в 30-х гг. в органе русского философского идеализма—«Московском Телескопе».

Достоинством очерка П. К. Губера, помещенного в качестве предисловия к переводу «Повелителя блох» в издании «Academia», является то, что он разрушает по крайней мере некоторые из ходячих ошибочных представлений о Гофмане, легенду о Гофмане-визионере и экстатике, спирите и теософе. Очень удачны и отдельные замечания П. Губера о повествовательной технике Гофмана. Но и здесь узко индивидуалистичный, психологический и формалистический подход мешает автору углубить свой анализ творчества Гофмана. Ибо последнее было отнюдь не одной только веселой игрой тонкого мистификатора и, говоря об эпизоде с тайным советником Кнарианти, П. К. Губер безусловно преуменьшает общественное значение этой едкой сатиры, опубликование которой стало возможным лишь через восемьдесят шесть лет после ее уничтожения прусской полицией.

В заключение—несколько слов о новых переводах Гофмана. Впрочем, один из них,—«Собрание сочинений» в издании «Недра»,—несмотря на наличие общего и специальных редакторов, представляет лишь перепечатку старого перевода Гофмана, вышедшего в 1873 г. под редакцией Гербеля и Соколовского и слегка подновленного в переиздании «Вестника иностранной литературы». Не говоря уже о сохранении анекдотических ошибок этого перевода [1]), весьма спорной остается польза подобных переизданий старых переводов при значительном изменении современных воззрений на перевод иноязыкового текста; подновление отдельных оборотов лишь нарушает общий характер старомодного сказа.

Совершенно другое впечатление производит превосходный перевод «Повелителя блох», сделанный известным русским гофманистом М. А. Петровским с первого нецензурированного немецкого издания. Правда, несмотря на стилизацию сказа, язык перевода все же производит впечатление обновленного по сравнению с оригиналом,—прием, с которым согласится не всякий, но рассмотрение этой сложной проблемы «перевода классиков» выходит за рамки нашей Hoffmannian'ы.

Отсутствие об'яснительных примечаний в обоих изданиях бесспорно за-

[1]) «Die Söhne der Fals — «Сыновья Фалеса», «Das Kreuz an der Ostsee» «Крест на восточном море» и т. п.

труднит восприятие Гофмана (в особенности Гофмана-сатирика) современным читателем. С внешней стороны в издании «Собрания сочинений» приходится отметить несколько досадных ляпсусов [1]). «Повелитель блох» издан очень хорошо; в особенности удачны гравюры А. Кравченки, в совершенстве гармонирующие с причудливым гофмановским текстом; такими иллюстрациями не может похвалиться и заграничное издание оригинала.

5. А. И. КРАВЧЕНКО

А. Бакушинский

I

Яркий и своеобразный расцвет современной русской графики, ее признание у нас и за границей — факт бесспорный. Повышение качественности здесь происходит общим массивом. Но на гребне волны, наиболее остро выражая ее характер и направление, обрастая учениками и последователями, выделяются несколько художественных индивидуальностей — основное ядро массива. В этой малой количественно, но блестящей качественно группе наших графиков занимает свое прочное и оригинальное место А. И. Кравченко.

Как художник Кравченко вырос и оформился в эпоху революции, после Октября. Он — характерное явление советской художественной культуры, ее чрезвычайно сложной обстановки и борьбы противоречивых течений. Отражая часть этих противоречий, Кравченко также очень сложен в основных свойствах своего темперамента, в своих творческих исканиях, содержании и форме своих произведений.

Начало его творческого пути — в эпохе предреволюционной. Московское ученичество, — работа в Серовской мастерской, — прошло в основном под знаком импрессионизма, в том остром и своеобразном его истолковании, которое давал Серов. Серовская школа и двухгодичные занятия в Мюнхене у Холлоши — 1905—1906 гг. — помогли Кравченке в первую очередь поднять на большую высоту культуру своего рисунка. Кравченко — один из лучших наших рисовальщиков, с безукоризненной манерой, простой и свободной.

Импрессионистические тенденции рано были изжиты Кравченкой, — в начальном периоде его творческого пути. Отказ от культуры чистого впечатления, стремление к его переработке согласно требованиям художественной воли и эстетической потребности уже в это время стали его главным творческим импульсом и определяющим направлением в его эволюции.

Сильное влияние на формование художественного облика Кравченки оказали его путешествия. В 1911 г. он совершает поездку по Италии. В 1913 г. путешествие в Индию. Из итальянских впечатлений едва ли не самыми сильными оказались те, которые даны были Венецией и декоративным итальянским искусством XVII—XVIII вв. Индия, с грандиозными, поражающими масштабами ее искусства, глубоко взволновала художника своей необузданной декоративной пышностью, цветовой силой, непривычной и острой экзотикой образов.

Рядом с воздействиями старого искусства уже в первом периоде намечались, усиливались и крепли позднее, — в первые годы революции, — влияния на Кравченку современного левого искусства.

Характерно, что есть в Кравченке нечто, помогающее ему примирить ретроспективизм и культуру старого искусства с бурным отрицанием их в современной левой концепции. Здесь мы подходим к выяснению самого общего, тех подпочвенных слоев, на которых укрепилась и росла художественная индивидуальность Кравченки. Это очень убедительно может быть в первую очередь показано выяснени-

[1]) Напр., досаднейшая опечатка в титульном листе первого тома — «Goffmann» вместо «Hoffmann».

ем отношения его к формальному наследию прошлого искусства и формально-техническим изобретениям современного левого искусства. Он никогда не был и не мог стать чистым формалистом. Форма всегда являлась для него лишь средством наиболее точного и удовлетворяющего раскрытия образа, приемом образного воздействия. Форма у Кравченки служебна, обусловлена характером, строем и напряженностью образа, тем внутренним содержанием, которое для Кравченки дорого и важно прежде всего. Поэтому основным его требованием к себе и создаваемому образу постоянно было требование содержательности. Содержательность, это — определение индивидуального и социального смысла образа. Художественно-творческий процесс—формальное раскрытие смыслового значения образа. Смысл, который Кравченко раскрывает в каждом своем художественном образе, определяется всем характером его жизнеощущения, мировосприятия, а отсюда и основными свойствами его художественной концепции.

II

Кравченко несомненно — острый и тонкий наблюдатель жизни, окружающей среды, если его внимание бывает заострено в одну сторону. Его творчество в большой мере питается этими впечатлениями. Художественный результат—рабочие наброски с натуры, этюды человеческих фигур, иногда сцен, много пейзажа природного и городского. Чаще всего здесь Кравченко пользуется рисунком.

Переработка реальных впечатлений в творческий образ имеет у Кравченки свою эволюцию. Первый период начинается с осторожного и не всегда уверенного видоизменения реалистических пластов восприятия, переплавливания сырых впечатлений от внешнего мира в образы, насыщенные эмоциональностью. Крепнут поиски в пейзаже, особенно русском, свойств и связанных с ними переживаний, вскрывающих и подчеркивающих в обычном необычное. Появляются первые признаки гиперболичности образа и его оформления. Бурно и тревожно дыбится речная гладь. Облака часто собираются в грозовые нависшие громады, прорезаемые дождями и радугой. Все—в движении: лодки, паруса, надутые ветром; карабкающиеся домики приволжских городов; линии и формы облаков, берегов. Все это бежит, взаимно борется в контрастах ритмов и форм, создавая неустойчивое и напряженное равновесие композиции. Цвет и линия в живописи, черное и белое в гравюре Кравченки первого периода действуют также эмоционально. Они— выразители той же динамичности образа, взволнованности его переживания художником и зрителем. Этот первый период творчества Кравченки является эпохой первичного формования такого его отношения к миру, которое можно бы назвать романтическим. И характерно, что в помощь трудному процессу переработки реальных впечатлений в романтику художественного образа Кравченко привлекает в этом периоде язык ретроспективных форм и приемов. Этот язык он умеренно и сдержанно заимствует в искусстве романтики XVIII и первой половины XIX в. Но уже и тогда заимствования проходили вне круга стилизации. Они — глубже и органичнее определяются созвучием образов и творческого процесса.

Основным родом искусства для Кравчепки в первом периоде его творчества была несомненно живопись. Он считал себя прежде всего живописцем, а гравюру — прикладным занятием, боковым руслом.

Однако, колористические искания Кравченки в живописи уже в то время сводились к культуре декоративной плоскости. Таким отношением к живописным задачам решалась успешно двойная задача: освобождение от импрессионистического иллюзионизма и реалистической грубости образа, с одной стороны, с другой — закладывался фундамент той плоскостной концепции, на которой окончательно оформился Кравченко как график.

Декоративным задачам была подчинена и фактура его живописи — легкая,

прозрачная, не отягощающая полотна. Для живописи Кравченки характерны система противопоставления цветовых плоскостей и поиски цветовых эффектов приемом наложения одного цвета на другой — методом лессировок или штриховки. В живописи Кравченки всегда играла значительную роль линия — и как элемент разделения цветовых плоскостей, и как композиционное начало. Линейные формы в живописи

А. И. Кравченко. Красная артиллерия на позициях (1923 г.)

Кравченки обычно обобщены и в большей или меньшей мере стилистически деформируются в поисках выразительности образа. Живопись Кравченки складывалась под разными воздействиями. Рядом с увлечением французами XVIII в. Кравченко испытывает еще более мощное воздействие современного французского искусства, — особенно его декоративных течений и того экспрессионистического движения, которое начато было «дикими». В эту уже пору намечается переход художника от романтической концепции, с ее декоративной завершенностью в духе старых мастеров, к обостренности и напряжению экспрессионистического языка. Рядом с этими противоположными и как-будто внутренне непримиримыми влияниями-впечатления от примитива народного искусства, заражающее действие лубка, вывесочного стиля.

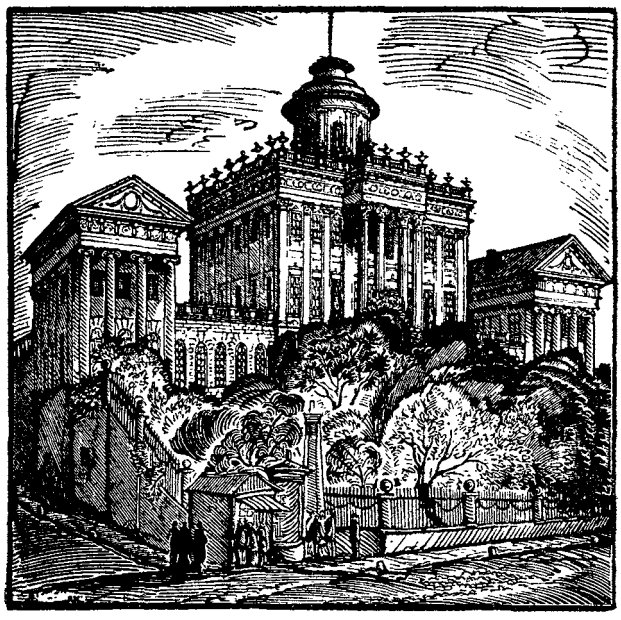
Характерна для этого периода родственная близость живописи Кравченки к живописи саратовской группы — Кузнецова, Уткина.

III

Живописную карьеру Кравченко начал с 1912 г. Он участвовал на выставках Московского Товарищества, Союза Русских Художников, Мира Искусства, экспонируя живопись, по преимуществу пейзажи. Но уже в 1916 г. он начинает опыты в гравюре. Эти опыты в технике офорта и акватинты были в непосредственной зависимости от живописи. Воспоминания об Италии и волжские впечатления были первыми сюжетами. Пятно, пространственная светотень и разорванный штрих — основные свойства ранней манеры Кравченки, возникшие из его живописного мировосприятия. Даже в технических приемах это иногда сказывалось неожиданно и своеобразно. Так, иллюстрации к стихам Зенкевича Кравченко делает в 1921 г. офортом и печатает акварелью. Позднее происходит обращение художника к цветному офорту. Известная доля увлечения этой техникой сохранилась у него и доныне. В 1919 г. под влиянием, быть может, Фалилеева и Остроумовой-Лебедевой Кравченко пробует силы в цветной гравюре на линолеуме и дереве, отдавая дань той же живописной своей концепции. Здесь его, как и учителей, привлекают соотношения цветовых плоскостей и импрессионистических пятен, организуемых и разделяемых контуром, образующих иллюзорную глубину средствами условно-цветовой и линейной перспективы. Но уже в это время он пытается отойти от манеры Фалилеева и Остроумовой-Лебедевой, выполняя несколько гравюр декоратив-

ных с явными влияниями левого искусства.

Первый период в творческом развитии Кравченко я заканчиваю гранью 1921 г. Это период краткого творческого разбега, смятый и несомненно искаженный мировой войной. Кравченко был выбит из колеи не только обязанностями, но и впечатлениями. Эти впечатления им зарисовывались, но никогда не вышли *из этюдного состояния.* Они были чужды темпераменту Кравченки и не отразились сколько-нибудь заметно в его последующих композиционных замыслах.



А. И. Кравченко. Ленинская библиотека. Из книги «Современная Москва» (1924 г.)

Первый период был эпохой засилья живописи и метания от одного гравюрного материала к другому. Характерны для этого периода неустойчивость концепции, переходность форм, незавершенность и неуверенность техники. Сюжеты навеяны частью Италией, частью Волгой. Явный и довольно сильный след впечатлений от Индии. К этому периоду относятся и первые опыты иллюстрирования,—сначала детской книги.

Переселение в Саратов и жизнь там в огне гражданской войны вовлекли Кравченку в круг революции. Его революционный пафос был обращен в далеком Саратове на собирание в художественный музей усадебного искусства, на разработку приемов художественной агитации путем плаката в помощь армии Юго-восточного фронта. Он выпускает серию портретов вождей революции, руководит работами по украшению города во время революционных праздников, пишет декоративные панно в консерватории для Октябрьского праздника в 1918 г.

1921 г. полагает резкую грань. Кравченко становится в первом ряду мастеров нашей революционной ксилографии. Он впервые серьезно и профессионально подходит к задачам декоративно-производственной графики, начиная пока не с книги, а с книжного знака. Искания в этой области у Кравченки были и раньше, но они не шли дальше домашнего круга и потребностей.

А. И. Кравченко. Книжная палата. Из книги «Современная Москва» (1924 г.)

В течение 1921 г., после переселения из Саратова в Москву, Кравченко выполняет значительную серию книжных знаков и их проектов. В 1922 г. они были выпущены отдель-

ной книжкой. В этой сюите Кравченко выступил сразу зрелым и оформившимся мастером, уверенно и тонко пользуясь материалом торцовой пальмы. Лишь сопоставление с гравюрами, сделанными им до 1921 г., может показать достаточно убедительно размах скачка и несравнимое с прежними новое качество работы. Там судьба художника была неясной ни по направлению, ни по удельному весу. Отныне она твердо определилась. И последующий путь представляет собою органическое развитие взятого художником верного направления, развитие блестящее и быстрое.

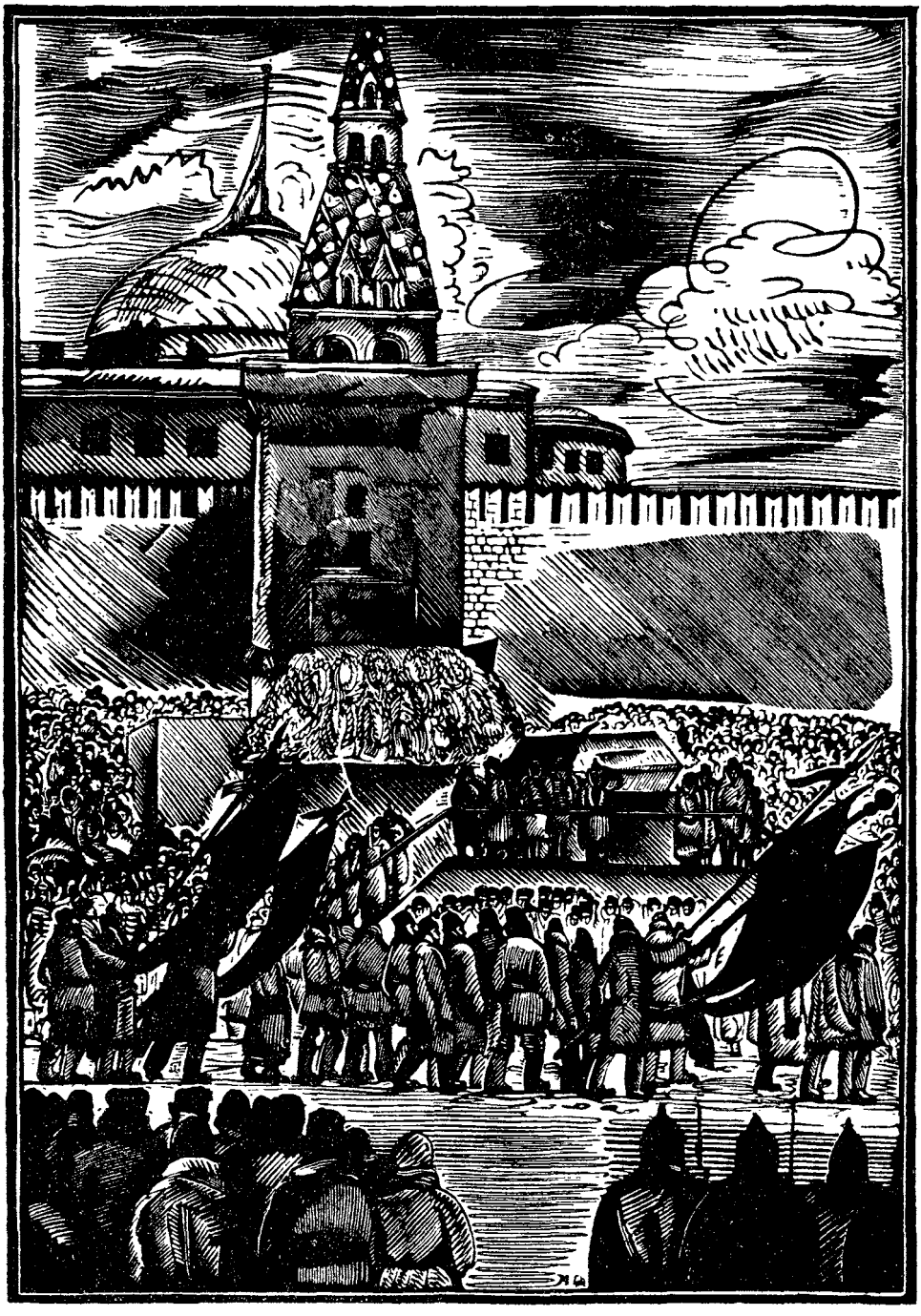
В сюите книжных знаков Кравченко обращается к лучшим традициям и богатству тоновой гравюры, склоняясь к манере и технике ксилографии 30—40 гг. Техника и форма в этом круге работ Кравченки органически связаны с романтикой образа и настроения той же эпохи. Странные, взволнованные, в костюмах второй четверти XIX века книжные любители, их утонченные фигуры с изыском поз и движений, подчеркнутых и резких; старые усадьбы и парки; урны, обвитые цветами, аллегорические эмблемы эпохи—вот тематика маленьких гравюр, изысканных ex libris'ов, частью сделанных по заказу, частью ожидавших для себя любителя и его имени. Однако, романтизм «книжных знаков» — еще несколько внешний, эстетико-культурный и формально-декоративный.

«Книжные знаки» вскрыли и еще одну особенность, которая обозначалась все крепче в последующем творческом развитии Кравченки: искания символической выразительности. Символичность становится отныне одним из основных признаков образа в произведениях художника.

IV

В следующие годы романтические переживания захватывали художника все сильнее, они углублялись, определяя собою основной круг его интересов. Все более привлекает Кравченко по внутренним созвучиям романтика литературная. Наступает полоса больших иллюстративных работ. Кравченко обращается к самым ярким явлениям романтики, идет к гениальным, самым глубоким ее выразителям в мировой литературе. Так создаются им

А. И. Кравченко. Парижская Коммуна. Стена коммунаров (1924 г.)



А. И. Кравченко. Похороны В. И. Ленина. На Красной площади (1924 г.)

циклы иллюстраций к повести Гофмана «Повелитель блох», к гоголевскому «Портрету», к диккенсовскому «Сверчку на печи». В работе над этими темами Кравченко ищет новых опорных пунктов, формальных и технических, для выражения новых творческих сдвигов. Декоративные, внешне-формальные за-

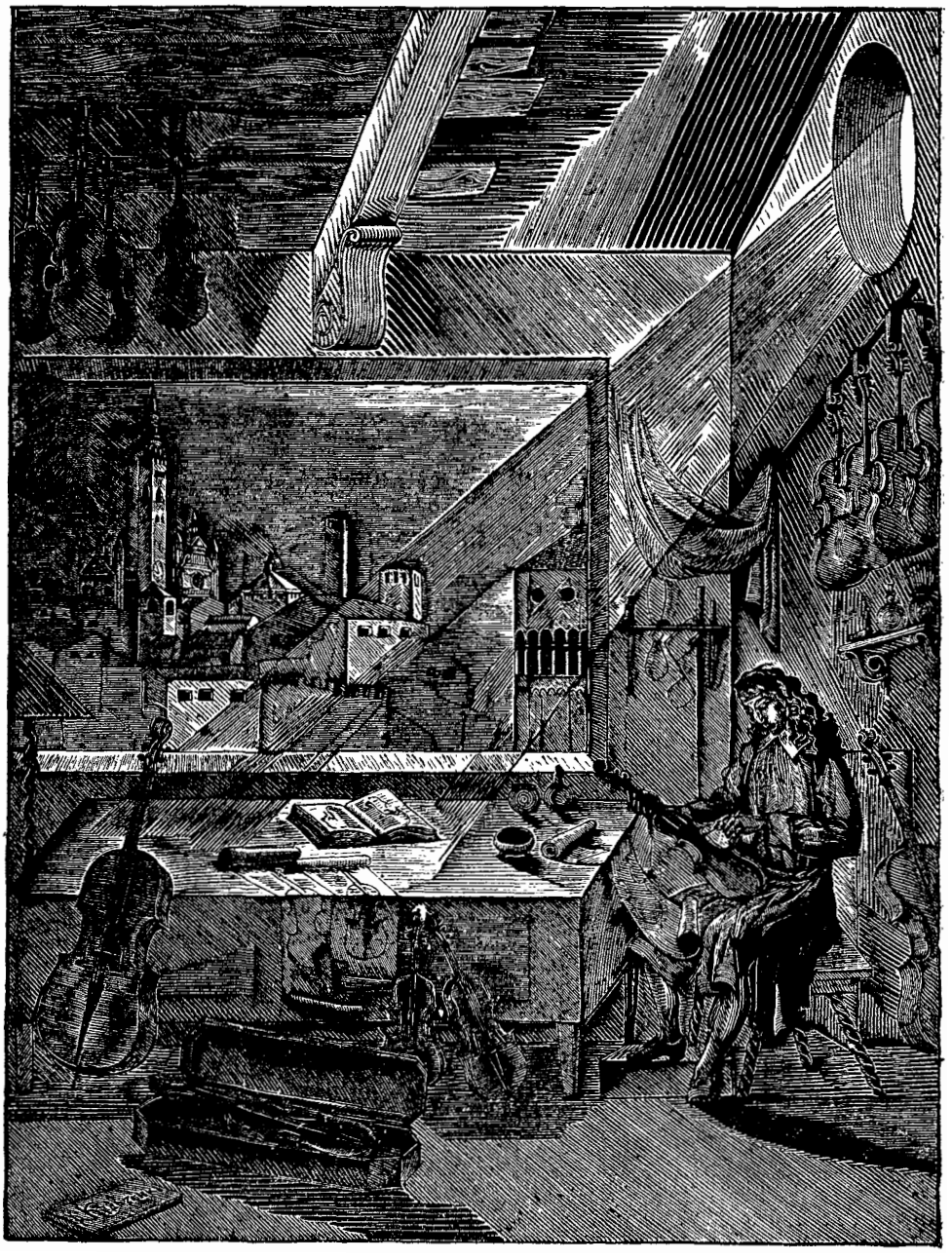
дачи отступают теперь на второй план. Художник переходит к напряженному и пристальному видению. Он ищет подлинного сближения с духом произведения, с творческим образом, замыслом автора. Кравченко раскрывается теперь как исключительный и первоклассный иллюстратор — самостоятельный истолкователь литературного образа. Кравченко приобретает большую внутреннюю свободу там, где он нашел верный путь углубленного проникновения в текст. Он не следует рабски тексту, упускает подробности, привносит иногда свое. Но никогда не выходит за органически наметившиеся грани образа; никогда не вносит своими иллюстрациями расщепления в его истолкование. Он бывает иногда очень суб'ективен, полон собственной выдумки и неожиданностей, но никогда не бывает произвольным.

Это подлинный путь сотворчества. Поэтому Кравченко так разборчив и осторожен в выборе иллюстративного материала. Удачным у него оказывается только то, что сопереживается им в плане раскрытия внутреннего смысла литературного образа. Кравченке всегда был чужд иллюстративный

А. И. Кравченко. Баррикады (1924 г.)

унисонный строй, — простой параллелизм образов. Его манера может быть названа скорее контрапунктической. В своих иллюстрациях он обычно дает то возмещение и дополнение образа, которое может быть выражено лишь средствами изобразительного искусства и предоставляется автором текста самостоятельному истолкованию со стороны читателя. В такой системе иллюстратор не только некий высококвалифицированный читатель, но и самостоятельный творец ряда новых образов, вырастающих органически из массива текста. Такая манера иллюстратора дает большую полноту и богатство иллюстративным замыслам художника, раскрывая нередко в иллюстрациях смысл и значение, равноценные тексту. Поэтому иллюстрации Кравченки сопрягаются в сложную ткань с текстом, сохраняя внутреннюю крепкую связь между собой и развертываясь сквозным действием, как замкнутый в себе и вполне обоснованный целостный цикл.

Приведем несколько примеров иллюстративной манеры Кравченки этого периода. Первым ярким опытом новой зрелой иллюстративной манеры Кравченки был его цикл гравюр к повести Гофмана «Повелитель блох» в 1922 г. Произошло это, конечно, не случайно. Гофман оказался для Кравченки тем писателем, который раскрыл перед художником всю глубину и силу романтических переживаний в формах наиболее сродных и убедительных. Это было подлинное откровение в пределах романтического восприятия художника. Иллюстрируя Гофмана, Кравченко нашел и новый язык форм, и новую богатейшую технику. От декоративности Кравченко здесь решительно поворачивает в сторону выразительности, суровой остроты образа. Через Гофмана Кравченко приходит к Гоголю, к замечательному истолкованию этого писателя в одном из самых трагических его по смыслу произведений. Он дает ряд иллюстраций к повести Гоголя «Портрет». Последняя иллюстрация первой главы—самая сильная и яркая, высший пункт повести и иллюстративного напряжения художника. Густое



А. И. Кравченко. Страдивари в своей мастерской (1926 г.)

черное пятно в верхнем углу—вводящее впечатление. Оно сразу устанавливает тон трагического. Из черной глубины реализуется портрет ростовщика, формуясь рядом переходов от темного к светлому. Разорванная поверхность, напряженно вибрирующая белым, жестко заштрихованным пространством в центре, переходит в суровый стальной тон слева. Получен этот тон замечательным богатством штриха и фактуры. Тон сгущается и переходит в черный цвет к нижнему правому углу гравюры. В центре композиции среди разрывов поверхности, жесткой игры белого и черного — мрач-

ная фигура героя. Судороги исступленного, безумного движения. Остатки уничтоженных произведений искусства. Раскрытие сюжета, характер формального построения, техника и фактура гравюры, — все это стало средствами для создания целостного образа, с острой проникновенностью и блестящим мастерством истолковывающего нам трагическую суть гоголевской повести.

Все это действительность, простая и обычная, прошедшая сквозь призму видения и темперамента художника-романтика, ставшая реальностью фантастики, его внутренних переживаний. Кравченко в своих иллюстрациях нашел глубокие созвучия с тем, что волновало Гоголя и читателей его эпохи.

V

Кравченку волнует в романтике не только трагическое, но и лирика, ее наивная и милая сказочность. Так в том же 1923 г. вместе с гоголевским циклом возникает ряд иллюстраций к «Сверчку на печи» Диккенса. Характерно, что для романтической лирики Кравченко не сразу нашел необходимый язык. Этот язык в иллюстрациях к «Сверчку на печи» несколько жесток, угрюм и тяжеловат. Он омрачняет Диккенса больше, чем можно было бы допустить по характеру повести. И понятно. Происхождение этого языка связано пока и с Гофманом, и с Гоголем. Еще не произошло необходимого расчленения средств разнозначной выразительности.

Трагическое и лирическое у Кравченки переплетаются часто с остро подмеченным и выраженным смешным. Обычно это мелочи, вводимые художником как «форшлаги» в мелодию трагического или лирического строя: поднявшая ногу у тумбы собачонка, потешная поза или жест, подчеркнутое выражение лица. Юмор Кравченки всегда очень сдержан и дан всегда в той мере, которая необходима для выделения главных свойств образа.

Продолжение наметившейся романтической линии, как выявление постоянной творческой потребности Кравченки, можно проследить и позднее. Но эта линия в смысле напряжения и силы образа идет дальше по ниспадающей кривой.

1923 г. дал в этом отношении самый высокий уровень творческого напряжения и яркости образов. В дальнейшей продукции того же характера ослабление силы образа происходит на фоне усиления мастерства, расширения и утончения виртуозности исполнения. Таковы иллюстрации к «Фантастическим рассказам» Чаянова и к его же «Юлии» 1926—27 гг. Об'яснение этого факта, повидимому, в том, что Кравченко постепенно в это время изживает в себе индивидуалистическую романтику, ее ретроспективную форму, и переходит к переживаниям иного порядка.

Я склонен об'яснить этот процесс и связанный с ним творческий перелом вторжением в художественное сознание Кравченки революционных воздействий, той переделкой художественно-творческих устремлений, которая была в нем совершена революцией и ее действительностью. Кравченко, внимательный в эпоху своей саратовской жизни к революционным запросам как художник и музейный деятель, с 1921 по 1923 год ушел в интимные творческие переживания.

Новый и мощный революционный импульс Кравченко получает в 1923 году. Он принимает участие в художественных работах к выставке Красной армии. Героика момента впервые сильно захватила мастера. Он дает две отличные гравюры на дереве из боевой жизни Красной армии: «Восстановление моста» и «Артиллерия в бою», портрет Лихтенштадта и обложку к каталогу выставки.

Однако, рядом с этими темами мастер любовно занят филигранной отделкой гравюр-миниатюр к путеводителю по Москве с общим заглавием: «По современной Москве». Романтический ретроспективизм явно здесь преобладает и обращает взор художника назад. Оба строя образов сосуществуют в психике художника, но в разных планах,—без взаимодействия.

А. И. Кравченко. Портрет дочери (гравюра по продольному дереву)

В 1924 г. Кравченко разрабатывает два значительных мотива, связанных с темами революции, на смерть Ленина. Один мотив: у гроба Ленина в Доме Союзов. Выполнен он был в двух вариантах. Первый—в небольшой гравюре тоновой, второй — в четырехцветном большом лубке. Другой мотив: «Траурное шествие с гробом Ленина на Красной площади». Он оказался

особенно удачным. Эта небольшая гравюра проникнута скорбным и суровым пафосом. В ее построении преобладают медлительные ритмы траурного шествия. Они организуют текучую бесчисленную массу людей в пронизанный единой волей и единым чувством коллектив. Разрешена задача формально очень простым и убедительным приемом противопоставления наклонных линий знамен спокойному пересечению вертикалей и горизонталей как в фоне — Кремлевской степе, так и в переднем плане — шеренге красноармейцев и толпе неподвижных зрителей. Сдержанно-строг и напряжен колорит гравюры в тоновых переходах от черного к белому. Он здесь несомненно окрашен эмоционально.

В этом году Кравченко выполняет цикл гравюр на дереве, иллюстрирующих главные моменты жизни Парижской Коммуны. Цикл характерен тем, что отлично вскрывает то, что в революционной тематике подлинно увлекает автора. На фоне сдержанной и холодной трактовки ряда примечательных мест и зданий Кравченко в нескольких сюжетах с огромным под'емом изображает самые яркие моменты героической борьбы: бой на баррикадах, свержение Вандомской колонны, расстрел коммунаров. Несколько позднее—в 1925 г.—он вновь возвращается к этой теме и дает для «Красной Нивы» большую гравюру, изображающую заключительные моменты борьбы.

В том же 1924 г. появились гравюры для книги «На заре профдвижения». Здесь мы видим воспроизведение моментов заводского труда. Это — опыт художественного изображения рабочего движения и рабочих будней. Однако, пафос будней мало привлекает автора. Несравненно удачнее в этом цикле оказалось разрешение темы демонстрации. Она истолкована в бурном движении и под'еме. Для Кравченки и здесь оказалась ближе всего романтика борьбы, героика «пятого» года. В следующем году, юбилейном, он и доказал это превосходно, выполнив две гравюры с изображением баррикадных боев на улицах Москвы. Особенно удачной оказалась большая гравюра для «Красной Нивы». По выразительности образа, силе впечатления и смелому мастерству выполнения эта гравюра может быть отнесена к лучшим произведениям Кравченки и несомненно к самым значительным среди всего того, что он давал до сих пор на темы революции.

Творческий путь Кравченки в границах 1921—1925 гг. определяется несколькими большими линиями. Происходит усиление и углубление в художнике романтической концепции, первые признаки ее расслоения на полюсы трагического и лирического. Нарастает борьба с внешней декоративностью первого периода. Формалистические тенденции подчиняются смысловым, обосновываются раскрытием содержания образа. Диференцируются средства графической выразительности. Приемы тоновой гравюры применяются больше всего для выражения созерцательных, лирических переживаний. Приемы выражения бурного, героического, трагического очень усложняются. Вводятся контрастные фактуры, резкие сопоставления белого и черного, тона и линии.

Другая линия внутренней борьбы проходит в направлении усиления, все большего натиска революционной тематики, ее героики, пафоса на эстетически-созерцательную настроенность художника. И не случайно то, что под этим натиском в данном периоде испытывает ломку не столько романтическая концепция, сколько основная старая установка художника на ретроспективизм. Воздействия «левого» искусства в этом периоде вспыхивают с новой силой. Его приемы становятся в сущности господствующими в формальных исканиях Кравченки. Романтизм принимает явно экспрессионистическую окраску. Все это новое органически связывается с теми революционными воздействиями, которые начинают переплавливать темперамент Кравченки и приобретать,—быть может, неожиданно для него, — нарастающий вес и директивную силу. Это четко обозначается в следующем периоде.

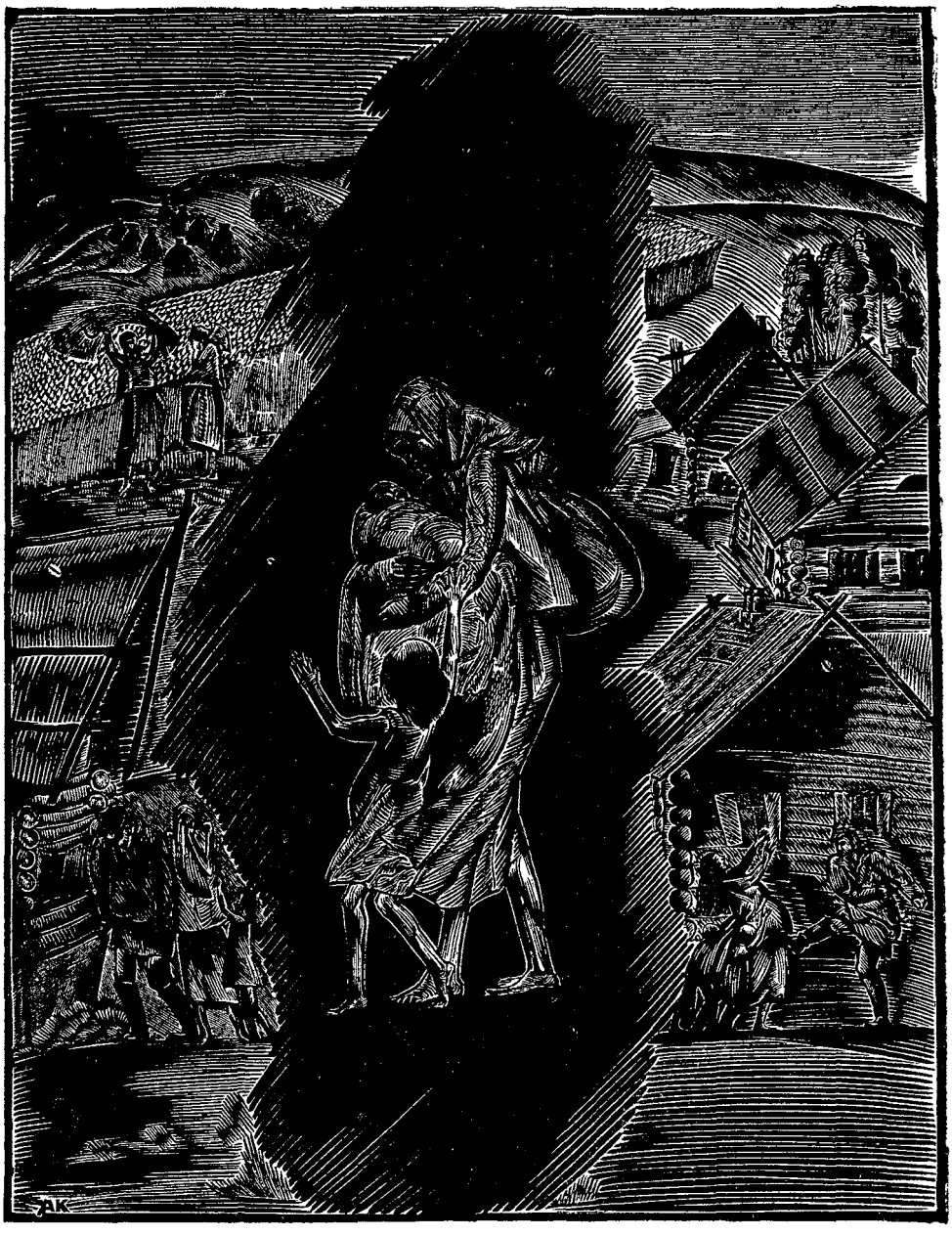
VI

Новый период в творчестве Кравченки я отмечаю границами 1926—1929 гг. Характеризуется он полной зрелостью темперамента художника, широтой, разнообразием манеры и вполне развернутым мастерством. Первым произведением, открывающим этот новый период, я считаю гравюру на дереве «Страдивари в своей мастерской». Это один из самых совершенных образцов тоновой гравюры, выполненных до сих пор Кравченкой. Она об'единена утонченным серебристым колоритом, вся в нежных и мягких переходах от темного к светлому, вся в удивительном соответствии с чудесным звуком и тембром инструментов великого мастера. Этот фронтиспис к программе концертов государственного квартета им. Страдивари — прекрасное выражение одной из граней кравченковского мастерства, камерного характера его зрелой манеры в деревянной гравюре.

А. И. Кравченко. Из иллюстраций к книге Г. Шторма «Ход слона» (1928 г.)

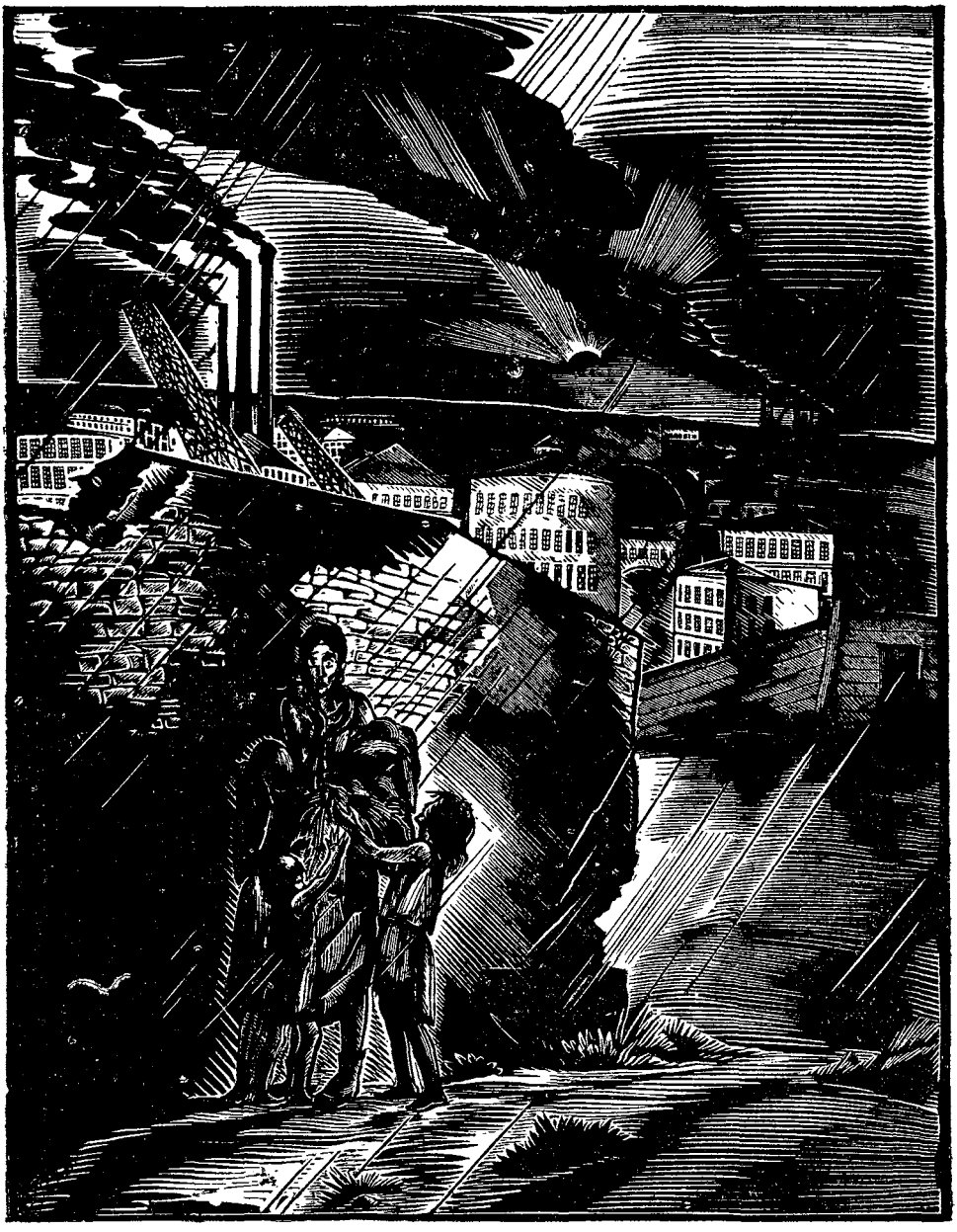
В это время происходит у Кравченки четкое разграничение между приемами изображения лирического и трагического. Манера гравюры «Страдивари в своей мастерской» является характерной для образов первого типа. Так отличаются тем же светлым серебристым тембром тоновой поверхности мотивы: «Перед венецианским зеркалом» из «Фантастических рассказов» Чаянова, «Пастушка» из «Слепого музыканта» Короленки, «Аришушки» из «Хода слона» Шторма. Оформляя образы этого порядка, Кравченко осторожен, нежен и мягок. Он избегает преувеличения, заостренности и напряжения в выразительном жесте. Ритмы таких его композиций плавны, спокойны, просты. Эмоция, сдержанная и светлая, переходит в созерцательность.

Мотивы трагического, так напряженно и остро звучавшие в творчестве Кравченки с появлением иллюстраций к «Портрету» Гоголя, за последние годы были развиты и углублены художником. Измененный строй и характер образов вызывал изменения в форме и технике. 1928 г. дал суровый и новый по замыслу, задачам и приемам цикл иллюстраций к «Уленшпигелю» де-Костера, — в полном соответствии с характером сурового текста изображения жестокой борьбы нидерландцев с империей и церковью за свободу. Кравченко здесь порывает с романтикой XIX в. и ее формальными влияниями. Их сменяет на этот раз несомненное увлечение стилем и характе-



А. И. Кравченко. Крестьянка-мать в дореволюционной России. Из сюиты «Жизнь женщины» (1928 г.)

ром западно-европейской—и в частности немецкой — гравюры XVI в. Этот цикл трудно даже назвать иллюстративным. Это ряд самостоятельных противообразов, синтетически отражающих переживания художника от текста. Это еще более независимое сотворчество, зарождение форм которого мы наблюдаем в иллюстративных циклах прежних лет. Замечательны по новой силе выразительности среди гравюр к «Уленшпигелю» две. Одна изображает беснующуюся толпу фанатиков — «бесплодных»—вокруг средневековой твердыни — церкви. Сила впечатления создается противопоставле-



А. И. Кравченко. Безработная. Из сюиты «Жизнь женщины» (1928 г.)

нием. На первом плане разорванные темные и светлые пятна,—червеобразное месиво человеческих тел, а сзади, над всем этим—строгие и собранные вертикали часовни, символа католической мощи и непоколебимости, окруженной стройными шеренгами монахов.

Другая гравюра производит сильнейшее впечатление выражением и силой скорби, мрачным, трагическим пафосом. Тема: ночной плач Уленшпигеля и его матери перед обугленным телом казненного Клааса. Особенно удачен вариант, не напечатанный в книге. Кравченко здесь пришел к величайшей простоте и скупости языка, строя черное на черном почти примитивным приемом выделения фигуры

казненного и его семьи светящимися контурами из грозного пространства ночи.

А рядом с этими темами Кравченко в том же цикле дает крепкую гравюру с чисто «возрожденским» мотивом и характером формальной разработки «Пир в трактире», где мрачный рокот трагического лишь слегка показан в сгущении черного тона вокруг «семерых» за полукруглым столом.

Существенный признак этого цикла — решительный отказ художника от декоративности, от замкнутой слаженности композиции. Художник вступает в борьбу с тем, что в первые периоды его развития определяло основные свойства его композиционного строя. Построение гравюр здесь становится как бы центробежным. Нет единого цельного поля. Черное расплескивается по листу, выходя за пределы традиционной рамы. Белые пространства наступают со всех сторон общего поля листа, в'едаются в тоновую поверхность и рвут ее, выделяя отдельные куски. Такой прием, однако, не разрушает цельности образа. Напротив, он организует ее, но в ином порядке, — не пространственном, а временном, подчиняя изображение эпическому строю образа литературного.

А. И. Кравченко. Иллюстрация к «Портрету» Гоголя (1923—1925 гг.)

В 1928 г. Кравченко заканчивает штриховые, обрезной гравюрой выполненные иллюстрации к «Слепому музыканту» в том же характере лирической романтики, как и появившийся раньше «Пастушок», но жестче и суровее. В это время появляется несколько декоративный ряд иллюстраций к «Ходу слона» Г. Шторма. Здесь вполне различимы контрапунктически сопряженные темы трагического и лирического. Пример — сопоставление «Аринушки» с «Убийством царевича Иоанна» и «Смертью Грозного».

Завершающим и очень значительным по об'ективным качествам и по внутреннему смыслу оказывается круг гравюр на темы: «Жизнь женщины». Это вполне самостоятельная сюита возникших вне литературного толчка образов. Это государственный заказ с темами, данными очень широко, как общие задачи. Часть тем самостоятельно намечена и разработана художником. Эта сюита показывает, что может дать Кравченко как мастер самостоятельной «станковой», альбомной гравюры, — мастер крупного масштаба.

Иллюстрации к «Уленшпигелю» и сюита «Жизнь женщины» обобщают все, к чему пришел Кравченко в своем деле за последние годы. Его романтизм уже перешел в концепцию экспрессионистическую. Поиски углубленного смысла образа приводят не только к борьбе с декоративностью, формализмом, но и вызывают ряд новых следствий. Гравюры к «Уленшпигелю» и «Жизни женщины»—новые вехи для какого-то еще не вполне ясного, но значительного поворота на пути художника. Художник на переломе. Он настойчиво ищет новых ценностей. Эти ценности вне плана эстетического любования. Кравченке самому еще очень трудно преодолеть в себе то, что определяло характер его произведений первых периодов, что нравилось широкой публике, к чему уже привыкли, за что ценили мастера. Поэтому неудивительно, что новые произведения Кравченки двух последних лет многим не нравятся, кажутся слишком жесткими и невкусными. Но они крепки, свежи. От них веет новой си-

ной и убедительностью. В них Кравченко и по тематике и по форме более близко и чутко перешел к нашей современности. Кравченко уже не говорит гурманским языком. Между «книжными знаками» 1922 г. и «Уленшпигелем», «Жизнью женщины» 1928 г. настолько велико расстояние, что на наших глазах происходит явно превращение количества в качество. Это—два взаимно отрицающих друг друга образных строя.

VII

Характерные свойства новой художественной концепции Кравченки, заметно обозначившиеся со времени первых иллюстративных циклов большого значения в 1923 г., здесь вполне определились. Образ освобождается от формального эмоционализма, от декоративного значения, как основного. Познавательно-волевые моменты выразительности становятся главными. Отсюда прежде всего поиски новых форм разработки сюжета использованием категории времени как композиционного принципа. В композиции на одном листе художник вводит несколько изобразительных моментов, об'единяя временную множественность пространственным единством. Такой прием нарушает в сюжете требования изобразительного натурализма, приводит неизбежно к символическому толкованию образа. Пример символики образа — построение фронтисписа к «Уленшпигелю». Тема характеризует судьбу героя и его друга, их странствования, погоню за женским образом и звуком лютни на фоне трагических событий в Нидерландах: горящих городов, морских сражений, кавалерийских атак. Символический характер имеет раскрытие сюжета и в ряде гравюр цикла «Жизнь женщины». Пример: мрачная «жизнь крестьянки», где вокруг главной фигуры распределен, как в «клеймах» икон, рассказ о тяжком ее «житии». Другой пример: светлый, радостный мотив женщины-труженицы с ребенком на фоне сияющего солнца и его лучей. Это радостный символ будущего с атрибутами полно-

А. И. Кравченко. Иллюстрация к «Портрету» Гоголя (1923—1925 гг.)

кровной и расцветающей культуры в органическом об'единении «земли» и «города». Символика сюжета у Кравченки связана с символикой и антинатуралистическим характером формального языка. Изображение пространства, глубины у него очень свободно, внеиллюзорно. И перспектива используется лишь как средство выразительности в целях чисто стилистических, условно. Она—результат не зрительного восприятия, а представления. Она подчинена вполне законам ритмического строения образа. Достигается это прежде всего примирением изображаемой глубины с плоскостью листа. А дальше мы наблюдаем, в зависимости от художественных целей автора, иногда резкое сопоставление условных планов, иногда — постепенный переход едва уловимых оттенков в светлом и темном. Иногда пространство замыкается в некоей глубинной и плоскостной ограниченности. Иногда, с помощью особых приемов, по большей части символических и условных, оно становится безмерным. Символика цвета у Кравченки играет также значительную роль. В сцене, напр., убийства Грозным сына из цикла иллюстраций к «Ходу слона», черный силуэт царя, его жезла и руки царевича, черная масса крови символически обо-

значает и эмоционально усиливает трагический смысл совершающегося. То же значение имеет темное и светлое в круге гравюр к «Жизни женщины». Сильнее всего это выражено, напр., в таких темах, как «Безработная», «Крестьянка», «Жатва».

Зрелая и совершенная техника Кравченки в этом периоде окончательно и послушно подчиняется тому же раскрытию смысла образа, его содержания. Материал и способы обработки деревянной гравюры имеют в Кравченке признанного крупного виртуоза, постоянно идущего вперед. Средства ксилографии, тайны деревянной доски и бороздящих их штихелей волнуют Кравченку еще рядом нераскрытых возможностей.

Три манеры, доводимые до высокой степени артистичности, особенно широко использованы Кравченкой в этом периоде. Основой его мастерства является тоновая манера с ее культурой белого штриха. Белый штрих Кравченки утончен, необычайно гибок и разнообразен в своих оттенках, добываемых частью калибром резца, частью разнообразием приемов вытягивания линии, частью чередованием резцов различного калибра в одной линии; наконец, контрастами линий коротких и длинных, ломаных, кривых и прямых. Усиливает богатство тоновой игры светлого и темного излюбленное Кравченкой и раньше противопоставление больших поверхностей, обработанных непрерывным горизонтальным белым штрихом, поверхностям разорванным, которые получаются с помощью применения различных видов белого штриха. Тоновая поверхность, сгущаясь в сторону темного полюса и освобождаясь от штриховой обработки, дает глубокий черный цвет. На контрастах черных и белых пятен, то строго ограниченных силуэтом, то переходящих в тоновую поверхность вновь, строится вторая манера Кравченки, в сущности декоративная, идущая от первых его граверных опытов.

А. И. Кравченко. Иллюстрация к «Повелителю блох». Э. Т. А. Гофмана (1922 г.)

Этой манере противоположна манера линейная, основным элементом которой служит черный штрих. Получается такой штрих и при помощи обработки торцового дерева. Но классическое его выражение — в гравюре обрезной. Такие произведения, как «Портрет дочери», «Голова девушки», «Сбор яблок», «Пейзаж», «Деревня», выполненные в период между 1924 и 1926 гг., показывают не только большое чутье материала, инструмента, но и уменье связать прием обрезной гравюры, ее технику, длительную и трудную, с характером образа, больше графического, а не живописного. Манера черного штриха в чистом виде чаще всего применяется Кравченкой для заставок, концовок, графических вставок. Этой манерой художник пользуется иногда и для особого решения пространственных задач, — глубины, прозрачности, необ'ятности, — выводя изображение линейное, полученное такой манерой, за пределы заштрихованного тонового поля. В работах последнего

периода мы обычно видим применение всех трех манер к разработке сложного и многогранного образа. Такое разнообразие приемов усиливает и усложняет воздействие, вызывает необычные и яркие контрасты впечатлений, очень обогащает фактурно-тембровую окраску формы. Все это превращает у Кравченки скупые средства ксилографии в язык с широкой амплитудой и тончайшими оттенками.

Деревянная гравюра последнего периода у Кравченки еще больше, чем раньше, становится живописной. Ее форма с градациями белого и черного действует прежде всего как цветовое и световое целое. Даже линейная форма Кравченки в сущности лишена графичности. Живописный короткий штрих и разорванный контур — типично живописный прием, обязанный, вероятно, своим происхождением уже изжитому художником импрессионизму.

Деревянная черная гравюра — лейтмотив творчества Кравченки, генеральная линия его художественного развития. Материал деревянной гравюры и ее техника постепенно приобретали власть над художником в борьбе с другими артистическими увлечениями. Живописное начало нашло для себя наиболее скупую и совершенную форму в тоновой гравюре, где цветопись превращается в светосилу. Но потребность в цвете как самоценности — в цвете контрастном и раскрытом — осталась у Кравченки и в последнем периоде. Это—боковое ложе его творческого потока. Питается здесь темперамент художника цветным офортом и цветной ксилографией. Сильнее художник оказывается в последней. С 1924 г. им постепенно изживается здесь наследие приемов Фалилеева и Остроумовой-Лебедевой. Первые опыты новой манеры обозначились в цветной ксилографии этого года «Троице-Сергиева Лавра». В последней серии цветных гравюр на мотивы парижских и итальянских впечатлений новая манера дала уже некоторые определившиеся формы. В основе — обобщенный

А. И. Кравченко. Иллюстрация к «Повелителю блох» Э. Т. А. Гофмана (1922 г.)

и упрощенный контур, линейный каркас композиции. Контур комбинируется с свободной, часто затекающей за него расцветкой обычно в раскрытой и сильной, но малокрасочной гамме, регулируемой крайней скупостью цветных досок. В сущности здесь Кравченко возрождает обычный прием старого лубка с протекающей сквозь контурные формы раскраской от руки. Печатанье цвета при помощи досок вводит этот прием в рамки ксилографии. Гравюры такого типа возвращают Кравченку к задачам декоративности, но упрощенной и сильной. Возможно, что в этом направлении следовало бы поискать наиболее удачных форм и их разрешения для проблемы нового лубка в новых общественных и художественных условиях, созданных революцией.

В 1928 г. Кравченко и в цветном офорте выполнил два выходящих из обычного уровня произведения. Это работы по заказу Совнаркома: «Борьба» и «Строительство». Оба офорта.

очень крупные по размерам, дали возможность художнику ярко развернуть свое декоративно-композиционное мастерство не только в области линейного, но и цветного построения.

На предыдущих страницах у нас была речь о Кравченке по преимуществу как о мастере деревянной гравюры вне непосредственной связи этой техники с книжным производством. И такой план рассмотрения в значительной мере обусловливался реальным содержанием и характером его творчества. Кравченко в главном своем значении и существе — гравер-станковист и иллюстратор. Не случайно, что большинство его иллюстраций печатаются на отдельных листах—это связано органически не столько с книгой как материальным об'ектом, сколько с текстом как полнотой воспроизводимых художником образов. Однако, в Кравченке крепко живет и усиливается тяга к обработке книги как целостного художественно-производственного акта. Он и здесь проделывает очень интересный путь от станковой гравюры к композициям книжной страницы и книги как художественного целого. Станковость помогает художнику бороться с фетишизмом производственных стредств, с рабской покорностью машине. Книга в целом для него также художественный образ. И процесс ее создания в сущности должен быть актом подчинения всех гигантских средств современной полиграфии воле художника.

Такое отношение к художественно-полиграфическим задачам глубоко обосновано всеми свойствами художественной индивидуальности Кравченки, всем направлением его пути, всем его мировоззрением.

VIII

Пройденный А. И. Кравченкой короткий путь в течение, примерно, десятилетия являет собою крутую линию под'ема. Он полон исканий, напряженной борьбы концепций и впитанных ими внешних влияний. Нарастание внутренних противоречий и борьбы освобождает шаг за шагом художника от пассеизма и ретроспективизма. Он приходит к новым и своеобразным формам выразительности. Все эти изменения совершаются под явным воздействием тех сдвигов культурных и общественных, которые вызваны температурой революции. Его все больше привлекает революционная тематика. Кравченко находит новый суровый язык и более строгие приемы. Свежий ветер на новом повороте помогает ему, изменяя образный строй, обогащать технику, мастерство. Кравченко — натура очень сложная, с обостренной и утонченной реакцией на внешние впечатления. Перекрещиваясь взаимно в шлифовке блестящих граней его таланта, проходили через его сознание влияния прошлого: романтики, барокко, Возрождения. Его в известной мере захватывает аналитическая школа левых исканий, сильно отражаясь в его композиционном строе, построении пространства, упрощении и разрывах формы. Минуя конвульсии крайностей современного экспрессионизма, Кравченко в основном берет и очень своеобразно разрабатывает самое существенное в экспрессионистических тенденциях—культуру выразительности образа. Все это в процессе внутренней борьбы переработалось и срослось в новых органических соединениях творческих элементов. Не только в органическом росте, но и огромной, напряженной и сознательной работой над собой Кравченко выковал свою индивидуальность, яркую и самостоятельную, в своем существе крепкую, здоровую, с мажорным жизненным тоном. Творчество Кравченки, его содержание и формы—верный и характерный показатель тех здоровых органических процессов, которые происходят в глубинах современной русской культуры и отражаются в процессе развития нашего современного искусства. Кравченко ныне в полной зрелости и силе. Перед ним новые творческие дали. Будем надеяться, что каждый новый этап в его художественном развитии принесет ему и нашей художественной культуре ценности не меньшие, чем те, которые им оставлены позади.

6. ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА О „КОМАНДАРМЕ" СЕЛЬВИНСКОГО У МЕЙЕРХОЛЬДА

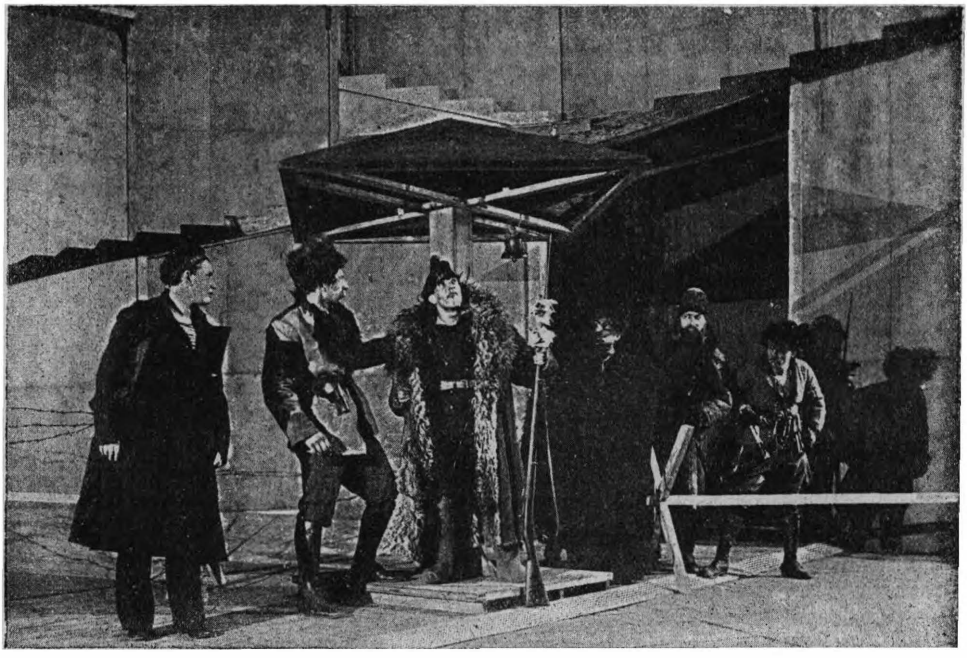
П. Марков

Гражданская война казалась достаточно исчерпанной на театре. Во всяком случае, по ее поводу и на связанные с ней темы было написано более всего пьес. В свое время она явилась одной из отправных точек современной драматургии. На ее материале театр перешел от первоначальной агитки к другим, более углубленным и совершенным способам социального анализа. Охватываемая эпоха давала к тому много оснований. В эпоху гражданской войны классовое расслоение выступило с захватывающей очевидностью, и с такой же непреложностью выступили подавляющая сила массы и патетическая глубина ее представителей. Потому порою было достаточно фотографического изображения событий, вернее, своеобразного сценического мемуаризма (мы знаем, что иное из мемуаров значительнее и глубже средних беллетристических произведений), чтобы увлечь и потрясти зрителя. Материал гражданской войны учил социальному разрезу драмы. Чем проще и отчетливее передавались воспоминания, тем безошибочнее они действовали на зрителя. Памятный «Шторм» Вяльль-Белоцерковского надолго определил драматургический метод. Категорическое противоположение классовых врагов отвечало борьбе, как основе драмы. Победоносный исход борьбы давал идеологическую и вполне органическую опору. Сила страстей, вырывавшаяся в отдельных образах, глубоко питала актера. Напряженность исторических событий придавала необходимую сценичность. «Гражданская война», как тема, была в своей основе «драматургична».Прилежные зарисовки эпохи составляли богатый материал. Новые образы красноармейцев, матросов («братишка»), командармов заполнили сцену и разрушили былые амплуа. Заостренность классовой психологии борьбы и отчаяния одержала верх над былым отвлеченным безразличием. Постепенно театр пришел к обобщению накопленного опыта и замене приемов первоначального реализма более совершенными формами: театр должен был не только отточить и уточнить приемы, но и поставить глубочайшие проблемы эпохи; стать агитационным не в примитивном, а глубоком смысле слова; подвести итог пережитым событиям и их философски обобщить. Первые опыты сделали в прошлом сезоне Вс. Иванов («Блокада» в МХТ) и Киршон («Город Ветров» в театре им. МГСПС). Сюжеты пьес выдвигали для авторов глубокие вопросы революции. Вс. Иванов, выбрав эпоху кронштадского восстания, задумался над ролью личности в революции и над столкновением «старых» чувств, — вернее, обусловленной дореволюционной эпохой психологии, — с понудительными требованиями эпохи революционной. Киршон в судьбе 26 комиссаров увидел проблему «трагической вины» социального порядка — отрыв от масс и недооценку революционного момента. Обе темы были освобождены от хронологического историзма. С подлинными историческими событиями их связывала общая канва и правдоподобие обстановки. Авторы предпочитали «типическое» и не связывали себя угнетающим фотографизмом. Во избежание упреков, Киршон сознательно придал вымышленные имена героям пьесы. Темы они вложили: Вс. Иванов — в формы символической драмы, Киршон — своеобразного драматургического эпоса. Вс. Иванов не одержал полной победы. Он во многом прибегал к приемам старого символизма, забывая, что эти приемы противоречат ритму современности и потому затемняют социальный смысл пьесы. В отдельных образах и картинах Иванов нащупывал новые приемы, — и тогда пьеса приобретала силу и пафос. В свою очередь Киршон загрузил пьесу лишними подробностями, и трагизм положения терялся в слишком обширной, недостаточно сжатой картине. Противоречия

пьесы Вс. Иванова отражали противоречия самого автора. Рисуя героев «Блокады», проникая в сферы подсознательных чувствований, Вс. Иванов боролся с самим собой — с теми «старыми чувствами», которые так сильны в нем, как поэте, — и остатки идеалистического мироощущения пропитывали пьесу. Сельвинский, создавая «Командарма», только что показанного у Мейерхольда, встал на путь еще более решительного преображения материала, чем Вс. Иванов и Киршон: он ставил театру сложные и запутанные задачи, но самый характер его основных приемов колебал его же стремительные намерения, — и пьеса по методу своего выполнения оказалась не менее, а более противоречивой, чем прошлогодние попытки Киршона и Вс. Иванова.

Свою пьесу Сельвинский назвал трагедией. Номенклатура не покрывает особенного стиля произведения. Указывая на основную тенденцию автора, она не отвечает авторским приемам. Кое-кого она может даже сбить с толку. Между тем за капризным стилем автора скрывается и такое же сложное и противоречивое мироощущение. Сельвинский неизмеримо решительнее Киршона и Вс. Иванова рвет с бытовыми и порою историческими соответствиями. Более того: он пренебрегает психологической линией. У пьесы — военный сюжет: взятие красными г. Белоярска. Своих главных и вполне противоположных героев—Чуба и Окопного— он сталкивает на различии их стратегических планов. Планы не конкретизированы. Театру приходится помощью мультипликационной карты вносить ясность в туманную стратегическую концепцию Сельвинского. Тем не менее карта не разрушает сомнений. Для военных спецов возникшая стратегическая дилемма покажется более чем упрощенной. Одного из основных героев — Оконного — Сельвинский делает самозванным командармом (отсюда и название пьесы — «Командарм 2»). Линия самозванства получает в развитии действия решающее значение. Между тем возможность подобного самозванства остается столь же неоправданной и сомнительной, как и стратегические планы командармов. Не заботясь о реальной опоре, Сельвинский предпочитает опору эстетическую, — она коренится в восприятии им первых лет гражданской войны как эпохи фантастической. Может быть, именно потому он выбирает время стихийного формирования Красной армии — до создания регулярных войск. Атмосфера неожиданности, внезапных крушений и падений становится окружением пьесы. Сельвинский пишет «легенду» о гражданской войне — поэтическую легенду. И чем больше вглядываемся в «Командарма», тем менее удовлетворяет подзаголовок «трагедия» и тем настойчивее хочется найти иное толкование и автора, и его поэтической манеры, и его мировосприятия.

Перед премьерой Сельвинский и Мейерхольд дали беседы о пьесе и постановке. Эти беседы интересны и показательны. В них отчетливо выразилось разногласие между автором и режиссером. Разногласие отнюдь не случайно. Оно приобретает особое значение, так как причина лежит в столкновении театра и поэта и в противоречиях внутреннего содержания. Театр закономерно в поисках преодоления узкого бытовизма обращается к поэтам. Таков исход репертуарных затруднений для Мейерхольда. Подобно тому, как свой первоначальный репертуарный кризис МХТ разрешил обращением к беллетристам, так теперь поэты призваны спасти театр Мейерхольда. В этом смысле Сельвинский включен в общую цепь: Маяковский — Эрдман — Третьяков — Безыменский. Приход поэта в театр — явление важное и нужное. Порою поэт способен оплодотворить театр новыми задачами и своим новым «образом» театра. Вспомним, какие огромные задачи поставил в свое время театру Блок. Тема «поэт и театр» — особая тема. Заметим только, что Сельвинский в своем стремлении найти обобщенные приемы драмы о гражданской войне остался преимущественно поэтом — литературным мастером, мастером слова и поэтического образа, в то время как «образ» его личного, им мечтаемого театра лежит в тумане.



Сцена из «Командарма».

Мейерхольд хотел ставить социальную трагедию. Сельвинский написал лирическую поэму в диалогах и наполнил ее романтической иронией. Основное противоречие между режиссером и автором отметило течение спектакля. Мейерхольд мечтал не о поэме. Сельвинский выдавал за трагедию то, что трагедией не является. Мейерхольду приходилось очищать твердый сценический стержень среди сложного и несценичного орнамента Сельвинского. Ему приходилось находить действенное зерно в статических (в своей основе лирических, а не развивающихся в действии) образах Сельвинского. Оттого Мейерхольд был режиссерски, более того, — идеологически прав, отсекая авторские неясности и ища твердой опоры в едином тезисе и едином действии. Отсекать же приходилось многое. Создавалась сценическая редакция «Командарма».

В этом столкновении помогала общность исходных позиций режиссера и автора—то, ради чего, видимо, Мейерхольд выбрал пьесу для постановки.

Мейерхольд сценически выявил основную позицию «Командарма». Сельвинский был прав в одном из основных стремлений. Он с очевидностью почувствовал, что писать о гражданской войне значит писать о вопросах современности, увидеть в ее свете проблематику нашей текущей современности. Но, подхваченный лирическим восторгом, Сельвинский запутался в вихре вопросов, которые для него связаны с гражданской войной и для которых он, как поэт, искал выражения. В беседе он сам признался, что в его пьесе «можно найти проблему вождя и массы, проблему идейного самозванства, проблему технологии и поэтизма, столкновение мещанской революционности с революционностью пролетарской, противоположение заблуждающейся гениальности посредственности, знающей свое дело, перерастание социализма в революционный практицизм и многое другое». Слишком много вопросов для одной пьесы и немногих часов сценического представления. Между тем они волновали автора, он наполнял ими свою лирическую поэму в диалогах, он пользовался лирическими отступлениями, интермедиями для того, чтобы вместить их сложное соче-

тание в образы пьесы. Так возникла капризная конструкция пьесы, при которой основной философский тезис автора (Сельвинский говорит о «диалектической геометрии» пьесы) был загружен хаотической массой пересекающихся и сталкивающихся вопросов. Театру приходилось видоизменять пьесу, разламывать отдельные этажи многоэтажной постройки Сельвинского. И театр был тем более прав, что многие из вопросов Сельвинский только затронул и не дал окончательных разрешений,—его поэма несет большую долю романтической иронии, которая окончательно предопределяет стиль его вещи.

Оставалось принять за бесспорность основной тезис Сельвинского. Поэт в следующих словах формулирует задачу пьесы: «Тезис ее воплощен в Чубе, линия которого ощущается, как несоответствующая здоровому стремлению масс к победе. Антитезис представлен в Оконном, который, отрицая линию Чуба и совпадая в этом с желанием красноармейцев, развязывает стихийное напряжение масс и ведет их в наступление. Наконец, синтез сводится к выяснению истинных намерений Чуба, который вследствие этого приобретает иное, новое назначение, отталкиваясь от революционной жестикуляции Оконного и перекликаясь путем отдачи завоеванного Оконным города с прежней своей линией, обогащенной для зрителя плановостью и учетом перспективы». Антитезис Чуба—Оконного требовал сценических поправок. Лирические образы надлежало перевести в план трагического действия. Одновременно Мейерхольд вступил в борьбу с романтической иронией Сельвинского: произошло столкновение двух мироощущений.

Ирония у Сельвинского падает равно на Чуба и Оконного. Конферансье типа Петрушки прорезывает действие. Даже солдатский митинг, написанный в разнородных литературных стилях, не лишен отголосков романтической иронии; — как иначе вообще воспринять д в о й н о й план, в котором создана пьеса, — эти лирические отступления и интермедии, иронию образов и трагизм событий. В каждом образе Сельвинский показывает его двойную природу. Двойное освещение в сцене митинга: тоска массы выливается в стремительный образ эпилептика, выбрасывающего лозунги, в которых масса чувствует отклик своим стремлениям. Двойное освещение в положительном образе Чуба — беспредельная твердость воли в проведении своей цели и пренебрежение к текущей обстановке, доходящее до абсурда; в образе Веры — лирическая мечтательность и действенный авантюризм. Ни в одной сцене не рассказано «обогащение Чуба» опытом. Авантюра Оконного проваливается не в силу его ошибочной стратегии (стратегия в пьесе — мнимая), а в силу безрассудности его заговора (слишком фантастична и нереальна идея самозванства). «Диалектическая геометрия» заслонена иронией. Иронический стиль утвержден финальной сценой,—Сельвинский завершает ее повторением первоначальной ситуации (он вообще часто прибегает к параллелизму и повторениям): на местах арестованных Оконного и Веры новый бухгалтер Подоконников и новая машинистка заняты прежней работой; повторение ситуации обещает новый взрыв (значит не сломленной?) воли Оконных. Эпизод о втором командарме — звено романтической и иронической цепи. Сельвинский находится в противоречии со своим же устремлением; диалектика, на которую он претендует, требует внутренней точности; ирония, от которой не может освободиться Сельвинский, разрушает диалектику.

Особенно ярко выразилось ироническое мироощущение Сельвинского в Оконном, который и становится основным героем пьесы. Сельвинский готов произнести с точки зрения нашей современности исторический приговор над средним интеллигентом, увидевшим в революции выход личным мечтаниям. Революция для Оконного—путь к утверждению личности. Его авантюра терпит крушение. Революция уносит Оконного, но на его месте возникнут новые Подоконные: унесет ли их революция, победит ли она их будущий протест,—Сельвинский не говорит до конца.

Сцена из «Командарма».

Их лирическое мировосприятие — не для революционных боев, и их поэтическое ощущение мира не нужно для борьбы. Но чем более взволнованным и лиричным писал Сельвинский своего Оконного, тем более отчетливой, сильной и жесткой должна была быть картина эпохи. На самом деле Оконный занял несоразмерно большое место в пьесе, и интереснейший образ бунтующего в защиту своего напрасного индивидуализма интеллигента заслонил обстановку гражданской войны. Пьеса не дает окончательного ответа о судьбе Оконного. Оттого не достаточно четка сценическая композиция и оттого Мейерхольд разрушал великолепную иронию Сельвинского во имя той «диалектики», которую затемнил сам Сельвинский.

Сценическая редакция отличается иной расстановкой сцен. Мейерхольд начинает и кончает массовкой. Он воспринимает судьбу Оконного как один из эпизодов огромного и стихийного массового движения. Начальная сцена митинга определяет стиль спектакля. Это — стиль монументальной музыкальной трагедии. Завершая пьесу расстрелом Оконного и Веры и отсекая повторение первоначальной ситуации, Мейерхольд разрубает драматический узел и дает оправданную концовку пьесе. Расстрела нет в редакции «Молодой Гвардии», но он справедливо заканчивает авантюру Оконного и Веры. Опорный пункт — середина пьесы, интермедия с описанием боя. Такая расстановка сцен дала точную сценическую композицию, — исходя из этих сцен, Мейерхольду было легче строить спектакль героического эпоса: интимные сцены получили необходимый обобщающий — трагический — фон.

Мейерхольд строил массовые сцены с исключительным мастерством. Своими истоками постановка восходила к «Зорям» и «Земле дыбом». В спектакле «Командарма» — одна из лучших конструкций театра. Мейерхольд нашел площадку для трагического действия. Она проста и строга. Полукругом, опираясь одним концом в зал и другим теряясь в высоте, поднимается в глубине лестница; две плоские колонны пересекают ее в центре; между ними выдаются две площадки, фиксируя внимание зрителя на разыгрывающихся на них сценах; неширокий просцениум образует основную игровую площадку; свинцовый тон конструкции придает действию строгость и четкость; строгой ритмичности требует от актера и лестница; она в значительной степени предопределяет ритм игры. Мейерхольд говорил применительно к этому спектаклю, как о преддверии к музыкальному театру. Речь шла не только

о категорическом введении музыки, подобно конструкции, определявшей общий монументальный характер представления. Музыкальность Мейерхольд преследовал и в общем рисунке движения, которое в этой стихотворной пьесе приобрело очень большой и важный смысл. Оно получало этот смысл из общего преодоления бытовизма, преодоления, которое преследовал Мейерхольд. Поднимая пьесу до трагической высоты, подчеркивая роль массы, ища монументальные формы, Мейерхольд всеми сценическими приемами подчеркивал обобщенность темы. В его постановке гораздо больше «диалектической геометрии», чем в пьесе Сельвинского. Для этого ему служили и методы построения массовых сцен, и музыкальность движения, и решение вопроса о костюме.

Строя массовые сцены, Мейерхольд не боялся порою придавать им характер оратории. Такова интермедия с описанием боя. По лестнице расположен «хор» бойцов. Рупоры усиливают звук. Лицом к зрителю актеры читают стихи. Момент изобразительности отпадает. С такой же экономией движений построена сцена митинга, — верхние площадки использованы для речей сторонников Чуба; внизу — на просцениуме — замечательная по лаконичности сцена с эпилептиком; лес копий — налево; ораторов выделяет масса, расположившаяся на лестнице. Масса воспринята режиссерски, как стихийная и крепкая твердыня, — как е д и н с т в о. Одновременно, следуя установившемуся с «Леса» принципу костюма как одного из основных декоративных элементов спектакля, в разрешении костюма Мейерхольд преследует двойную цель: верности эпохе и живописного задания. Костюмы бойцов разнообразны и типичны: куртки, шинели, бурки, пулеметные ленты, меховые шапки говорят о первом периоде Красной армии, когда она только нарождалась, состоя из разнородных частей; одновременно Мейерхольд отказывается от рваного и грязного натурализма, — в костюме он берет самое характерное; их сочетание, несмотря на разнообразие, дает великолепную цветовую картину, сохраняя печать военной тревоги.

На этом фоне интимные сцены становились особенно трудными. Предстояло новое столкновение режиссера и поэта. Ритмический рисунок слов у Сельвинского категорически противоречит актерскому движению. Полное совпадение поэтического слова и режиссерского рисунка происходило лишь в массовых сценах. Сельвинский пишет диалог, как монолог. Его стихи трудно г о в о р и т ь — их следовало бы произносить; н е и г р а т ь, а с о о б щ а т ь в публику неподвижно стоящими актерами, как превосходно удалось в митинге и в интермедии. Движение приходит в противоречие со словом, — стих Сельвинского не сценичен. Трудность усиливается запутанным синтаксическим построением фраз. Слово перешло на второй план в спектакле. Нужно сознаться, что вина лежала не только на авторе, но и в плохих акустических свойствах зала и в воспитании мейерхольдовских актеров, которые владеют словом хуже, чем телом. Лишь у лучших исполнителей спектакля — Зин. Райх и Боголюбова — слово вполне доходило до зрителя. Из представившихся затруднений Мейерхольд нашел следующий режиссерский выход. Он брал внутреннюю задачу отдельного куска и придавал ему свой рисунок. В отличных сценах канцелярии, битвы, ожидания Мейерхольд ритмически насыщенным рисунком движения и мизансцен передавал внутренний смысл картины значительнее и сильнее, чем словом.

Ревизия коснулась и центральных образов пьесы. Принятый за основу антитезис Сельвинского не допускал авторского Чуба. Мейерхольд убирал двойное освещение и совлекал с исполнителей иронический убор. Но и при этом подходе актерские трудности были велики. Несмотря на лирический характер, — а может быть, именно благодаря ему, — пьеса лишена действенной эмоциональности — того, что могло бы наполнить актера теплом и кровью. Этой теплоты в образах нет, и играть их трудно. Наибольшая актерская удача—Боголюбов-Чуб и Зинаида Райх—

Вера. Наименьшая — Оконный. И для Чуба и для Веры режиссер нашел верную внутреннюю линию. Чуб-Боголюбов — значительнее текста Сельвинского. В идеологическую схему Сельвинского внесены необходимые поправки. Трактовка смягчила отрицательные черты Чуба и подчеркнула положительные. Театр оправдывает право Чуба на командование армией. Боголюбов придает Чубу большую волевую напряженность и серьезность при отличном внешнем облике бойца. Благодаря автору и театру на сцену выступил новый сценический образ, ранее сценически не освещенный. Зинаида Райх тепло и четко играет Веру, с большим вкусом находя краски для неожиданной трансформации машинистки в ад'ютанта-матросика; внутренне верными и скупыми чертами переданы ее мечтательность и предопределенность гибели, заложенной в этой женщине, бросившейся в роковую и для нее невозможную авантюру.

Противоречия автора и режиссера с полной очевидностью всплыли в трактовке Оконного. Совлечь с него сложный иронико-романтический убор означало убить образ. Так и произошло на сцене. Оконный стал наименее убедительным и наименее завлекательным образом. При той сценической упрощенности и огрубленности, с которыми его ведет Коршунов, затемняется его основной философский смысл. Бунт индивидуалиста не совпадает с бунтом мещанина. У исполнителя бунтует ограниченный человек. Внутренняя сухость и ущербность доминировали у исполнителя над остальными чертами образа. Видимо, сложность образа не в средствах Коршунова ни по внутренним, ни по внешним данным. Чуб не получал достойного противника и от этого терялся смысл авторской антитезы. Между тем театр имел право быть смелым в трактовке Оконного, — сильно и смело подчеркивая противоположное ему окружение и возвышая Чуба, вряд ли следовало снижать Оконного. Снижение могло иметь смысл лишь при одном условии. В режиссерском рисунке оно проскальзывало. Исполнитель его не доносил. Это условие — резкое сатирическое освещение образа. Коршунов остановился на полпути: не будучи лирическим, он не нашел сатирических красок. Оттого его исполнение было серым, не отвечающим ни замыслу автора, ни режиссерскому стилю.

Таков был окончательный результат двух столкновений мироощущений режиссера и автора. Режиссер разгадывал в поэте трагического автора. Романтико-ироническое мироощущение Сельвинского противилось резкому подходу Мейерхольда. Туманный поэтический образ «театра Сельвинского» был расщеплен Мейерхольдом. Над всем спектаклем возвысился сухой трагический образ эпохи, — автор отступил на второй план, и режиссер воспользовался им, как предлогом для построения своего спектакля и для выражения своего мироощущения. Они не были сходны, и Сельвинский часто мешал Мейерхольду. Сельвинский был философичен там, где театр требует взволнованности и эмоции. Сельвинский рассуждает там, где театр требовал действия и энергии. Автор и режиссер разошлись, — в спектакле «Командарм» им оказалось не по пути.

ПОПРАВКА.

В десятой книге «Нового Мира», стр. 183, правый столбец, строка 16 снизу,

напечатано	следует читать
Не одна «идеология» художника, но идеология плюс **образованность...**	Не одна «идеология» художника, но идеология плюс **образность...**

Книжное обозрение

1. «Советский Союз в борьбе за мир». С. Гальперина.—2. МАРИЭТТА ШАГИНЯН «Кик». Н. Замошкина.—3. КОЧИН «Девки». С. Пакентрейгера.—4. НИКОЛАЙ МОСКВИН «Жена». Бориса Гроссмана.—5. ЛУ СИНЬ «Правдивая история А-Кея». Я. Фрида.

«Советский Союз в борьбе за мир». Собрание документов и вступительная статья. Государственное издательство. Москва. 1929. Стр. 344. Цена 2 руб.

Нельзя не приветствовать инициативу Государственного издательства в деле издания предназначенного для широких слоев читателей сборника документов, характеризующих борьбу советского правительства за мир. Необходимость такого сборника для работников партийных и советских организаций и для журналистов ясна сама собой, особенно для провинциальных работников, для которых отыскание соответствующих документов представляется нелегким делом.

С поставленной себе задачей Государственное издательство справилось, однако, не совсем удовлетворительно. Редакция сборника не сделала с своей стороны ничего, чтобы облегчить широким (как указывается в предварительных замечаниях, даже «широчайшим») кругам трудящихся пользование собранными документами. Предпосланная документам вступительная статья мало помогает делу, ибо представляет собой лишь очень краткий и очень поверхностный очерк истории внешних сношений СССР с другими странами.

К документам почти нигде не дано никаких комментариев, которые сообщали бы читателям, по какому поводу была отправлена та или иная нота, и какова была ее дальнейшая судьба. Точно так же отсутствуют комментарии, раз'ясняющие читателям смысл тех или иных тезисов в наших нотах и меморандумах. Для примера укажем, что меморандум советской делегации на Генуэзской конференции начинается с указания на каннские резолюции, при чем для «широчайших» кругов читателей остается неизвестным когда, кем и по какому поводу были приняты эти резолюции. Точно так же «ответные соображения советской делегации на Генуэзской конференции на меморандум восьми делегаций» даны без какой бы то ни было сноски о самом меморандуме восьми делегаций.

Отсутствие комментариев и неполный подбор документов могут создать у недостаточно подготовленного читателя неправильное представление о ходе исторических событий. Так, документы, относящиеся к брест-литовским переговорам, заканчиваются принятой по предложению Троцкого декларацией, известной под формулой: «ни мир, ни война». В дальнейшем мы находим лишь постановление ВЦИК от 13 ноября 1918 г. об аннулировании брест-литовского договора. Читатель, который руководствовался бы при изучении этого периода внешних сношений Советской России только настоящим сборником, остался бы в неведении, а когда собственно был подписан брест-литовский договор и почему он был подписан вопреки декларации Троцкого. А между тем выяснение позиции Ленина в этом вопросе было бы очень важно для понимания той борьбы, которую вело за мир советское правительство под непосредственным руководством Ленина.

Другим важным пробелом в сборнике является отсутствие документов, относящихся к периоду заключения мирных договоров с окраинными государствами в 1920—1921 гг. А между тем они также очень характерны с точки зрения изучения мирной политики советского правительства.

Несмотря, однако, на эти пробелы и на отсутствие комментариев исторического характера ко многим нуждаю-

щимся в комментариях документам все же следует признать опубликованный Государственным издательством сборник полезным пособием, но не для «широчайших», а для более подготовленных слоев читателей, которые в состоянии сами восстановить историческую перспективу при ознакомлении с имеющимися в сборнике документами.

С. Гальперин.

Мариэтта Шагинян. — «Кик». Роман-комплекс. Изд. «Прибой». Л. 1929. Стр. 215. Ц. 1 р. 60 к.

В Карачае, в горах, среди ледников, где впервые возникает газета, ведется борьба за хозяйство и уничтожаются последние остатки белого движения, вдруг исчезает видный партиец, кем-то похищенный. На тему о дальнейшей судьбе исчезнувшего товарища пишут свои произведения четверо заподозренных в похищении и арестованных писателей. Каждый из них выбирает особый жанр (поэму, новеллу, мелодраму и др.), наполняет его особым содержанием и идеологией, очень далекой в большинстве случаев — и это подчеркнуто в романе — от конкретных задач советского Карачая. Но все они сходятся в одном: в некоей бесчувственности к тому, чем живет и дышит советская страна. Тогда выступает на сцену «докладчик», мнимо исчезнувший партиец, в роли критика, комментатора, обличителя и лекаря этих четырех заблудших овец, олицетворяющих русскую интеллигенцию. Докладчик имеет программу революционного искусства: действенность, полезность, конкретность и никакой фантастики. «Рабочий жест» должен быть колонной, подпирающей здание нового искусства. Таким образом, в события, происходившие несколько лет тому назад, вторгается злободневная литературная современность. Все это как-будто бы очень хорошо. Но зачем М. Шагинян своих оппонентов превратила в дурачков, построив в дальнейшем свое произведение на отрицательном приеме — на том, *чего* пет у этих дурачков? Неужели для обличительного и пародийного романа она не могла взять более добротный материал? Здесь и лежит самое уязвимое место романа-комплекса. Да и получился ли комплекс? Нет. Нужно было найти связующий элемент, чтобы возможно стало об'единение разрозненных частей, т. е. тех многочисленных литературных форм (включительно до газеты в ее натуральном виде), из которых состоит «роман». «Кик» — это разбухший фельетон, блестящий в своих частях, острых и умных деталях, но лишенный признаков цельного органического произведения. Приключенческие моменты (вспомним Джима Доллара) и общественно-литературные выступления (вспомним «Писатель болен»), перенесенные в книгу, не составляют еще нового жанра. «Кик» лишь веха на богатом опытами пути М. Шагинян. Создание живого полугазетного романа еще впереди.

Н. Замошкин.

Кочин. — «Девки». Роман. Изд. «Федерация». 1929. Стр. 212. Ц. 1 р. 50 к.

Маруха, Паруха, Натаха — самые имена носят зловещий оттенок. О зловещей судьбе трех деревенских женщин автор рассказал искренне, открыто, с волнением. Весь интерес книжки в непосредственности и искренности многих страниц. Молодой автор заговорил без всякой предвзятости, без натяжки, и этим привлек внимание.

Книга Кочина неравноценна. Там, где он рассказывает о неприглядной судьбе Марухи и Натахи, об исключительной судьбе Парухи, там есть трагизм, правда жизни, непосредственность авторских чувств и внимательный человечий взор. Все остальное в книге — сыро, недоработано, недосказано, лишено системы. Композиция вообще отсутствует в книге. И, конечно, романом ее назвать нельзя. Есть много содержательных рисунков, но самое существенное у Кочина — ощущение разности человеческих фигур, особенно женских.

Мужские фигуры не углублены, не освещены изнутри; так, совершенно не освещена центральная фигура селькора Феди. В разговорах его есть прямая и верная, не лишенная новизны и свежести хватка проснувшейся мысли. Но характер его не разработан, не обнажен и не приведен в движение.

Этого никак нельзя сказать о центральных фигурах «девок». Характеры их динамичны и разворачиваются на глазах у читателя, и динамика эта сопряжена с движением самих девок по тяжелым и трудным путям жизни в деревне. Но вот новая деревня у Кочина неощутима и выглядит сочиненной, а не пережитой автором. Да и Кочин не знает, как подойти к изображению элементов новизны, элементов преобразования. Он ходит вокруг да около, не дает ни одного глубокого процесса и останавливается на голых результатах неведомо как протекавших процессов. Словом, становится беспомощным и впадает в умильность.

В первых двух частях читатель настороже. Он ощущает непреложность в движении к иной жизни. Она звучит за пределами описываемого. Выразительно передано страшное беспокойство Парухи, что вот где-то уже занялась иная жизнь, а вот тут девки не могут свернуть с той дороги, по которой «с жалобами шли их бабки и матери, идут подруги и будут, пожалуй, итти дочери».

Автор пристально заглянул в Паруху. Обрисовка этой фигуры искупает незрелость многих страниц. Паруха проходит путь тягчайших испытаний, доходит до преступления. Иначе и быть не могло. Именно правота толкает ее на самые опасные пути. Если она даже погибнет, тем непреложнее будет ее правота. Маруха тоже бунтует, но бунт ее идет по извечной линии освобождения инстинкта от насилия.

А в Парухе брезжат большие человеческие чувства. Она о них не говорит. Она — вся в поступках и действиях, диктуемых глубокими импульсами социальной правоты. Ее движение к новому, правому, раскрепощающему человека социальному миру передан Кочиным порой страшно, но в жизненно-убедительном, жизненно-закономерном освещении.

Кочин рассказал, как в «девке», может, более «порочной» и вульгарной, чем все ее подруги, рождается сильный, независимый, социально целеустремленный человек. Кочин пошел трудными и самыми верными путями. Если он этих путей не утеряет, то не утеряет и себя. А такие опасности есть. Они чересчур очевидны в третьей части книги, заполненной бездоказательным материалом.

С. Пакентрейер.

Николай Москвин. — «Жена». Повести и рассказы. Изд. «Федерация». 1929 г. Стр. 153. Ц. 85 к; панка 15 к.

Большинство рассказов, вошедших в сборник, можно квалифицировать как психологические этюды. Персонажи их разнообразны.

Красноармеец, погибающий на фронте из-за вещи, которая становится для него фетишем («Хромовые сапоги»). Ломовой извозчик, привыкший смотреть на человека и животное одинаково злыми глазами поработителя («Серафима»). Еврей-фокусник, зажатый толпой антисемитов и умерщвленный ею («Бульдоги»).

Автор стремится проникнуть во внутренний мир человека, выявить его «нутро». Почти всегда это «нутро» человека, стоящего на грани двух миров, противоречиво. Он не враг нового социального уклада, но психология такого человека, окрепшая с годами, тянет его назад. Новое же поколение относится к жизни трезвее и проще (машинист Алексей из рассказа «Девять минут»).

Названные произведения написаны без ущерба для материала очень сжато. Поступки людей обосновываются психологически. Москвин умеет «обыгрывать» деталь, выделять ее из массы подобных.

Сказать, однако, что автор овладел психологическим методом, что последний всегда «увязан» с композицией вещи, что большая тема удачно разрешается в новелле, — нельзя. В этом убеждает нас центральная вещь сборника — «Жена».

Хотя лейтмотив «Жены» примыкает к темам и мотивам других вещей (собственнические, обывательские инстинкты рабочего-консерватора), замысел выше его воплощения. «Жена» задумана как повесть, и развитие фабулы намечено так, как того требуют «широкие полотна». Москвин не справился

с материалом, и вместо повести перед нами лишь художественные наброски.

Совсем случайным в сборнике кажется «Пироксилин». Это—очерки о Красной армии, написанные очень средне, ничего к уже сказанному о гражданской войне не прибавляющие. Пространные описания бледны. Персонажи не запоминаются. «Пироксилин» не воспринимается как цельное художественное произведение.

«Жена» — не первая книга Николая Москвина. Сборники его рассказов: «Кошачий характер», «Буквы на клеенке» и др. обнаруживали в авторе способного юмориста. «Жена» — неожиданно-резкий поворот к психологизму, который раньше не был характерен для Москвина. Этим и об'ясняются художественные срывы сборника.

Борис Гроссман.

Лу Синь. — «Правдивая история А-Кея». Перев. с китайского под ред. Б. А. Васильева. Изд. «Прибой». 1929. Л. Стр. 189. Тир. 3.000 экз. Ц. 1 р. 10 к.

Лу Синь — один из лучших современных китайских писателей, известный и на Западе. Знание китайской деревни, умение играть мельчайшими бытовыми деталями, ирония, сдержанный лиризм делают вещи этого писателя интересными и для европейского читателя. Вместе с тем европеец в рассказах Лу Синя, в его художественной манере не найдет ничего «экзотического», ничего специфически китайского, непривычного. Перед нами — культурный писатель, уравновешенный наблюдатель, типичный «независимый интеллигент», мало отличающийся от западного образца: гуманные настроения и скепсис, либерализм, ироническое отношение ко всякому обскурантизму и индивидуализм, чувство жалости к угнетаемым «младшим братьям» и сознание отчужденности от них. «В скором будущем китайский народ очнется, вырвется на свободу, заговорит; но сейчас это еще мало заметно, и поэтому я тоже могу писать о китайской жизни, основываясь лишь на собственных наблюдениях, сиротливо и одиноко».

Большая часть рассказов в данном сборнике — о китайской деревне. Бедняки, по-китайски голодающие и по-китайски вежливые, жизнерадостные и жалкие; богачи, первыми делающиеся «революционерами» после «революции» 1911 года, «революции», которая уничтожала только косы (к трагикомедиям, связанным с фетишизацией кос, писатель пасмешливо возвращается в нескольких рассказах). А-Кей, герой самой крупной вещи в сборнике, добродушный деревенский дурачок, образ, родственный Иванушке-дурачку и Гоа-простаку, но отличающийся тем, что Иванушке и Гоа часто везет, а ему жестоко не везет. В рассказе «Родина» — тема разобщенности интеллигенции и народа. «Деревенский театр» — переживания городского мальчика, попавшего на вечерний спектакль деревенского театра (лирический этюд совсем как бы в духе Короленки). Из рассказов о городе выделяется ироническая новелла о писателе, который в далеко не комфортабельной обстановке добросовестно сочиняет повесть из жизни необычайно культурных китайских супругов, окруженных невероятным комфортом и разговаривающих между собой только по-английски.

Сборник снабжен предисловием и примечаниями Б. А. Васильева, а также предисловием Лу Синя, написанным специально для этого издания.

Я Фрид.

Издатель «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

Редакция: А. В. Луначарский. А. Г. Малышкин. В. П. Полонский. В. И. Соловьев.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1930 год

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НОВЫЙ МИР

(6-й год издания).

под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, А. Г. МАЛЫШКИНА, Вяч. ПОЛОНСКОГО и В. И. СОЛОВЬЕВА.

В 1930 году в журнале „НОВЫЙ МИР" будут напечатаны:

I Романы и повести:

Л. ЛЕОНОВ.—Соть (роман).
М. ШАГИНЯН. — Гидроцентраль (роман)
А. МАЛЫШКИН. — Севастополь (повесть).
Артем ВЕСЕЛЫЙ.—Главы из романа «Россия, кровью умытая».
Алексей ТОЛСТОЙ — Петр I (повесть).
К. ФЕДИН — Христофор с собачьей головой (повесть).

II. Рассказы:

Н. АСЕЕВА, А. АРОСЕВА, И. БАБЕЛЯ, С. БУДАНЦЕВА, В. ВЕРЕСАЕВА, Еф. ВИХРЕВА, Ф. ГЛАДКОВА, Б. ГУБЕРА, Л. ЗАВАДОВСКОГО, А. КАРАВАЕВОЙ, В. КАТАЕВА, Ив. КАТАЕВА, Л. КОПЫЛОВОЙ, С. КЛЫЧКОВА, Л. ЛЕОНОВА, Н. ЛЯШКО, Вл. ЛИДИНА, А. МАЛЫШКИНА, С. МАРКОВА, А. МАКАРОВА, П. НИЗОВОГО, Н. НИКАНДРОВА, Л. НИТОБУРГА, Г. НИКИФОРОВА, А. НОВИКОВА-ПРИБОЯ, Н. ОГНЕВА, Ю. ОЛЕШИ, П. ПАВЛЕНКО, Бор. ПИЛЬНЯКА, М. ПРИШВИНА, Андр. ПЛАТОНОВА, Ал. ПЛАТОНОВА, П. РОМАНОВА, С. СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО, Л. СЕЙФУЛЛИНОЙ, И. СОКОЛОВА-МИКИТОВА, П. СЛЕТОВА, М. СЛОНИМСКОГО, Г. СЕРЕБРЯКОВОЙ, Нины СМИРНОВОЙ, Н. ТИХОНОВА, Д. УРИНА, П. ШИРЯЕВА, , Вяч. ШИШКОВА, А. ЧАПЫГИНА, А. ЯКОВЛЕВА и др.

III. Стихи и поэмы:

АДАЛИС, Н. АСЕЕВА, А. БЕЗЫМЕНСКОГО, Э. БАГРИЦКОГО, М. ГЕРАСИМОВА, М. ГОЛОДНОГО, М. ДАНИЛИНА, Н. ДЕМЕНТЬЕВА, П. ДРУЖИНИНА, А. ЖАРОВА, Я. ЗАБОЛОЦКОГО, Ник. ЗАРУДИНА, М. ЗЕНКЕВИЧА, В. ИНБЕР, М. ИСАКОВСКОГО, С. КЛЫЧКОВА, В. ЛУГОВСКОГО, П. ОРЕШИНА, Бор. ПАСТЕРНАКА, И. ПРИБЛУДНОГО, Вс. РОЖДЕСТВЕНСКОГО, В. САЯНОВА, И. САДОФЬЕВА, М. СВЕТЛОВА, И. СЕЛЬВИНСКОГО, Вл. СОЛОВЬЕВА, М. ТАРЛОВСКОГО, Н. ТИХОНОВА, Н. УШАКОВА, Е. ЭРКИНА и др.

IV. Очерки современной литературы:

Вяч. ПОЛОНСКОГО.

НОВЫЙ МИР

V. Литература и современность:

СТАТЬИ: И. БЕСПАЛОВА, Н. БОГОСЛОВСКОГО, А. ВИНОГРАДОВА, Д. ГОРБОВА, В. ГОЛЬЦЕВА, С. ДИНАМОВА, Н. ЗАМОШКИНА, М. ЗЕНКЕВИЧА, Евг. ЛАННА, К. ЛОКСА, П. ЛЕБЕДЕВА-ПОЛЯНСКОГО, А. ЛЕЖНЕВА, А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, С. ПАКЕНТРЕЙГЕРА, Б. ПЕСИСА, И. ПОСТУПАЛЬСКОГО, В. ПЕРЕВЕРЗЕВА, И. СЕЛЬВИНСКОГО, Ник. СМИРНОВА, Я. ФРИДА, Ян. ЧЕРНЯКА и др.

VI. Статьи об искусстве (с иллюстрациями):

А. БАКУШИНСКОГО, Е. БРАУДО, Н. ВОЛКОВА, П. МАРКОВА, Ф. РОГИНСКОЙ, Б. ТЕРНОВЦА, А. ФЕДОРОВА-ДАВЫДОВА и др.

VII. Политика, история, быт, общественная жизнь:

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ: А. АГРАНОВСКОГО, АДАЛИС, Бор. АНИБАЛА, Н. А. БАЙКОВА, В. БОНЧ-БРУЕВИЧА, В. ВАСИЛЬЕВА, А. ГАРРИ, Г. ГАУЗНЕР, А. ЕНУКИДЗЕ, А. ЗОРИЧА, М. КАЛИНИНА, Е. КРИВОШЕИНОЙ, А. КИСЕЛЕВА, П. КОЗЛОВА, Д. КРЕПТЮКОВА, Б. КУШНЕРА, Н. МЕЩЕРЯКОВА, В. НЕВСКОГО, М. ПРИШВИНА, Г. РЫКЛИНА, В. РЯХОВСКОГО, М. САВЕЛЬЕВА, В. И. СОЛОВЬЕВА, А. СМИРНОВА-КУТАЧЕСКОГО, А. СТАРЧАКОВА, Н. ШПАНОВА, П. Е. ЩЕГОЛЕВА и др.

VIII. Литературный архив

(Историко-литературные материалы и переписка).

IX. Наука и техника

(статьи о новейших достижениях науки и техники).

X. Книжное обозрение

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 1930 год:

12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
10 р.	8 р.	5 р. 50 к.	3 р.	1 р. 10 к.

ЦЕНА отдельной книги в розничной продаже — 1 р. 40 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1) Главной Конторой „Известий ЦИК", 2) всеми отдел. Главной Конторы на местах, 3) почтовыми конторами, 4) письмоносцами и 5) контрагентами по распространению периодической печати.

Цена 1 р. 40 к.

НОВЫЙ МИР

МАЙ

М. ПРИШВИН. — Журавлиная родина, повесть (продолжение). Н. АСЕЕВ. — Необычайное, стихотв. АЛЕКСЕЙ ПЛАТОНОВ. — Макар, карающая рука, рассказ. Б. СОЛОВЬЕВ.— Революция, стихотв. Г. ОБОЛДУЕВ. — Стихотворение. Г. ШТОРМ. — Повесть о Болотникове (продолжение). В. ГУСЕВ. — Выдающийся город, стихотв. Н. НИКАНДРОВ. — Руда, рассказ. М. РУДЕРМАН. — Рынок, стихотв. Р. БЕРШАДСКИЙ. — Струя, стихотв.

ЛЮДИ и ФАКТЫ. Д. КРЕПТЮКОВ. — Из книги «Степные восходы», очерк. А. АГРАНОВСКИЙ. — Хутора безыменные, очерк. Н. ШКЛЯР. — Телеграмма, очерк. ЗА РУБЕЖОМ. Э. Э. КИШ. — За кулисами статуи Свободы, письма из Америки (продолжение). С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (международный обзор). ИЗ ПРОШЛОГО. — Неизданные письма М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА к Н. А. НЕКРАСОВУ (с предисл. и примеч. В. Евгеньева-Максимова). ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. — Очерки современной литературы. Преодоление «Зависти». Л. ГРОССМАН. — Исторический фон «Выстрела». А. ЛЕЖНЕВ. — Критика «критиков» (статья вторая). Л. БЕРЕЗИН. — О стихах М. Зенкевича. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — Не затягивайтесь, из цикла «Халтуроведение».

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

ИЮНЬ

Н. ОГНЕВ. — Фабзаяц и смерть, рассказ. МИХ. ПРИШВИН. — Журавлиная родина, повесть (продолжение). ГЕОРГИЙ ШТОРМ. — Повесть смутного времени о Иване Болотникове (окончание). А. ДОЛГИХ. — Неукротимость, рассказ. ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ. — Яблоневый цвет, рассказ. СТИХИ: ВЛ. ЛУГОВСКОГО, НИК. БЕРЕНДГОФА, Я. ШВЕДОВА, МИХ. ГОЛОДНОГО, ВЛ. КИРИЛЛОВА.

Проф. Г. Я. ГУРЕВИЧ. — Об отравлениях организма. МИХ. НИКИТИН. — Ханычаррека. ЛЕВ АЛПАТОВ. — Нефть. БОРИС АНИБАЛ. — На отдыхе. OUTSIDER. — Итоги «разоружения». ЭГОН ЭРВИН КИШ. — За кулисами статуи Свободы (письма из Америки). Г. САНДОМИРСКИЙ. — Экзотический фашизм. А. ЛЕЖНЕВ. — Молодежь о молодежи. Н. ЗАМОШКИН. — Личное и безличное. АРК. ГЛАГОЛЕВ. — Поэт-стеклянщик (Е. Е. Нечаев). М. ЗЕНКЕВИЧ. — Обзор стихов. Ф. РОГИНСКАЯ. — Ткани будней. П. МАРКОВ. — Из литературы о театре.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

ИЮЛЬ

БОР. ПАСТЕРНАК. — Повесть. МИХ. ПРИШВИН. — Журавлиная родина, повесть. АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, повесть. СЕРГЕЙ МАРКОВ. — Встреча, рассказ. СТИХИ: НИК. АСЕЕВА, ЕВГ. ЗАБЕЛИНА, ОСИПА КОЛЫЧЕВА, ДМ. СЕМЕНОВСКОГО.

ВАСИЛИЙ РЯХОВСКИЙ. — Колдун. М. КАЗАС. — Кашгарские очерки. С. ОБРУЧЕВ. — С аэроплана на оленей. ЭГОН ЭРВИН КИШ. — За кулисами статуи Свободы (продолж.). С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (междунар. обзор). А. ДЕРМАН. — Одна из чеховских магистралей. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ.—Очерки современной литературы. А. ФАДЕЕВ, А. БЕК и Л. ТООМ. — О психологизме и «столбовой дороге». Д. ГОРБОВ. — Исторический пробег гр-на Адуева.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ

МИХ. ПРИШВИН. — Журавлиная родина, повесть (окончание). П. ПАВЛЕНКО. — Всеобщий классик, рассказ. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ.—Елень, повесть. АЛ. ТОЛСТОЙ.—Петр Первый, повесть (продолжение). С. СПАССКИЙ. — На расстоянии, рассказ.

СТИХИ: АДАЛИС, Б. ПАСТЕРНАКА, Е. ЭРКИНА, Н. ДЕМЕНТЬЕВА, Н. ЗАРУДИНА. Д. ЗАСЛАВСКИЙ. — II Интернационал в 1914 г. Г. БЕШКИН. — И. И. Степанов, как историк и публицист. Д. КРЕПТЮКОВ. — По степям и буеракам. Н. ЛЕБЕДЕВ. — В гостях у хевсуров. Е. ВИХРЕВ. — «Ножницы» (с иллюстрац.). Э. Э. КИШ. — За кулисами статуи Свободы. Холливуд (письма из Америки). С. БОРИСОВ. — Прибалтика. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (очерки международной политики). ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. — О читателе и теории «иммунитета» (заметки). А. ЛЕЖНЕВ.—Критика «критиков». Статья третья. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — Сестра моя мечта (о «Китайских новеллах» Эрдберга). Н. ЭЙШИСКИНА. — Из американской литературы. Ф. РОГИНСКАЯ. — Художественная жизнь Москвы (с иллюстрациями).

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА 1929 ГОД	12 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.	ЦЕНА ОТДЕЛЬНОЙ КНИГИ 1 р. 40 к.
	10 р.	5 р. 50 к.	3 р.	1 р. 10 к.	